АЛАН ИСЛЕР

ЖИЗНЬ И ИСКУШЕНИЯ ОТЦА МИЗИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИНОСТРАНКА"

Жизнь и искушение отца Мюзика

Алан Ислер

Аннотация
Алан Ислер. Жизнь и искушение отца Мюзика
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая
Часть шестая
Часть седьмая

Аннотация

«Кто я?» — вопрошает в конце жизненного пути Эдмон Мюзик — мятущаяся душа, философ и острослов, страстный любовник и знаток древностей, по воле обстоятельств — католический священник. И дает простой ответ: «Я человек». Алан Ислер рисует драматическую судьбу нашего современника, вплетая в роман захватывающие истории далекого прошлого и интригуя читателя «неизвестными сонетами» великого Барда.

Алан Ислер
Жизнь и искушение отца Мюзика

Посвящается Адаму и Этен Гатен

Конец света

Внезапный, как Вассеро незабвенный,
Чьи руки подобно оружью разят,
Меж пальцами ног вспыхнул свет нетленный:
Юный Ральф, светский Львенок, желаньем объят,
Покусывал шейку мадам Сосман,
Не смея кашлянуть, сердце стучало
В ритме вальса, как барабан…
И вдруг покрывалом вновь тьма упала:
Там, наверху, небеса отменили,
Лишь тысячи мертвенно-блед-

ных лиц

Да глаз ошалевших во мраке плыли,

И звезд не стало, мир рухнул ниц,

Крылами тьмы накрыло его,

И больше нет ничего, ничего.[1]

Арчибальд Маклиш[2]

---

[1] Примечания: 1

Перевод Е. Пучковой.

[2] Примечания: 2

Маклиш Арчибальд (1892–1982) — американский поэт. (Здесь и далее — прим. перев.)

Часть первая

История должна быть приправлена крупицей соли. Соль улучшает вкус… Не повредит и немного перца.

Баал Шем из Ладлоу
«Застольная беседа» 1768

ПОТЯГИВАЯ КАЛЬВАДОС в баре на улице де Маланжен и просматривая оставленную кем-то английскую газету, я с удивлением обнаружил, что вчера, оказывается, умер. Будто я ехал по поместью Бил в своей машине, скромном «моррис-миноре» почтенного возраста, и врезался в знаменитый Стюартов дуб — названный так потому, что его посадили в память о незадачливом Якове II[3]. Стюартов дуб испытал легкое потрясение, а «моррис-минор» превратился в груду искореженного металла, откуда извлекли изувеченное человеческое тело и подумали, что оно мое. Наш констебль, Тимоти-Бочонок Уайтинг, опознал машину и личность владельца. У Бочонка слабость к местному элю и крепкому

[3] Примечания: 3
Яков II (1633–1701) — английский король из династии Стюартов.

портеру, напиткам, не слишком изысканным. Кроме того, он, как и я, католик, и, пожалуй, более убежденный. Однако он не Шерлок Холмс и, если уж на то пошло, не отец Браун.

Первым делом я позвонил Мод в Бил-Холл. Она, святая простота, подумала (или сделала вид, что подумала), будто я звоню с того света.

— Слава тебе, Господи! Deo gratis![4] О, Иисус сладчайший! О! О! О!

— Мод, любовь моя, со мной все хорошо.

— Все хорошо? *Конечно*, тебе там хорошо со святой Виргинией и божьими ангелами. Неужели я слышу небесный хор?

Из музыкального автомата, за стойкой, доносился голос покойной Эдит Пиаф — она пела «Милорда».

— Я хочу сказать, что не умер.

— Не умер? Ну, разумеется, ты не умер! Вечная жизнь — ведь именно это Он обещал нам, за это Он истек кровью на Кресте. О, я должна сейчас же все рассказать отцу Бастьену. О Эдмон, мне так тебя не хватает. Наберись терпения, любовь моя. Я буду с тобой, как только меня призовут. — И она бросила трубку.

---

[4] Примечания: 4
Благодарение Господу! (лат.)

Бестолковая старуха! Удивительно, как от любого волнения возвращается ее ирландский акцент, улетучившийся вместе с молодостью. Конечно, она насмехалась надо мной. Чувство облегчения, которое она испытала, услышав мой голос, вылилось в истерику. Ну и джин сыграл свою роль. Да, джин уже давно стал ее излюбленным питьем — это многое объясняет, — хотя, если припечет, она может накачаться чем угодно, что окажется под рукой. Мод любит намекать, будто это у меня «маленькая проблема со спиртным», а она может иногда выпить, просто чтобы расслабиться или потому что ей одиноко, или весело, или скучно, или она расстроена, или нет. Вообще мы не говорим на эту тему.

Но я вспоминаю, какой она была, когда я впервые увидел ее, Мод Мориарти, которая хранила меня и мой дом все эти долгие годы!.. Ах, как покачивались ее бедра, как шелестели ее юбки, как изгибался надо мной ее тонкий стан!.. И вот я слушаю ее, вижу, какой она стала теперь, когда летящая колесница времени грохочет все ближе и ближе, настигая нас! Мод утратила — или скрывает — свойственные ей чувство юмора и проницательный ум. Она так долго разыгрывала из себя ирландскую прачку, что наконец сде-

лалась ею. Наверное, слишком много смотрит телевизор.

О, не знала она этих странных затей,
Когда буйное лето рвалось из очей.

Потом я позвонил Бочонку и заверил его, что со мной все в порядке и я уже на пути домой. Это радостное известие немного смягчило шок, который он испытал, услышав мой голос.

— Тогда, отец, — почти обвиняющим тоном поинтересовался он, — *кого* же мы выдавили и выскребли из машины? Должно быть, он выжимал сотню миль в час на спуске, не иначе.

Дорога становилась извилистой и опасно крутой, когда ныряла к Стюартову дубу.

— Вы не думаете, что это мог быть бедняга Тревор? Я просил его отремонтировать машину в выходные. Ручной тормоз отказал напрочь, и ножной совсем разболтался.

Тревор Стафинс был местный житель, занимавшийся случайными и сезонными работами, человек моего возраста и примерно моей комплекции.

— Хм, — уклончиво ответил Бочонок.

— Мы должны молиться за его душу.

— Но он был протестант, отец!

— Тем более.

— Если это *был* Тревор. — Бочонок способен извлекать уроки из своих ошибок.

— Окажите мне любезность, Тимоти, сходите к Мод и поговорите с ней. Объясните, что я жив — жив в *этой*, земной жизни. Сделайте все деликатно.

Прежде чем покинуть улицу де Маланжен, я заказал еще одну рюмку кальвадоса и медленно потягивал его. Моя поездка в Париж не удалась, но я чувствовал себя человеком, которого вернули к жизни.

МОЖЕТ, КАСТИНЬЯК БЫЛ ПРАВ? Он позвонил мне месяц назад, невесть каким чудом добравшись до телефона, и сказал, что на меня охотятся ватиканские наемные убийцы. «Остерегайся, Эдмон, будь начеку! Они хотят тебя убить! — Эти слова сопровождались безумным смехом. — Они не остановятся ни перед чем! Ни перед чем!» И внезапно на другом конце провода наступило молчание.

Но бедняга Кастиньяк сумасшедший. С какой стати мне остерегаться?

Конечно, если вспомнить известные факты прошлого, может, он прав. Parva, говорим мы, componere magnis, сравнивая малое с большим, а

попросту — Папы и рядовые священники всегда были опасны друг для друга. В X веке каждый третий Папа умирал при «подозрительных обстоятельствах» (слегка подталкиваемый локтем). Папа Стефан VI был смещен с престола и удавлен в тюрьме. Что же касается убийственной коррупции, отвратительных интриг и необузданной жажды власти, то всякий знает, что творили Папы Высокого Возрождения — Борджиа и им подобные. Но возьмем наше время: что скажете об Иоанне Павле I, который испустил дух в 1978 году, просидев на Святом Престоле всего тридцать четыре дня, а? Я только обращаю ваше внимание на факт, не более того. Однако если такого величественного зверя, как лев, могли безжалостно убить в его логове, то какая надежда на сострадание у блохи?

Все-таки чувство меры — замечательная вещь. Не могу всерьез поверить, что те, кого принято называть высшими иерархами, жаждут моей крови, думаю, они скорее предпочли бы не видеть меня в Бил-Холле. Нет, они гораздо охотнее отделались бы от меня — тот же отец Фред Тумбли, заведующий — это ж надо! — кафедрой английского языка в колледже Святого Пути в Джолиете, Иллинойс, мой заклятый враг со

времен учебы в Париже, этот мерзавец просто жаждет заполучить мое место. Тот факт, что у меня есть институт, а у него — нет, отравляет его существование. Ха, думаю, поскольку у него до сих пор ничего не вышло, он вполне может быть замешан в истории с тормозами моей машины.

Он думает, что я у него в руках, и, очень может быть, так оно и есть. Я потом расскажу о последнем письме, которое получил от него перед отъездом в Париж.

Возможно, я помолюсь.

А может, и нет.

В какой момент, хотелось бы знать, я утратил веру? Вопрос, на который нет ответа, некая семантическая дилемма. Чтобы потерять что-то — невинность, скажем, или золотые часы, — надо это иметь. Но я принял эту веру просто потому, что мне ее предложили и до сих пор она *устраивала* меня, была моим облачением во всех смыслах этого слова: и как ряса священника — внешний знак веры, и как образ жизни, который сделался для меня удобным (возможно, не совсем удачное слово, но оставлю его), привычно удобным.

Это напоминает мне шутку юного Кастиньяка. Он поднялся до высокого положения папского нунция, колесящего по свету: Гватемала, Ливан,

Гавайи, летел туда, где Святой Престол в нем нуждался, — и был шпионом, одним из божьих соглядатаев, что судят о тайной сущности вещей. Но он также неплохо изучил запутанные коридоры власти Ватикана, призывавшего протестанта Мильтона на свои тайные конклавы. И где Кастиньяк теперь? Как я уже сказал, сумасшедший с выпученными глазами, свихнувшийся сам или произведенный в сумасшедшие и пребывающий в хосписе в милосердных руках Сестер Пяти Скорбных Ран в Кембридже, Массачусетс. Ну, ему всегда нравилась Америка, бедному одураченному Кастиньяку.

Но почему я упомянул о нем? Ах да, шутка. Мы ведь были тогда семинаристами, и дух праотца Адама не совсем выветрился из нас. И из Кастиньяка в особенности. Каким же он был проказником! У него были иссиня-черные вьющиеся волосы, черные глаза и смуглая кожа истинного корсиканца, юного Наполеона, но с постоянным — и огромным — доходом. Среди нас он выделялся именно этим. «Светает, грешники, светает!» — с этими словами он появлялся на Пороге общей спальни, чудовищно опухший, вызывая нашу тайную зависть. «Гляньте-ка!» — сказал он однажды ранним утром, указывая через оконную

решетку на двор, где из старого фургона вылезала молодая женщина. Она открыла заднюю дверцу и вынула оттуда корзину. «Это Вероника, — объяснил Кастиньяк. — Прачка. Каждые две недели она заезжает за грязными рясами». Он лукаво посмотрел на нас и захохотал во все горло. Тут мы поняли, что он пошутил.

Однако вернусь к вопросу веры. В те давние дни я упивался словами Тертуллиана «Certum est quia absirdum est»[5]. В этих словах — говоря современным языком — был вызов, притягивавший такого юношу, каким был я. Верить во что-то, *потому что* это абсурдно! О да! Да, и еще раз да. Хотя, по правде сказать, у меня достаточно причин, чтобы быть благодарным им — то есть Церкви. (Заметьте это «им». Какое удивительное отторжение после всех этих лет!) Меня приютили, проявив доброту. То были ужасные времена, воистину ужасные. Святые отцы спасли мою жизнь и — как они верили — мою бессмертную душу.

Должен признаться, что я в уже раннем возрасте пристрастился ко всему этому — ладану, пению псалмов, единому выдоху во время мессы зимним утром, когда облачко пара поднимается

---

[5] Примечания: 5
Верую, ибо это абсурдно (лат.).

к сводам кафедрального собора. Я наслаждался — но не благочестием, а зрелищем благочестия, и воображал себя благочестиво верующим и очень себе нравился. Я представлял, как мучительно ползу на коленях по камням Via Dolorosa[6] и повергаю мое разбитое кровоточащее тело ниц перед Крестом. Разумеется, я никогда ничего подобного не делал. Самобичевание — реальное, а не воображаемое — это был не мой стиль. Вероятно, я чувствовал то же, что побудило Эдуарда Гиббона (который в своей книге «История упадка и разрушения Римской империи» с убийственной иронией показал всю абсурдность и жестокость христианства) раскрыть объятия римскому католицизму в годы своей впечатлительной юности.

> Удивительные сказки, которые были так отважно засвидетельствованы Василиями и Хризостомами, Августинами и Иеронимами, заставили меня признать недосягаемые достоинства обета безбрачия, установления монашеской жизни, использование символа Креста, миро и даже икон, мольбы к святым, почи-

---

[6] Примечания: 6
Крестный путь (ит.).

тание мощей, рудименты чистилища в молитвах за умершего и потрясающую мистерию жертвы тела и крови Христовой, которые постепенно претворились в чудо евхаристического преображения.

Так Гиббон в своей «Автобиографии» свидетельствует о заблуждениях юности. Ладно, я не Гиббон (и никогда им не был), но сейчас мне совершенно ясно: то, чем я был одержим в юности, — плод моего воображения. Мне виделся католицизм таким, каким он мог бы стать в платоновском царстве идей, и именно на это — на победу ледяной чувственности над пульсирующим разумом — я и отзывался.

Но вернемся к Тертуллиану: знать, что весь этот вздор был *абсурдом*, и все-таки верить… ладно. Думаю, я обратился бы к верующим со следующими словами: «Знаю, что мир и всё, что его населяет — все вы, мои дорогие братья и сестры, и даже я сам, — на самом деле обитает в мозгу чудовищного карпа, сонно плавающего в теплых водах вечности. Certum est quia absurdum est». Вы понимаете, что я имею в виду. Совсем не случайно выражение «фокус-покус» происходит от слов

освящения в мессе «Hoc est enim corpus meum»[7] и в свою очередь рождает слово «мистификация».

Однако, несмотря на все это, я здесь, в черной сутане, ошейнике[8] и, разумеется, в выдержанных в той же черно-белой гамме кедах (из-за проклятых шишек на больших пальцах ног). Я вернулся домой из Парижа, не завершив своей миссии, сижу и жду звонка от немецкого посла. Набожные люди — к счастью, их немного в наших краях — раболепствуют передо мной (вернее, раболепствовали бы, если бы я проводил среди них больше времени). В дверях появился Бастьен.

— Наш «Кот де Герлен» весь вышел, отец, но у нас есть еще непотревоженный «Кер де Ланге-док» тысяча девятьсот шестьдесят третьего года, презент полковника Фюльк-Гревиля в благодарность за твою доброту в его последний визит. Ты не соблазнишься?

— Retro me, Satana[9], — ответил я сурово.

Но увидев его расстроенное лицо, продолжил:

---

[7] Примечания: 7

Сие есть тело Мое (лат.).

[8] Примечания: 8

Ошейник — белый стоячий воротник, застегивающийся сзади, деталь одежды священника.

[9] Примечания: 9

Оставь меня, Сатана (лат.).

— Ну конечно, мой дорогой Бастьен. Какая удача! «Кер де Лангедок»! Полковник слишком добр. Ты должен не только передать ему мою благодарность — ибо тот пустяк, который нам удалось для него сделать, не стоит его щедрости, — но и налить себе рюмочку.

Как легко быть добрым.

Бастьен, старый осел, был со мной весь отпущенный ослам срок. Он постарел на моей службе, мой фактотум. Как бы я жил без него? Шаркает тапочками по дому и двору, согнутый, как вопросительный знак, седые волосы торчат клочьями на почти лысой голове, сутана замызгана, колени вывернуты в стороны, при ходьбе он мягко подпрыгивает, как изношенная пружина. Бастьен — один из тех, кого не пощадило время. Он всегда был со странностями (потом объясню, почему), но у него крестьянский ум и природная интеллигентность, которые проявляются, когда меньше всего ожидаешь. То, что я держу его на столь привилегированном положении, вместо того чтобы отослать, считают единственным в своем роде свидетельством моего неисчерпаемого милосердия. Но ведь я знаю Бастьена с наших школьных лет. Мы оба остались без родителей. Он пропал бы без меня — я говорю это без ложной скромно-

сти, — подозреваю, и я бы пропал без него.

Его радость по поводу моего недавнего воскрешения из мертвых была неподдельной. Но у него и слезинки не нашлось ни для бедного Тревора — да, именно Тревор умер вместо меня, — ни для сумасшедшей свояченицы Тревора из Уигена, которая сейчас совещалась со своими стряпчими. А тем временем Бочонок мрачно поведал мне (в выражениях, более подобающих помешавшейся на сексуальных фантазиях старой деве), что, похоже, на тормоза, ручной и ножной, «*посягнули*». Я — Бочонок был счастлив это доложить — «вне подозрений». Хотя кто-то же хотел добраться до Тревора. Но я не сказал Бочонку, что я и был вероятной мишенью.

Бастьен поставил передо мной на стол две рюмки. Я сидел в своем рабочем кабинете, в Музыкальной комнате, на стуле с подложенной подушкой, устроив мои несчастные ноги на мягкой скамеечке. Бастьен на минуту вышел и вернулся с бутылкой «Кер де Лангедока». На его шее вместо креста висел на бечевке штопор. Чуть подпрыгивая, он повернул бутылку этикеткой ко мне — бутылка тоже подпрыгивала, словно ее держал подвыпивший дворецкий. Я не смог прочесть название, даже если б захотел.

— Это настоящая вещь, Бастьен, не отдает пробкой. Поставь на стол.

Подняв наполненную рюмку, я разглядывал ее на просвет.

— Отойди немного, — я сделал ему знак свободной рукой.

У отца Бастьена в последние годы появился неприятный запах, не сильный, разумеется, но вполне ощутимый, напоминающий «аромат» компоста, который в сырой день доносится до вас издалека.

— Я хочу видеть знаменитое красное вино «Кер де Лангедок».

На самом же деле я видел одни только жирные следы его грязных пальцев. Но это не важно. Бастьен стоял сейчас на безопасной дистанции, подпрыгивая как обычно, так что его вино грозило расплескаться. Он, честный малый, не станет пить прежде своего хозяина. Я отхлебнул. «Ах!» Почмокал губами и отхлебнул снова. Это был сигнал, что и ему можно.

Почему, спросите вы, я держу Бастьена при себе? Отчасти, повторюсь, как очевидный *залог* моего милосердного нрава. Все во благо, о, если бы это было так, все во благо. Кроме того, нет на свете человека, умеющего лучше держать язык

за зубами. Мои тайны из него и клещами не вытянешь. А у меня есть парочка тайн. Кое в чем мы соучастники, он и я.

— Хорошо бы слегка вздремнуть перед визитом немецкого посла. Мы предложим ему один из наших хересов. — Я подмигнул Бастьену. — Ему совсем не обязательно знать, что у нас есть «Кер де Лангедок» тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.

— Sale boche![10] — проворчал он.

Я укорил его в своей обычной мягкой манере:

— Любовь — вот чему учит нас Господь.

КАК СЛУЧИЛОСЬ, что я оказался в таком ужасном положении? Агенты Ватикана преследуют меня в Англии — это сейчас, в конце тысячелетия! — только потому, что почти шестьдесят лет назад отборные части вермахта победоносно маршировали по Парижу, — если помните, то было время восхитительной, хоть и недолгой, прогулки Гитлера по Европе. Сегодня в это трудно поверить. Но история — даже история отдельной личности — пишется не без проблем. Леопольд

---

[10] Примечания: 10
Грязный бош! (фр.)

фон Ранке[11] жизнерадостно советовал нам писать историю «wie es eigentlich gewesen ist» — «какой она на самом деле была». Но какой она была на самом деле? Сколько я ни пытаюсь воссоздать прошлое, неизменно вижу его неверными глазами настоящего. Нет, Кроче[12] был прав: «Всякая история есть современная история». И Гоббс[13] не далек от подобной оценки: «Воображение и память суть одно и то же». Чем старше я становился, чем сильнее запутывалась моя жизнь, тем ближе мне становились установки марксизма, отрицающего роль случая, судьбы и непредвиденного стечения обстоятельств в истории. К примеру, я не очень-то верю, что, если бы Гитлер умер в 1928 году, невероятная европейская история пошла бы в тридцатые и сороковые по совсем другому пути. Но, несмотря на все это, во мне растет убеждение, что случай, судьба и непредвиденный поворот событий правят жизнью людей, в том числе моей.

---

[11] Примечания: 11

Ранке Леопрльд фон (1795–1886) — немецкий историк.

[12] Примечания: 12

Кроче Бенедетто (1866–1952) — итальянский философ, политический деятель.

[13] Примечания: 13

Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ.

Во-первых, мне следует наконец объяснить, что́ два француза — Бастьен и я — делаем здесь, в Англии. Но прежде скажу, что на самом деле я еврей — то есть явился в этот мир евреем. Мои родители были венгерскими евреями, они жили в Дунахарасти, городке к югу от Будапешта, там же поженились и сразу в 1923 году, за пять лет до моего рождения, уехали в Париж.

Любопытное (и случайное) совпадение: Дунахарасти был родиной Соломона Рубена Хаима Фолша (1720?-1796), каббалиста, чародея, хитреца и в известном смысле авантюриста, который, исправившись (а может, подобно шекспировскому принцу Хелу[14], выбрав подходящий момент, чтобы явить миру свое истинное «я»), стал известен своим последователям как [illegible], Пиш. Это имя — образовано из начальных букв слов [illegible] [illegible] [illegible], что означает примерно следующее: благородный и рассудительный советник и судья. А затем, в свое время, Фолш превратился в Баал Шема из Ладлоу. Здесь, в Бил-Холле, есть одна картина, которая по разного рода причинам притягивает меня как магнит. Пожалуй, я расскажу о ней позже.

---

[14] Примечания: 14

Хел — уменьшительное имя принца Генриха, героя хроники Шекспира «Генрих IV».

Мой отец, Конрад Мюзич, был в некотором смысле шлимазл, недотепа, от природы обреченный на неудачи, — сей факт, скорее всего, и спас ему жизнь. Он был болезненным человеком, склонным к полноте, кроме того, что он всегда ходил в костюме из саржи и рубашке с целлулоидным воротничком, у него вечно было туповато-хмурое выражение лица. В Марэ[15] он открыл маленькую лавку, темную и сырую, где торговал разными пуговицами, нитками, иголками и в случае надобности мог предложить талес, праздничную ермолку, ханукальный дрейдл[16] и другие вещи такого рода. Я не помню, чтобы в лавке когда-нибудь толпились покупатели. Тем не менее из этого малообещающего предприятия мой отец ухитрялся извлекать средства к существованию. Еще одна характерная черта — он всегда много суетился и никогда не бывал спокоен. Даже сидя в кресле, вечно дрыгал ногой и терзал подушку. Вы можете подумать, что такая нервозность постепенно подтачивала его силы.

---

[15] Примечания: 15

Марэ — квартал старого Парижа, где традиционно селились парижские евреи.

[16] Примечания: 16

Талес — накидка, надеваемая во время еврейского богослужения; дрейдл — волчок для игры в праздник Хануки.

Ничуть. Мы жили в маленькой квартире прямо над лавкой.

Добавлю, что я нисколько не похож на Конрада Мюзича и вообще часто сомневался в его отцовстве. Но, должен признать, что теперь, в старости, в облачении священника у меня достаточно странный вид: я выгляжу как старый еврей из Центральной Европы, и это не трудно угадать. Речь идет не о стереотипе, состряпанном нацистами, вовсе нет, а о среднестатистическом еврее. (Вот только как, эту «еврейскость», распознавать? Не по сутулости же, насмешливо именуемой в Америке «Hadassah hump» и свойственной дамам из «Адассы»[17]? Не по самоуверенно выдающемуся носу или по удлиненной форме ушей? Или по привычке пожимать плечами по любому поводу? Если так, то я теперь очень похож на моего отца в старости.) Но, кажется — будь все это проклято, — я веду себя как какой-нибудь антисемит! И все же, глядя в зеркало на свою персону, округлившуюся, как и подобает духовному лицу, я вижу шута или в крайнем случае актера еврейского театра, где играют на идише и еврей надевает сутану, изображая на сцене врага.

---

[17] Примечания: 17

«Адасса» — международная еврейская благотворительная организация.

Однако на чем я остановился? Ах да, мои родители. Моя мать была красавица, о чем необходимо сказать. У меня есть ее фотографии, так что это не аберрация памяти. Как описать ее? Она была выше и стройнее моего отца, с замечательной гибко-пышной фигурой, которой так восхищались в тридцатые годы. В ней сочеталось целомудренная прелесть американской звезды Клодетт Кольбер и красотой пылкой земной француженки Жанны Моро в расцвете лет. Как странно, что она вышла замуж за моего отца! Я думаю, из всех ее поклонников в Дунахарасти он оказался единственным, кто обещал увезти ее в Париж. Она, урожденная Шейна Блум, звалась Héléne и, конечно, ее место было в Париже. Когда мой отец говорил ей «la belle Héléne», а он часто так говорил, она награждала его скучающе-томной улыбкой. Я восхищался ею. Но увы, не уверен, что она очень любила меня. Я правда не знаю.

С другой стороны, я делил с нею постель до десяти лет. К тому времени мой незадачливый отец давно согласился с предложением удовлетворять свои животные страсти где-нибудь на стороне. (Действительно ли было так — этот вопрос теперь не имеет смысла и наводит на банальные предположения. Он спал на соломен-

ном тюфяке, который каждую ночь раскладывал в противоположном от двери конце лавки. Маленьким ребенком я воображал, что папа внизу храбро защищает нас от злодеев.) Уловку матери, поселившей меня в своей постели, не следует приписывать тому, что она не была страстной натурой. Как раз была и после полудня принимала в спальне своих любовниц. Ее главной заботой было сохранение цвета лица с помощью разных косметических ухищрений и сна, особенно по утрам, когда она подолгу и абсолютно неподвижно лежала в постели. В своих самых ранних воспоминаниях я вижу себя рядом с ней, уже понимая, что нельзя произнести ни слова.

Одна из любовниц матери, эта мужеподобная сука Мадлен Дормей, чей брат служил в местной полиции, в конце концов и предала ее. В начале войны мы всей семьей спаслись бегством в Орлеан. Почему в Орлеан? — спросите вы. Не имею понятия. Может, у моих родителей были там друзья; может, отец узнал, что там найдется работа. Но это был переезд, имевший для меня самые серьезные последствия. Париж тогда охватила паника. Моим родителям казалось важным спасти ребенка от бомбардировок, ведь город наверняка должен был пострадать — рушащиеся

здания, ядовитый газ и все такое. Отец, разумеется, был мобилизован — я помню его в военной форме, — но французской армии не суждено было долго видеть его в своих рядах. В 1941 году он совершил первый тайный набег в НОЗ — неоккупированную зону.

Орлеан не был для нас безопаснее Парижа. Евреев здесь тоже обязывали регистрироваться в полиции qua[18] евреи, но это ужасающее требование мои родители проигнорировали, убедив себя, что по закону место их регистрации не Орлеан, а Париж. Их план состоял в следующем: папа должен был пристроиться где-нибудь на юге Центрального массива, найти работу и послать за нами. Всякий раз, когда отец ускользал на юг, мама ускользала на север — в Париж, под тем предлогом, что нужно приглядывать за лавкой и квартирой, на самом же деле чтобы броситься в объятия своей обожаемой Мадлен. Пока она была в отъезде, я должен был слушаться тетю Луизу, нашу пожилую строгую хозяйку квартиры — эта католичка за лишние пять франков соглашалась по-матерински присматривать за ребенком-беженцем.

---

[18] Примечания: 18
В качестве (лат.).

Шестнадцатого июля 1942 года тете Луизе, в очередной раз действующей in loco matris[19], была вручена написанная каракулями записка от моего отца; он в Сен-Понсе, недалеко от Безье, в департаменте Эро, и мы должны отправиться туда — не откладывая, но соблюдая осторожность. Однако в тот же день 16 июля 1942 года — подобные совпадения почти заставляют поверить в Божественный Промысел — моя мать была выдана и арестована. Парижские полицейские вместе с их прилежными подручными согнали тысячи евреев на Зимний велотрек, и мама провела там неделю в таких условиях, что у самого Данте не поднялась бы рука их описывать. Эта информация дошла до тети Луизы, когда она действовала in loco patris[20]. Потом мать отправили в Дрэнси, где она пять месяцев погибала в мучениях, моя красавица мама, ухитряясь подкупать охранника (и никто не смеет спрашивать, чем именно, ведь у нее не было денег!), чтобы передавать нам, через тетю Луизу, свои письма. Из Дрэнси мою мать увезли в Освенцим, откуда и отправили на тот свет. Что до Мадлен Дормей, пусть она вечно

---

[19] Примечания: 19
Вместо матери (лат.).

[20] Примечания: 20
Вместо отца (лат.).

горит на самом дне преисподней — лишь бы такое место было! Du calme, du calme![21].

Я забегаю вперед.

БИЛ-ХОЛЛ РАСПОЛОЖЕН на вершине высокого и пологого холма в долине реки Корв, и с него открываются величественные виды на парк и лесистую местность. На северной границе поместья вьется приток Корва, а если двигаться к югу, то в зимние месяцы, когда буковые деревья сбрасывают листву, можно видеть часть сохранившихся развалин дворца Ладлоу. Холл был построен сэром Джоном Ванбруком для сэра Перигрина Била в 1693 году. В этих величественных руинах, даже сегодня, легко угадываются in piccolo[22] очертания замка Говарда. Что заставило успешного драматурга сэра Джона взяться за архитектуру — оставим в стороне его неожиданный талант зодчего, — вряд ли когда-нибудь станет известно. Но нам *действительно* известно, что сэр Перигрин и сэр Джон любили вместе выпить и провести время с девками и брали уроки фехтования у Гастона Лефе в его академии

---

[21] Примечания: 21
Спокойствие, спокойствие (фр.).

[22] Примечания: 22
В миниатюре (ит.).

в Пидл-Лейн. Возможно, этого объяснения достаточно. Удивление современников Ванбрука по поводу его рискованной затеи выразилось в отвратительном стишке, который традиция приписывает самому Джонатану Свифту:

Гуд-бай, театр, — сказал писака Ван
И в архитекторы подался. Вот болван!

Если многое из вышеизложенного напоминает вам строки из сладкоголосого путеводителя, поздравляю: у вас есть чутье на прозу. Большую часть рассказанного я и правда позаимствовал из иллюстрированной брошюры «Бил-Холл. История и путеводитель». Первое издание, вышедшее в 1956 году (старый стиль[23]), посетители покупали за четыре пенса, сейчас же она продается за девяносто пенсов (новый стиль). Не изменились ни содержание, ни оформление, правда, теперь мы печатаем ее на глянцевой бумаге. Я не закавычиваю цитаты по той простой причине, что — можете смеяться, если хотите, — я и есть автор брошюры «Бил-Холл. История и путеводитель», что снимает вопрос о плагиате. Но если у вас, как я предположил, есть чутье на прозу,

---

[23] Примечания: 23
Старый стиль — готический старинный английский шрифт.

тогда, надеюсь, вы заметили, что даже в 1956 году мой английский был достаточно гладким, чтобы спародировать стиль, принятый в такого рода печатной продукции. Сегодня я, конечно, владею английским, как если бы это был мой родной язык, я на нем думаю и даже вижу сны. Мне гораздо легче изъясняться на английском, чем на родном французском, чьи утонченные грамматические достоинства и более затейливая лексика понемногу ускользают из памяти. В последний визит в Париж таксист даже задал мне вопрос по-английски — верный признак того, что он посчитал меня иностранцем, и, скорее всего, с другого берега Ла-Манша!

Конечно, мой разговорный английский все еще отмечен легким французским акцентом, который пятьдесят лет назад ублажал слух (и другие органы) женщин-англофобок. Юная Кики, к примеру, описывала его как «сексуальный», юная Мод утверждала, что с самого начала он «увлажнял ее трусики». Ладно, довольно хвастаться. Нынешнее повествование не выдаст ни моего совершенного владения языком, ни незнания его. А вот брошюру буду непременно цитировать — и вы сами позже поймете почему. Мы с Бастьеном благодаря Кики оказались именно в Бил-Холле и

прожили здесь скоро уже полвека.

ТАК МНОГО НУЖНО РАССКАЗАТЬ, а времени, боюсь, почти не осталось. С чего начать? Сегодня я освободил двух гномов. Это не относится к делу? Я позаимствовал эту идею, известную и другим народам, у французов. Молодежь с той стороны пролива намного *лучше*, чем была в мое время. Там есть группа посвященных — на фотографиях они в ярких вязаных шлемах, видны только сверкающие глаза и безупречные зубы, — и гномы пользуются их покровительством: они уносят сказочный народец из буржуазных садов и выпускают на свободу в леса, в «их естественную среду обитания». Этим утром, незадолго до восхода солнца, я освободил двух гномов из палисадника Бенгази[24], коттеджа майора Кэчпоула: один из них лениво лежал на боку, с удочкой в руке, другой сидел на поганке, потирая указательным пальцем нос. Я выпустил их на волю в лес Тетли.

Этот лес, некогда часть поместья Бил, теперь полностью окружает его. Продал лес последний потомок сэра Перигрина, командир эскадрильи сэр Фердинандо Бил, иначе было не оплатить грабительские налоги, наложенные на наследство

[24] Примечания: 24
Бенгази — название города в Ливии.

послевоенным победоносным лейбористским правительством. Он умер, не оставив потомства, в 1951 году, повесившись на нижней ветви Стюартова дуба, несчастный гомосексуалист, жертва шантажистов. Его наследницей стала леди Виолетта Девлин, моя дорогая Кики. Она, в те далекие времена истинная католичка, всеми помыслами была уже в новом веке avant la lettre[25] и не интересовалась новообретенной собственностью. Кики пожертвовала ее Церкви, точнее — Ватикану, но на определенных условиях: Бил-Холл, его строения, его бесподобная библиотека и земли переходят в собственность Католического института, для поддержки которого создается попечительский совет. Первым генеральным директором института должен стать отец Эдмон Мюзик, ваш покорный слуга, с пожизненным сроком пребывания в этой должности, если только в какой-то момент он сам не решит уйти в отставку, заранее известив попечителей, или если до их сведения не дойдет, что его пошатнувшееся здоровье несовместимо с исполнением обязанностей директора, но это должно быть подтверждено неопровержимыми

---

[25] Примечания: 25
Здесь: прежде буквального наступления (фр.).

медицинскими свидетельствами. Генеральный директор наделяется самыми широкими полномочиями по управлению Бил-Холлом и его землями, за исключением права продажи поместья. Неплохо, а?

Вот так волшебно отозвалась на мою мольбу к ней в 1954 году Кики, моя возлюбленная Кики. Я писал, что, если мне придется претерпевать крестные мучения еще в одном столь же отвратительном, как нынешний, церковном приходе, я погибну, потому что больше не могу метать искусственный бисер перед реальными свиньями. Она была тогда в Биг-Суре, что в Калифорнии. Некий бдительный спортсмен, занимавшийся серфингом, увидел Пресвятую Деву Марию, восставшую, подобно Венере, из легкой спортивной лодки; тысячи верующих, как водится, собрались на чудотворном пляже, и среди них Кики. Однако, неусыпно бодрствуя в ожидании явления ПДМ[26], она нашла время устроить мое будущее. (К 1960 году Кики, вдохновленная Олдосом Хаксли, уже продвинулась вперед на пути к священному грибу и другим естественным психоделическим средствам постижения мистических истин. В

[26] Примечания: 26
ПДМ — Пресвятая Дева Мария.

1975 году, прожив к тому времени несколько лет в Созолито, она приняла слишком большую дозу сильнодействующей смеси галлюциногенов. Я отслужил по ней заупокойную мессу в Бил-Холле. В отношении меня она всегда была fidelitas ipse, сама преданность. Ну, а после ее смерти Церковь всеми способами старалась выдавить меня из Бил-Холла.)

Дорога, идущая через поместье, начинается у массивных железных ворот, теперь всегда открытых, сооруженных в высокой стене, окружающей парк с южной стороны. Дорога минует коттедж привратника, выстроенный в поздневикторианскую эпоху из местного камня и крытый соломой (сейчас он свободен, но только не от местных парней и девушек, которые пользуются им для своих амурных дел). Сразу за коттеджем дорога уходит к озеру, оно в центре сужается, как если бы сама природа предусмотрела место для моста, украшенного точеными фигурными перилами. Среди камышей плещутся утки и шотландские куропатки. Тут дорога начинает довольно круто подниматься и идет мимо Стюартова дуба, где когда-то сэр Фердинандо, а позже старый Тревор встретили свою смерть, и потом под двумя изогнувшимися аркой деревьями, старинным дубом

и каштаном, сквозь листву которого вдали можно иногда на мгновение увидеть колонну, воздвигнутую сэром Хэмфри Билом в честь знаменитой победы Нельсона при Трафальгаре. Потом дорога раздваивается, и правое ответвление ведет к конюшенному блоку с его центральным входом под аркой и башенными часами, перестроенному по моей инициативе более тридцати лет назад в административный корпус, кухню, трапезную, общую гостиную и маленькие однокомнатные квартирки для посещающих нас ученых. Очень скоро для меня стало утомительным такое обилие ошейников, по большей части иезуитов, в самом Бил-Холле. Переделка конюшен была очевидным решением. Разумеется, я не мог не допускать гостей в библиотеку или в часовню, но ограничил библиотечные часы и поручил Бастьену составить своего рода расписание. В результате прибывающих братьев приветствует Бастьен, тот же шаркающий тапочками Бастьен общается с ними во время их ученых занятий, и от него же они получают прощайте-счастливого пути при отбытии. Теперь я Редко вижу кого-нибудь из них. (Миряне — иное дело. Я сам просматриваю список просителей и ограничиваю доступ для тех, кто не кажется мне интересным.)

Другое — левое — ответвление дороги расширяется, и скоро в поле зрения путников появляется сам Бил-Холл, величественный барочный дворец. Но довольно болтать! Если вы интересуетесь подобными материями, рекомендую вам почитать брошюру «Бил-Холл. История и путеводитель». Вы почерпнете там сведения о Грейт-Холле, об удивительной каминной полке и о еще более удивительной росписи на сводах Джованни Малоккио: Афродита, Бритомартис и Элин Скрим-Пит из «Друри-Лейн»[27], все три — в чем мать родила, все три возносящиеся к эмпирею, а вокруг них крылатые amoretti[28] с пухлыми щеками дуют в трубы, и отовсюду открывается самый неожиданный вид на их пышные прелести, настоящий шедевр эротической перспективы. В моей «Истории и путеводителе», обремененной принципом nihil obstat[29], я благоразумно атрибутирую этих дам как веру, надежду и любовь и намекаю, что они *нисходят* с неба, а не *восходят* к небесам. Является ли самой замечательной из этих дам

---

[27] Примечания: 27
«Друри-Лейн» — Лондонский музыкальный театр.

[28] Примечания: 28
Здесь: амурчики (ит.).

[29] Примечания: 29
Ничего неподобающего (лат.).

любовь (то есть Элин Скрим-Пит) — дело вкуса. Но у нее, несомненно, самая восхитительная задница, и из них она единственная, на ком всегда останавливается мой задумчивый взгляд. Дальше я буду рассказывать о библиотеке, Гобеленовой комнате, о Длинной галерее, о роскошной коллекции живописи и мебели, о картинах Рубенса, Доменико Фети, Гольбейна, Ван Дейка, Лели, Кнеллера, Хогарта, Стабса, Тёрнера и прочих, но лишь когда (и если) о них зайдет речь. Так же я поступлю с часовней, перестроенной в 1875 году Чарлзом Оджилви Билом, который покинул Ватикан ради Кентербери, только ощутив близость смертного одра, и который гордился барельефом работы Мантовани и цветным стеклом Мориса и Берн-Джонса. Но Музыкальная комната — другое дело. Я превратил Музыкальную комнату в мое частное владение, где провожу большую часть времени, когда бодрствую (а не несколько часов сна), вот уже почти пятьдесят лет. Появившись здесь, я сразу был очарован этой комнатой, ее красотами, ее изысканными пропорциями и, конечно, ее названием. Музыкальной комнатой[30] она была когда-то и теперь снова стала ею.

---

[30] Примечания: 30

Music room (англ.) — игра слов: музыкальная комната и комната Мюзика.

МАЙОР УИЛЬЯМ КЛАЙВ («Зовите меня У.К., старина!») Кэчпоул, ОБИ, «крыса пустыни»[31], безупречно служил под командованием фельдмаршала Монтгомери в Северной Африке. То, что он видел там по части человеческих страданий, глупости, злобы и — ну да, героизма, — заставило его потерять свою веру. Он вступил в войну католиком («идиотски набожным, дружище»), а вышел из нее форменным атеистом. Ни один священник, ни даже Его Святейшество — «*ваш* хозяин, старина, не мой» — не мог бы навязать ему ханжеского оправдания зла, вездесущего и беспричинного. Он был обрызган кровью и мозгами, изранен осколками костей товарищей, взорванных на его глазах. Он слышал вопли людей, горевших заживо в танках, он чувствовал отвратительный запах вываливающихся внутренностей, потрясенные владельцы которых тщетно пытались запихнуть их назад в булькающие полости. И он знал, что какое бы смертоносное зло ни обрушили немцы на английских парней, такое же зло английские парни постарались обрушить на немцев.

---

[31] Примечания: 31

ОБИ — кавалер ордена Британской империи; «крыса пустыни» — так называли британцев, служивших; в годы Второй мировой войны в Седьмой бронетанковой армии союзных войск.

— Где был ваш Бог, пока все это продолжалось? Я имею в виду крошечную — по сравнению с историей человеческого безумия — каплю зверства, которая оказалась чудовищней всех прежних зверств — как до Распятия, так и после? Где был ваш кроткий Иисус, отец?

Возразить нечего.

У Кэчпоула из-за выпавшей однажды карты рассыпался весь карточный дом. Его прежняя вера лежит в руинах. Он сделался, если можно так выразиться, *атеистом-крестоносцем*. Надел сверкающие доспехи Рыцаря Истины и поднял острый, как бритва, Меч Разума. Выражаясь менее замысловато, разгром католицизма стал его призванием. С тех пор как мы соседствуем — а тому скоро уже полвека, и я всегда под рукой, — моя персона долго была мишенью для его антикатолических стрел.

Однако позвольте мне сразу сказать, что я люблю майора и, полагаю, он тоже симпатизирует мне. Мы всегда были друзьями и остаемся ими. Именно в этом контексте следует оценивать тот факт, что я украл его садовых гномов. Это ход в нашем давнишнем сражении, обычно словесном, и майору принадлежат в нем лучшие реплики. Надеюсь, похищение гномов сместит

наши извечные дружеские дискуссии в менее привычную область.

Раз в неделю мы с ним играем в шахматы: то в Музыкальной комнате в Бил-Холле, то в скромной гостиной в Бенгази, коттедже майора на краю леса Тетли (когда-то это был коттедж привратника поместья). Мы не очень искусны в шахматах, но по крайней мере *одинаково* неискусны. Разумеется, шахматы — лишь предлог для регулярных встреч. В Бил-Холле уже много лет Мод угощает шахматистов своими закусками, сэндвичами, булочками с тмином или лимонным кексом и чаем. Майор давно знает — я уверен в этом, — что мы с Мод делим постель, но делает вид, что ничего не подозревает. Он не использует это знание как аргумент против католического лицемерия — майор был и остается джентльменом.

Разумеется, и я никогда не говорю с ним о сменявших друг друга «кузинах», «племянницах» и домоправительницах, правда, в последнее время этот ручеек несколько иссяк. Да и как бы я мог? Он женился вскоре после войны на женщине, у которой была «хроническая» послеродовая депрессия — она как будто началась до ее собственного рождения. В Имоджин хранился неисчерпаемый запас уныния и серой хмурости, делавшихся еще

отвратительнее, когда к ним примешивались подозрительность и злоба. «Она угнетала меня, старина. Несчастная, это не ее вина, но она меня угнетала». Эта дама всегда пребывала на грани слез, а кончик носа у нее вечно был красный, будто замерзший. Майор — воплощенное Терпение на постаменте, а она — его Несчастье; только вот он не мог улыбаться.

Они прожили вместе двенадцать тягостных лет.

— Чуточку удачи — и проблема решена. Ее доктор-хлыщ, наверное, озверел от вечного нытья Имоджин и посоветовал ей поехать на месяц или два в Брайтон, дескать, целебный морской воздух принесет ей море здоровья, поможет отвлечься от себя и все такое. Ладно, там она встретила этого танцора, Бласко Мендозу, — слышали о нем когда-нибудь? Не важно. На самом деле никакой он не испанец. Приехал из Бруклина, из Нью-Йорка. Они влюбились, попали в сети темпераментов, насколько мне известно. Он сбежал с ней — не знаю куда, мне все равно, если честно. Может, в Бруклин.

Я слышал эту историю много раз. Майор, храни его Бог, давно забыл, что я был свидетелем всех этих событий.

Этим вечером он пришел в Бил-Холл — подошла моя очередь быть хозяином в нашем шахматном матче — и поздравил меня с моим «сверхъестественным (он любит употреблять такие слова) воскресением». У.К. сейчас восемьдесят, и он довольно слаб. Его нынешняя дама сердца — он больше не ищет предлогов — частная сиделка. Он аж пузырился от возбуждения. Это означало, что у него появился новый аргумент. Мысленно я вздохнул. Значит, мне в который уже раз придется отстаивать, помоги мне, Господи, не только все сущее, но и Святую Троицу, единую и неделимую. Я постарался придать лицу выражение нетерпеливого ожидания.

Небрежно, словно желая продлить удовольствие и потому откладывая миг торжества, он ухватил книгу в кожаном переплете, лежавшую на моем столе.

— Что мы здесь имеем? — спросил он, открывая титульный лист.

— Как видите, первое издание Кольриджа, тысяча восемьсот шестнадцатый год. «Кристабель», «Кубла Хан», «Мучительные сны». Оно заслуживает особого внимания, потому что в конце приплетено «Поле Ватерлоо» Скотта. Вот здесь, позвольте, я покажу.

— Да, да, весьма интересно.

Но, разумеется, ему вовсе не было интересно. Это замечательная книжечка, одна из тех, которые я храню здесь как мой, так сказать, личный фонд. Не заинтересовал майора и череп — memento mori, — стоявший на моем столе. Череп предположительно принадлежал Пишу, Баал Шему из Ладлоу, хотя я не смог найти никаких упоминаний об этом в его бумагах. На темени все еще начертаны древнееврейские буквы: [illegible], Йорик: надежный ключ к тайне Пиша, как мне, возможно, удастся доказать в дальнейшем.

У.К. не мог больше сдерживаться. Он уселся на своей стороне шахматного столика, заботливо подтянув штанины брюк на коленях жестом, ставшим очаровательно старомодным после пришествия джинсов, и потянул себя за левую мочку. Появилась возможность, поделился он своим открытием, доказать присутствие в мире беспричинного и, следовательно, отрицающего Бога зла с помощью математической формулы, теоремы Байэса[32].

— Вот взгляните, — сказал он, доставая из нагрудного кармана сложенный листок. Я раз-

---

[32] Примечания: 32
Байэс Томас(1702–1761) — английский теолог и математик.

вернул его:

$$P(H / e\&k) = \frac{P(H / k) \times P(e / H\&k)}{P(e / k)}$$

Именно этот момент выбрала Мод, чтобы постучаться. Можно ли узнать человека по стуку? Клянусь, я способен отличить стук Мод среди множества любых других. (Хотя, конечно, кто, кроме Мод, мог постучать в этот момент? Я хочу быть насчет этого справедливым. «Разве истина не истина?» — осведомляется Фальстаф[33].)

— Давай, — сказал я, используя словечко, которое для меня и Мод имело непристойное значение, возвращая нас к дням наших самых первых сексуальных восторгов.

Неудивительно, что она покраснела от смущения, когда вошла с подносом, на котором были разложены крошечные сэндвичи (копченая семга, ветчина и сыр, помидор и огурец), ломтики шоколадного кекса, тарелки и ножи, заварной чайник, кувшинчик молока, чашки и сахар.

— О, угощение, Мод! Великолепно! Вы так любезны, — приветствовал ее Кэчпоул. — Что вы

---

[33] Примечания: 33
Шекспир У. Генрих IV. Часть I. Перевод под ред. А. Смирнова.

сказали нашему другу, когда он изволил восстать из мертвых? Non nobis[34], не так ли? И все-таки мы благодарны, да?

Мод сильно раздалась, подойдя к семидесятилетнему рубежу (вернее было бы сказать, она к нему прихромала, поскольку ее левое бедро причиняет ей страшную боль). Ее лицо иссечено несметным числом морщин, но, когда она улыбается — и Кэчпоулу была подарена улыбка, — вся ее прелесть, от которой замирает сердце, сияет прежним светом. Ее зеленые глаза все еще манят. Когда она улыбается, ах…

В красоте весны и лета
Нет той прелести живой,
Что в лице, где дышит осень,
Промелькнула предо мной.

У нее до сих пор рыжие волосы, может, даже еще более рыжие, чем в молодости, но, кажется, благодарить за это следует Энджи Маклетвист, самодовольную хозяйку парикмахерской «Снипети-Снип» в Ладлоу, она приходит — как подруга и «специалист» — каждый второй четверг вечером и проводит с Мод час или два.

---

[34] Примечания: 34
Не нам (лат.).

Как и я, Мод питает слабость к У.К. И она умело смягчает театральные эффекты его антиклерикальных выпадов, вызывающих ее неодобрение. «Я готова согласиться, что мы должны приглашать в дом этого нечестивца, — говорит она. — Но, если честно, — я считала его большим джентльменом».

— Если вы когда-нибудь снова заимеете машину, — сказал У.К. с озорным огоньком в глазах, — надеюсь, поступите благоразумно и первым делом отправитесь в Боливию, в Копакабану.

Было бы жестоко не задать ему ответного вопроса, кроме того, мне было интересно, к чему это он.

— Зачем туда ехать?

— Затем, чтобы освятить машину, разумеется. Люди съезжаются туда со всей Южной Америки, а потом отправляются вверх, к озеру Титикака. Центральная площадь забита народом, особенно в так называемые святые дни. Ваша Церковь, старина, держит там шесть священников-францисканцев, — не больше и не меньше! — и все они будут счастливы окропить ваш автомобиль святой водой и произвести соответствующее бессмысленное бормотание.

— Шутите, майор!

— Чистая правда, даю слово. Это же гораздо лучше банального автострахования. Священники уберегают вас и вашу машину от катастроф, от перепивших водителей, разбитых осей, вводящих в заблуждение дорожных знаков, скверных тормозов, нехватки бензина и всего, на что сами укажете. Ведь от этого, дружище, зависит вся экономика города. Даже банки открыты по выходным, чтобы обслуживать паломников. Что уж говорить, церковь и банки всегда в сговоре. А ведь ваш Спаситель, вспомните, вышвырнул менял из храма. Вы можете купить у индейских женщин все необходимые принадлежности, чтобы украсить машину для освящения.

— Это чудо, — сказала Мод.

— Это позор! — ответил У.К.

— Вы говорите, священники-францисканцы? — спросила Мод.

— Да. Шестеро.

— Ладно, тогда все в порядке.

— Сила — в количестве, так получается? — подмигнул мне У.К. — Ваш Папа, прямо скажем, тоже не отстает от прогресса. Он ведь и вправду просил небесного покровительства для подземных автостоянок, такая вот новая затея у Ватикана. Само здание, легковые автомобили и все люди,

которые там паркуются, отныне будут в совершенной безопасности. Вот уж счастье привалило! Церковь официально вступила в автомобильный век, уделив особое внимание подземным стоянкам. Как, должно быть, убиваются янки, что Его Святейшество не сразу осознал насущность новой сферы приложения своих святых полномочий и не защитил Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Чувство юмора Мод имеет свойство покидать ее, когда речь заходит о предметах, касающихся веры. Сарказм майора причинил ей боль, тем более что она любила его самого.

— Кто сказал, что папское благословение гарантирует успех? — отреагировала она довольно резко. Но тут же смягчила тон: — Я всегда хотела поехать в Нью-Йорк, все не было случая. Там у меня родственники со стороны матери, Дауды. Они держат паб в районе, который называется Куинз. — Она повернулась ко мне: — Вы знаете, отец, что, как только пришла весть о вашей ужасной кончине, майор примчался сюда, чтобы утешать меня? А ведь он нуждался в утешении больше меня, этот несчастный проклятый язычник, — он и есть язычник! — он вздыхал, громко плакал и бил кулаком в свою бедную грудь.

И она направилась к двери, оставив после себя ощущение пустоты, тем самым давая нам понять, как дурны проявленные нами чувства. Чтобы заполнить молчание, я взял бумагу майора и осторожно развернул ее, задумчиво выпятив губу и пристально глядя на формулу.

— Хм.

— На этот раз вы поняли, да? — нетерпеливо спросил майор.

Он по привычке подергивал уголками рта, давая понять, что его очень забавляет ваша глупость, и уже собрался было посмеяться надо мной, но сдержался, сделав над собой героическое усилие.

— Мы начинаем, как всегда, с Бога, который, по определению, всемогущ, всеведущ и, разумеется, добр. — Уголки рта майора дернулись, но он тут же прикрыл рот рукой. — Однако страдание несомненно не добро. Вы пока согласны со мной?

Я кивнул, улыбаясь и как бы говоря: «Ах, У.К., милый мой проказник, опять вы за свое». Вслух же я сказал:

— А как насчет сэндвичей, они скоро скукожатся, если мы не отдадим им должное. И насчет отличного чая Мод?

Тик в уголках рта майора усилился.

— Вам бы быть матерью, отец.

Это одна из его любимых шуток, на которую я его регулярно провоцирую. Я разлил чай.

— Один кусок или два?

— Два для меня и три для вас, — пропел он и продолжил речитативом:

Вы поясняете Троицу, строите замки из песка,

Попивая апельсиновый, выше всяких похвал, чай,

Расстраиваете арианина[35]*, кладя сахару три куска,*

Пока дьявол не торопится утащить меня в свой рай.

Это звукорежиссер Браунинг. Он кое-что понял про лицемерие, испытав его на себе, — закончил У.К.

Эта шутка тоже редко упускается из бесед в нашей мужской компании. Он съел сэндвич за один укус.

— Кто-то стащил моих садовых гномов.

— Не может быть! — удивился я. — Ваших садо-

---

[35] Примечания: 35

Арианин — последователь арианства, течения в христианстве IV–VI вв., отрицающего главный догмат христианской Церкви — о единосущности Бога-отца и Бога-сына.

вых гномов? Какому идиоту могло это прийти в голову? Не иначе как самому дьяволу.

— Да ну? Если так, я ему благодарен. Не было никаких сил терпеть проклятых тварей. Это Имоджин выпустила их туда. Я уже давно собирался избавиться от них. Чертова лень.

Я вздохнул.

У.К. взял еще один сэндвич и кивнул на листок в моей руке.

— Улавливаете суть? — спросил он наконец. — Беспричинное страдание есть зло. Это само собой разумеется. Если Бог допускает его, значит, Он не добр; а если Он не добр — Он не Бог.

Я бросил листок на стол.

— Послушайте, майор, вы могли бы придумать что-нибудь и получше.

— Что именно? — Никакого тика.

— Дайте подумать. Я не претендую быть хоть сколько-нибудь философом. Однако сделаю попытку. Это вероятностная теория? Способ проверки гипотезы, не так ли?

— Так точно. Если согласитесь, что ваш так называемый Новый Завет — неправдоподобная теория. Но можете ли вы что-нибудь возразить на это?

— Думаю, да. Правда, я успел забыть смысл

некоторых элементов этого уравнения. Вы не могли бы мне напомнить? Н — разумеется, гипотеза; е — это… очевидное; к, дайте подумать, да, к — это фундаментальные знания или подтвержденные убеждения. Неплохо, неплохо. Так, У.К., и что дальше?

Он постарался скрыть свое разочарование, сделав вид, что внимательно разглядывает шахматные фигуры, расставленные в исходной позиции. Потом стал шумно прихлебывать чай.

— Предположим, что Н, моя гипотеза, заключается в том, что нет никакого смысла в беспричинном страдании (по отношению к отдельным случаям или примерам страдания); е — равноценно утверждению, что даже по глубокому размышлению не удастся обнаружить никакого смысла в страдании; и к — соответствует любым нашим подтвержденным фундаментальным убеждениям.

— Но мы можем проверить вашу гипотезу, только сопоставив ее с ее противоположностью — гипотезой теиста: причина страдания *существует*, но она лежит за пределами наших знаний. Позвольте обозначить *мою* гипотезу буквой Т. — И под его уравнением я написал собственное:

$$P(T/e\&k) = \frac{P(T/k) \times P(e/T\&k)}{P(e/k)}$$

Теперь пришла моя очередь шумно отхлебнуть чай.

— Итак, что разумнее принять: Н или Т относительно е&к? Ответ зависит от того, какая из правых частей двух уравнений больше, вы согласны? Несомненно, Р(е/Т&к) больше, чем Р(е/Н&к). Ибо, если причина страданий *существует*, но лежит за пределами нашего понимания, тогда, конечно, даже самые глубокие размышления не помогут нам узнать эту причину.

— Это вы так считаете, — буркнул он раздраженно.

— Идем дальше. Даже если бы мы и нашли эту причину, она может оказаться ложной или просто иллюзией, так как моя гипотеза констатирует, что причина нам недоступна в принципе.

У.К. сосредоточился на шахматных фигурах.

— Всякая религия, которая чего-нибудь стоит, призывает своих приверженцев сражаться за веру. Так что вперед, мой друг. Я не убедил *вас*, вы не убедили *меня*. И вряд ли теорема Байэса поможет нам сдвинуться с начальной точки.

— Да, это так, — согласился майор.

И мы принялись за игру.

Если до сих пор позволительно верить во Фрейда — другого Бога, Который Обанкротился, — я бы сказал, что У.К. следует еще раз страстно уверовать, чтобы больше всего на свете ему захотелось пасть ниц перед Крестом.

Как может разумное творение верить в нелепости христианства? Как можно не видеть в истории Христа образчик бесчисленных языческих мифов, вековечную выдумку о принесенном в жертву божестве, его прославлении и воскресении? Как современный человек может верить этому нагромождению суеверий — первобытных, средневековых и всех последующих? Это загадка. Хотя — и дело здесь не в скромности — простая честность требует признать, что в течение всей истории католической Церкви было немало верующих мужчин и женщин, чей интеллектуальный уровень и душевная тонкость намного выше моих.

Епископ из Гиппона[36], или Фома Аквинский, или Томас Мор, или (возможно, лучший для меня образец) одна из последних канонизированных

[36] Примечания: 36
Епископ из Гиппона — Блаженный Августин.

святых, мученица Холокоста Эдит Стайн[37], — каждый из них мог бы разбить в пух и прах мои жалкие сомнения. Что до майора, даже я способен развенчать его неубедительные инвективы.

Может быть, вера и сомнение обусловлены генетически? Существует ли внутри нас такой переключатель, который включается или выключается при зачатии или во время внутриутробного развития? Я не делаю вид, что знаю ответ. Доказательства за религиозную истину полны изъянов, доказательства против бесполезны. Некоторые люди, видимо, предрасположены к вере, другие — нет. Я знаю только одно: то, что мне представляется откровенной бессмыслицей, может быть неоспоримым символом веры для другого.

ПИШ, КАК Я УЖЕ ГОВОРИЛ, приобрел известность как Баал Шем из Ладлоу. «Баал Шем» означает «обладатель Имени» — так когда-то называли тех, кто овладел тайным знанием Tetragrammaton[38] и других «священных имен»

---

[37] Примечания: 37

Эдит Стайн (1891–1942) — монахиня-кармелитка, философ и духовная писательница; погибла в Освенциме.

[38] Примечания: 38

Непроизносимое четырехбуквенное имя Бога, которое в иудаизме является запретным и заменяется перечислением атрибутов Бога.

Бога и мог творить чудеса. Я давно почувствовал духовное родство с этим Фолшем и потратил впустую немало часов, чтобы разузнать о нем все, что только можно. (Пожалуй, «впустую» — слишком сильно сказано. Эти изыскания освежили в памяти древнееврейский, расширили и углубили мои познания. Я полюбил рыться в Талмуде, в каббалистических текстах, в трудах раввинов и сочинениях по магии. Я сделался до некоторой степени гебраистом[39], хоть и дилетантом.) К счастью, материалов о Пише здесь, в Бил-Холле, было предостаточно. Когда Фолш жил в Ладлоу, они с сэром Персифалем Билом были по-настоящему близки.

Собственно, когда-то я думал написать биографию Фолша и за несколько лет накропал довольно много, больше 350 страниц, но сейчас сомневаюсь, что закончу. А жаль, поскольку то немногое, что сегодня мир знает о Фолше, содержится в предисловии Лестера Бредли к сборнику Горация Уинстенли «Рассказы Баал Шема из Ладлоу» (1936). Бредли, преданный член хасидской общины, наивно полагал, что биографические подробности, представленные

---

[39] Примечания: 39
Гебраист — специалист по древнееврейскому языку.

в рассказах, вполне достоверны. Уинстенли же, кажется, не подозревал, что сами «Рассказы» были всего лишь интерпретацией более ранних легенд ребе Израиля бен Елиезера (1700–1760), Баал Шема Това, основателя хасидизма. Для меня совершенно ясно, что эти рассказы писались с единственной целью — внушить новым приверженцам истинной веры, сколь доблестна была жизнь их учителя, Баал Шема из Ладлоу, и объяснить им, что сотворенные им чудеса не уступают чудотворству великих мудрецов иудаизма. И мы почти готовы поверить в чудеса, сотворенные в Зорнижице, и в Чечельнике, и в Польше — да и повсюду, где существовала черта оседлости в восемнадцатом веке, — как бы нелепо для нашего уха ни звучали эти названия. Но Уинстенли, кажется, совершенно упускает из виду тот факт, что благочестивая община[40] могла быть только в Уигене, Чепстоу, Хэррогейте или Тёнбридж-Уэлсе, но не в неведомом захолустье.

Вот, например, отрывок из письма, полностью опубликованного в приложении к «Рассказам». Письмо с амбициозным названием «Благовещение» якобы написано Джеймом Пардо, одним из

---

[40] Примечания: 40
Община хасидов.

членов кружка студентов-мистиков, близких к раввину Фолшу. Оно адресовано Дэниелу Рабэку, преуспевающему дельцу, жившему в Амстердаме, который сам был ученым человеком и покровителем учености. Почему Пардо решил именно через Рабэка донести до европейского еврейства известие о том, что Фолш пребывает в общении со Святым Духом, неясно.

> Из своего великого кладезя сокровищ Святой Единый, да будет благословенно Его Имя, одарил нас одним из драгоценнейших сокровищ, самой блистательной из своих жемчужин. Я говорю о живом светоче и слуге Б-га, моем благородном мастере и несравненном учителе, его милости ребе Соломоне Рубене Хаиме Фолше. Великий и могущественный ангел, maggid, открылся этому святому человеку и целых два года посвящал его в божественные тайны.
>
> Позвольте мне теперь рассказать о чудесах. Ангел громко говорил устами ребе Фолша, но мы, его ученики, ничего не слышали! И вот ангел поведал ребе священные тайны! Уста ребе двигались,

казалось, он обращался к нам, своим ученикам, но беззвучно. Между тем его святое тело увеличилось в объеме, как будто наполнилось воздухом, сделалось круглым, похожим на раздувшийся мочевой пузырь нечистого животного, которое зимним днем жестокие нееврейские мальчишки (и мужчины тоже!) гоняют по городу. Сначала мы испугались, что наш ребе лопнет, но когда мы приблизились, он медленно поднялся в воздух, наклонившись вперед, словно преклоняясь пред Ковчегом Завета, и мягко подпрыгнул под потолок. Все это время он безмолвно обращался к нам. К счастью, мы привыкли к сим святым посещениям и больше не тревожились за него.

Алгел открыл нашему учителю много тайн Торы. Теперь ребе преисполнился великой мудрости, и ему стали ведомы скрытые целебные свойства всех растений и язык зверей. Науку толкования по чертам лица человека и линиям его руки он знает, как азбуку. Он может ночью и днем посмотреть на небеса и увидеть

как по-писаному, что случится с нами, евреями, — добро ли, если Бог даст, или несчастье, избави Боже. Он знает все события прошлого, а также причины и корни всех явлений. Короче говоря, ангел открыл ему все.

Но что вы можете подумать обо мне, ваша милость, услышав от меня, что наш ребе подпрыгнул под потолок! Я вам расскажу, что следует за посещением ангела. Раздается громкий шум, — баррр-аакк! баррр-аакк! — словно вдруг налетел ветер. Потом, выслушав откровение, мой учитель всякий раз медленно приобретает свой обычный вид и возвращается в свое кресло, а в воздухе еще какое-то время витает восхитительный запах жженого сахара.

Осмелюсь утверждать, что у этих «Рассказов» есть свое очарование. По правде говоря, они мне, пожалуй, нравятся. Некоторые из них даже поучительны и похожи на евангельские притчи. Однако реальная жизнь человека, который стал Пишем, намного интереснее той пародии, которую предлагают нам Бредли и Уинстенли. Но это

мой конек, и лучше я с него слезу.

КОГДА ВЕСНОЙ 1942 ГОДА подошло время еврейской пасхи, мой отец почувствовал зуд. В Париже наша семья не очень-то придерживалась канонов иудаизма. Разумеется, мы жили среди евреев и благодаря торговле отца ежедневно общались с ними и отмечали, хоть и от случая к случаю, даты и праздники, но ни в малейшей степени не были религиозны. В шесть лет меня отдали в ближайший хедер[41], где учили читать и писать, а со временем говорить на древнееврейском и арамейском языках и готовили к бар-мицве[42]. Само собой разумеется, эти занятия дополняли обычные уроки в школе. Настаивать, чтобы я посещал хедер, моего отца побуждал некоторый атавистический императив, мать же была к этому совершенно безразлична. Помню, что отец называл меня своим kaddishl и говорил, что, когда он умрет, я буду читать по нему кадиш — поминальную молитву. Мать находила его отвратительным.

Но теперь мы были в Орлеане, в оккупирован-

[41] Примечания: 41

Хедер — еврейская религиозная начальная школа.

[42] Примечания: 42

Бар-мицва — обряд совершеннолетия мальчика, когда он достигает 13 лет.

ной зоне, и хотя для квартирной хозяйки мы не делали секрета из нашего еврейства, но, живя среди христиан, под нависшей над нами угрозой разоблачения, не могли вести себя как прежде. Иудаизм моего отца был, так сказать, вирусом, дремавшим на протяжении почти всей его семейной жизни, и теперь он пробуждался в Орлеане всякий раз накануне любого значительного события по еврейскому календарю.

— Не будет ни мацы, — говорил он, — ни харосета[43]. У нас даже нет «Агады»[44]. Эдмон забудет Четыре вопроса[45].

— Нет, не забуду, рара. Я до сих пор все помню.

— Хорошо, значит, я забуду Четыре ответа!

— Ради всего святого, перестань нести чепуху, Конрад, — с раздражением отвечала моя мать. —

---

[43] Примечания: 43

Харосет (иврит) — тертые яблоки с орехами, одно из ритуальных кушаний еврейской Пасхи.

[44] Примечания: 44

«Агада» — иллюстрированная книга, в которой изложены исторические предания, нравственные поучения, а также последовательность совершения пасхальной трапезы с молитвами, благословениями, пением псалмов и т. д.

[45] Примечания: 45

Четыре вопроса. — В начале пасхальной трапезы младший ребенок в семье, уже научившийся читать, по обычаю задает Четыре вопроса (например: «Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей?»), и старший мужчина в доме дает на них Четыре ответа.

Это все, что тебя беспокоит, Четыре вопроса, да? Сентиментальная чушь! А вот у меня как раз есть для тебя вопрос. Ты собираешься, наконец, найти работу? Есть еще один, поважнее. Как ты думаешь, надолго нам хватит наших жалких сбережений? Тебе нужны вопросы? Я задала их. Можешь воспользоваться.

Стоило отцу вляпаться, как он становился совсем мрачным. Щетина темнела на его обвисших щеках. Брюки на подтяжках болтались, как клоунские шаровары. Отец ведь действительно не чувствовал своей ответственности в этот критический момент нашей жизни. Правда, он каждое утро выходил из дому — якобы на поиски работы, создавая иллюзию, что озабочен нашей судьбой. Чем он заполнял свои дни, не могу сказать. Однажды, выйдя из дома по какому-то поручению, я увидел его на площади Победы: он сидел на каменной ограде фонтана, болтая ногами, они были слишком короткими и не доставали до земли. Фонтан не работал, но отец ухитрился промокнуть до костей: дождь лил как из ведра. Пораженный, я отпрянул и побежал вниз по улице Капуцинов. С отцом стало нелегко уживаться: у него появились новые манеры, если не совсем безумные, то и не слишком нормаль-

ные. Если кто-то не соглашался с его мнением, он опускал щетинистый подбородок на грудь, смотрел исподлобья голодными глазами и отчетливо произносил: «Ти хи хи». Униженный, почти уничтоженный ответом матери, он и теперь повторил: «Ти хи хи».

Она резко отвернулась от него. Придя в ужас от ситуации и, несомненно, страстно желая вернуться к своей любимой Мадлен, она выместила огорчение на мне.

— Эдмон, ты чего уставился? Делай уроки!

— Я закончил, maman.

— Делай другие. Ведь задают всегда больше. Выучи свои латинские склонения, свои греческие глаголы. Или ты хочешь вырасти таким, как он? — Она указала большим пальцем за спину, где стоял ее злополучный муж.

— Но сегодня воскресенье, maman.

— Твой выходной, да? — спросила она саркастически. Но тут же спохватилась и повернулась к отцу. — Эдмон должен стать христианином.

Мое обращение в христианство — временное, конечно, — все чаще обсуждалось родителями. Они верили, что в самом худшем случае нацисты не тронут мальчика-христианина, поскольку не узнают о его еврейском происхождении, а

если повезет, пощадят и еврейских родителей этого мальчика, даже если выплывет наружу его истинная национальность. Не могу сказать, понимали ли в то время мои родители, какую судьбу уготовили всем нам нацисты, во всяком случае, вопрос с моей красавицей-мамой они решили-таки «окончательно». Родителям было, конечно, известно, что немцы установили во Франции, как и повсюду в Европе, новый режим террора и что им готовы содействовать многие французы, служившие прежнему режиму.

— Повторяю, Конрад, мы должны его окрестить.

— Да, да, конечно должны.

— Я имею в виду — сейчас. Нельзя тянуть с этим. Мы должны поговорить с мадам Гупий. — Мадам Гупий была наша квартирная хозяйка, моя так называемая тетя Луиза. — Она поговорит со священником и поможет устроить с ним встречу.

Мы жили на окраине Орлеана, в жалком районе, населенном рабочим людом, в районе хронической безработицы: серые скользкие булыжные мостовые были разукрашены битым стеклом, ржавыми жестянками и всяческими другими отбросами — спутниками бедности. Жили здесь доведенные до отчаяния люди: на-

пиваясь, они устраивали пьяные драки, чтобы защитить свою честь, а теряя ее, избивали своих жен и сожительниц. Так что мадам Гупий была здесь белой вороной. Вдова железнодорожного служащего, который умер pour la patrie[46] в 1917 году, она жила на маленькую пенсию и доход от сдачи внаем большей из двух спален своего опрятного домика. Она была бедна, чистоплотна от природы и набожна и почитала своей священной обязанностью угощать чаем и бисквитами непрерывно сменявших друг друга приходских священников из давно запущенной, вечно сырой и холодной церкви, в пяти минутах ходьбы от ее дома.

— Но Эдмону почти четырнадцать, — сказал мой отец, — а у него еще не было бар-мицвы.

— Ну и что? Мы говорим о выживании, а не о жизни, какой она должна быть.

— Ладно, но все-таки бар-мицва должна предшествовать крещению, разве нет?

— Ты считаешь, что прежде, чем они опрыскают его святой водой, он должен прочесть свою часть из Торы в синагоге?

— Верно, так и надо сделать. Именно так.

---

[46] Примечания: 46
За отечество (фр.).

— Здесь, в Орлеане, где мы даже не зарегистрированы, где мы объявлены вне закона?

— Ну, ради такого праздника нашего сына мы могли бы вернуться в Париж.

— Ты совсем спятил?

Отец вдавил заросший щетиной подбородок в грудь и поднял на мать налитые кровью глаза.

— Ти хи хи, — сказал он.

ТО, ЧТО НА ДНЯХ У.К. СЛУЧАЙНО ВЗЯЛ первое издание Кольриджа с моего стола, напомнило мне о моем враге Тумбли и его последнем письме. Я должен кое-что рассказать о нем, и не откладывая. Не пройдет и двух месяцев, как он нагрянет в Бил-Холл, — ежегодно он приезжает на шесть недель поработать в нашей библиотеке. Он думает, что на сей раз у него есть улики, изобличающие меня. Боюсь, он прав. Моя последняя поездка в Париж оказалась безуспешной. Аристид Попеску, по словам его жалкого сына, был в Будапеште. Нет, он не знает, когда вернется отец. *Был* ли Аристид в Будапеште? Сомневаюсь. Думаю, он избегает меня.

Как я уже говорил, мы с Тумбли впервые встретились в Париже, куда оба приехали изучать английскую литературу: Тумбли — из прихода в рабочем районе Филадельфии, я — из Южного

Кенсингтона, где моими прихожанами были преимущественно сотрудники французского дипломатического корпуса и члены их семей. Почему нас прислали из таких разных мест — это вопрос, на который может ответить только Церковь в своей неизъяснимой мудрости. Возможно, какой-нибудь скромный клерк духовного ведомства «рассек боевые порядки», если использовать выражение из военного обихода для обозначения приключившейся неразберихи, выражение, которое имеет также и очаровательный церковный аромат[47], видимо, въевшийся в этого клерка и состоящий из некомпетентности, или скуки, или озлобленности, или из всего этого, вместе взятого. Мы, конечно, жаждали вырваться из наших замшелых приходов и окунуться в освященную вековыми традициями академическую жизнь с ее пенковыми трубками, остроумными застольями и разнообразными мужскими развлечениями. Может быть, он, мой воображаемый клерк, просто завидовал нам.

Мы образовали свой тесный кружок, поскольку не могли — наше духовное призвание не позволяло — беспечно объединяться с «миря-

[47] Примечания: 47
Orders — и боевые порядки, и духовные саны (англ.).

нами» в их гетеросексуальных радостях. Что до интеллектуалов среди них, то все они были коммунистами и откровенно издевались над нами. Обычно мы встречались в студенческом кабачке «La Grenouille Farsie»[48], как кучка воронов, за кружкой пива или стаканом дешевого вина. Кастиньяк, мой давний товарищ по духовной семинарии, слушавший курс политической философии, тоже входил в наш круг, как и Бастьен — с ним мы впервые встретились в сиротском приюте в Орлеане, куда, после совещания тети Луизы с ее священником, отправил меня отец, прежде чем безвозвратно кануть в Сен-Понсе. (Впрочем, Бастьен не учился — он работал в бесплатной столовой для бедных, устроенной под навесом на узкой грязной улочке, поблизости от нашего кабачка.) Мы с Тумбли составляли ядро компании, остальные появлялись время от времени, только чтобы не пропадать из нашего поля зрения.

Мы из кожи вон лезли, соревнуясь в остроумии с «мирскими» столами, бравируя антиклерикализмом. Особенно отличался Кастиньяк, его шутки *для своих*, — у него был неистощимый за-

[48] Примечания: 48
«Фаршированная лягушка» (фр.).

пас, — вызывали взрывы хохота, разносившегося по всему залу. (Только священнику позволительно издеваться над Церковью!) Единственным, кто в ответ мог выжать разве что вымученную улыбку, был Тумбли — и вовсе не потому, что плохо знал язык (несмотря на акцент, он уже тогда владел французским свободно). Нет, ему тоже хотелось соответствовать и компании, и разговорам, добавляющим житейского опыта, но, кажется, вместо того чтобы веселиться, он собирал компромат.

В одну из наших сходок в «Лягушке» он стал моим врагом, хоть я и по сей день не понимаю почему. Мы с Бастьеном забавляли компанию рассказами о наших мытарствах в сиротском приюте и о жестокости монахинь. Именно о жестокости, если не сказать — о садизме. Монахини, фанатичные старухи, ненавидели беззащитных детей из-за бесплодной пустоты собственных ущербных жизней. Они немилосердно нас лупили и унижали перед товарищами, не давали пить, чтобы мы не мочились в кровати, одевали как нищих, — в назидание, чтобы мы помнили о страданиях нашего Спасителя. Мы рассказывали об этом, не жалуясь и не приукрашивая, но перебивали друг друга, будто были отставными

солдатами Иностранного легиона, которые веселятся, вспоминая муштру под началом особо свирепого сержанта.

— Они обычно приходили в дортуар ночью, — рассказывал Бастьен. — И, если твои руки во сне не были сложены на груди, сразу начинали бить по пальцам. Сестра Анжелика — у нее был мерзкий зоб, и она ходила вечно потупив глаза, — использовала метровую бамбуковую указку и била не останавливаясь, пока на руках не выступала кровь.

Тумбли, худой и бледный, с намеком на природную тонзуру, поджал губы и на мгновение оскалился, показав свои безупречные американские зубы.

— По крайней мере, — сказал он, — это научило вас держать руки подальше от ваших гениталий.

— Может и так, — согласился я. — Но не научило отца Дамиана держать его руки подальше от наших гениталий.

Вот и все, что я сказал, и это вызвало общий сочувственный смех. Но на лице Тумбли появилось выражение смертельной ненависти. Он вскочил — его рот был сжат, на висках вздулись вены — и, не сказав ни слова, резко повернулся и выбежал на улицу.

Ну объясните теперь, чем я заслужил его вечную злобу?

Часть вторая

Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становится похожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это — предсмертные муки?[49]

Монтень.
«Опыты», 1580-1588

Христианство оказало большую услугу любви, объявив ее грехом[50].

Анатоль Франс. «Сад Эпикура» 1894

ЛЕДИ ВИОЛЕТТА ДЕВЛИН, моя дорогая Кики, происходила из йоркширских «заправил»: ее дед владел угольными шахтами, фабриками и многим другим, а отец был филантропом — основывал больницы, был попечителем музеев, восстанавливал церкви и все такое прочее, за что товарищи по парламентской партии помогли ему сделать первый шаг к пэрству, а Папа дал ор-

---

[49] Примечания: 49
Перевод А. Бобовича.

[50] Примечания: 50
Перевод Д. Горбова.

ден. Мать Кики, леди Диана, тоже была из богатой семьи и принадлежала к аристократическому роду. Она, собственно, приходилась сестрой бедняге сэру Фердинандо Билу — тому самому, который повесился, если помните, на Стюартовом дубе и сим опрометчивым поступком запустил цепь событий, завершившуюся моим появлением в Бил-Холле.

Мы с Кики влюбились друг в друга с первого взгляда: страсть закипела в наших сердцах, острое желание охватило наши пока еще невинные чресла, адреналин выплеснулся в кровь, гормоны взыграли, как бывает только в юности. Вряд ли это восхитительное безумие заметили окружающие — я имею в виду посетителей Лувра, — ибо наша встреча в тот судьбоносный день произошла именно в Лувре. Я застал ее у поверженного Адониса — скульптуры Гюстава Турнье, — она наклонилась, пытаясь рассмотреть, не спрятано ли что под его туникой.

— Там ничего нет, мадемуазель, — сказал я.

Она обернулась с надменным видом, близоруко вгляделась и тут же улыбнулась. В одно мгновенье — и навсегда — мы поняли свою судьбу.

— Давайте-ка посмотрим. — Она озорно подмигнула и сунула руку под тунику. На другом конце

зала кашлянул смотритель, указав пальцем на табличку на стене: «Ne toucher pas les œuvres»[51].

— Вы правы, — сказала Кики. — Ничего, совсем ничего. Несчастный, должно быть, его объел дикий кабан.

Она была в Лувре со своим классом и сестрой Мари-Жозефиной, монахиней, которой вверили заботу об их культурном развитии. Благочестивая сестра почитала за искусство только изображения людей, безмолвно благоговеющих перед Иисусом, самого Спасителя в разные моменты его земного пути (главным образом сюжеты о Рождестве и Распятии), а также святых и мучеников за веру, особенно тех, кто претерпел пытки, и Римских Пап. Скучища, — и это еще слабо сказано. Кики ушла, сославшись на зов природы. Но сейчас ее класс уже собрался на улице в ожидании монастырского автобуса, и ей надо поскорей присоединиться к остальным, или она попадет в серьезный переплет. Она должна бежать.

Я же собирался провести послеполуденное время в размышлениях в каком-нибудь укромном уголке семинарского парка, который украшали несколько дешевых безвкусных изваяний свя-

---

[51] Примечания: 51
Не трогать произведения искусства (фр.).

тых: святость, а может, муки голода искажали страданием их каменные лица, они выглядывали из кустов, подобно сатиру, или дриаде, или, если на то пошло, садовому гному. Несколько франков привратнику, подмигивание, палец к губам — и вот я уже на пути в Париж. И случилось так, что я встретил Кики, и оттого я здесь, в Бил-Холле, где провел все эти последние годы. Но что, если бы тогда, после полудня, я остался в семинарском парке? Что, если бы Кики не убежала от своего класса и сестры Жозефины? Что, если бы я приехал в Париж, но не пошел в Лувр? Что, если бы мы не встретились в этом громадном здании? Как я уже говорил, случай, непредвиденное стечение обстоятельств — вот что правит нашей судьбой. Кстати, мне тоже следовало поторопиться, если я хотел успеть на поезд и вернуться в семинарию, пока там не заметили моей самовольной отлучки.

Кики торопливо вырвала листок из тетрадки.

— Будем писать друг другу, — сказала она. — Мы должны встретиться. Здесь. Дай мне свой адрес, а я напишу мой. Лучше всего прикинься моим братом — наверняка они будут вскрывать наши письма, так что будь осторожен, мой дорогой.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ГОДА мы встречались, когда

только могли, и монахини простодушно помогали нашему счастью. Кики считалась довольно своенравным существом, но ей потакали из-за больших денег семьи. Теперь она получила специальное разрешение — его давали в исключительных случаях — отлучаться из класса и пропускать богослужения. Ее сестринская преданность брату — будущему священнику — могла только способствовать ее перевоспитанию. Однажды в полдень, после пикника в стогах сена, когда мы с Кики впали в то восхитительно-блаженное бессилие, которое неизменно наступает после любовных подвигов, я вернулся с моей возлюбленной к ее монастырю. Лето шло к концу, и все во мне противилось разлуке, но мы не властны изменить свою судьбу.

У Porte-de-Pudicité[52] мне сказали, что меня желает видеть мать настоятельница. Я решил, что игра окончена, и, трепеща от страха, вступил в ее благочестивую приемную. Оказалось, она всего лишь хотела предложить мне чаю и рассказать, как благотворно влияет на мою младшую сестру наше общение. С моим появлением поведение леди Виолетты намного улучшилось:

---

[52] Примечания: 52
Врата целомудрия, вход в монастырь (фр.).

ее — смею ли сказать? — *капризность* осталась в прошлом, врожденное Смирение одолело Гордыню в борении души, психомахии, как говорил Пруденций[53].

Глаза румяной и пухлой матери настоятельницы блестели искренним счастьем, она налила мне чаю.

— Один кусок или два?

— Без сахара, благодарю вас.

Тогда я еще не был сластеной, нужно было дождаться Мод — она насмехалась над французами, которые не имеют понятия о том, что такое настоящий чай, и сделала меня сладкоежкой.

— Ах да, конечно! — Мать настоятельница кивнула в знак того, что понимает. Чаевничанье без сахара было, по ее понятиям, таким же проявлением благочестия, как ношение власяницы. — В вашем присутствии я тоже воздержусь.

— Je vous en prie, Mère[54], не отказывайте себе в удовольствии из-за меня.

— Плюх! — Она кокетливо подмигнула мне и

---

[53] Примечания: 53

Пруденций Аврелий Климент (348-после 405 гг.) — ранний христианский поэт, автор аллегорической поэмы «Психомахия» («Борения души»).

[54] Примечания: 54

Прошу вас, матушка (фр.).

серебряными щипчиками бросила три куска в свою чашку. — Ваш французский почти безупречен для англичанина, — сказала она, — разве что легкий акцент.

— Вы мне льстите. Боюсь, он ужасен.

— Леди Виолетта теперь приходит в часовню и молится страстно. Она жаждет укрепиться в вере и, стоя на коленях, не отрывает глаза, полные слез, от образа нашего истекающего кровью Господа. Мы все это заметили. Кто теперь усомнится в успехе вашего духовного наставничества?

Я с подобающим смирением склонил голову.

Как смеялась на следующей неделе Кики, когда я рассказывал ей об этом в залитом солнцем номере привокзальной гостиницы Мон-ла-Жоли! Она приняла меня в жаждавшее любви лоно и, глядя мне в глаза, была готова и расплакаться, и рассмеяться. Почти полгода мы встречались по вечерам, проводили вместе выходные, а однажды, во время великопостных каникул, когда ее семья уехала в Индию, мы не расставались целых семнадцать изумительных дней. Мы занимались любовью в поле, в лесу, у журчащих ручьев, в загородных гостиницах и отелях провинциальных городков, под крышей и на открытом воздухе — в зависимости от погоды и сезона, — при любых

обстоятельствах, когда только могли или хотели, в Озе и Эре, в Сен-сюр-Марн и на Сомме. Мы исследовали наши тела, познавали друг друга на вкус и на запах. Мы испробовали все позиции, которые только могли вообразить, и должен признать, что Кики была гораздо изобретательнее меня. Я высасывал из нее шоколадный трюфель, тающий в шампанском, она слизывала с меня горы взбитых сливок с малиновым сиропом.

Конечно, наше счастье не могло длиться вечно. Если вам нужны подробности, то Кики вернулась в Англию, а я был посвящен в духовный сан и назначен в приход в Южном Кенсингтоне, о котором я уже говорил. Там я изнывал от тоски. В Англии, по иронии судьбы, встречаться нам было сложнее, чем во Франции. Будьте уверены, во время редких свиданий мы, конечно, занимались любовью, но страсть угасла — по крайней мере в ней, может, даже не угасла, а была отложена «на потом». Англия обрела над ней власть, богатство раскрыло ей свои объятья. Потом Кики уехала в Америку.

Наша любовь никогда не умирала, она была, как говорил Джон Донн, «как свет золотой, пробившийся сквозь разреженный воздух». В Америке у Кики появились другие интересы.

Мы переписывались. Она устроила меня сюда, в Бил-Холл. Мы с ней, хоть мир этого так и не узнал, были когда-то как Элоиза и Абеляр, — разве что я вышел из этой истории целым и невредимым.

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С АРИСТИДОМ ПОПЕСКУ, когда мы учились в Париже. Как и мы с Тумбли, Попеску изучал английскую литературу, но, в отличие от нас, не был священником. Он уже тогда торговал букинистическими книгами и держал на одной из набережных собственный развал, открытый, правда, лишь в ясную погоду. В молодости Попеску специализировался на эротике викторианской эпохи, ухитряясь выгодно сбывать ее постоянно увеличивающейся после войны клиентуре из заезжих англичан. Аристид печатал свои каталоги, в спешке, на старом разбитом «Ундервуде», из которого они выходили грязными и неряшливыми, и рассылал эти каталоги по почте — не только библиотекарям всех мужских клубов на Пэл-Мэл и улице Св. Иакова, но и каждому десятому священнику из справочника англиканской Церкви. «Розовые задницы и бамбуковые члены, — это литература для благородных англичан», — говаривал Аристид, изумленно качая головой.

В те дни Попеску иногда присоединялся к на-

шему «вороньему» братству в «Лягушке». Он был жизнерадостным плутом и ловкачом, но выглядел болезненно: длинное и костлявое, без всяких признаков растительности лицо, бледное до восковой прозрачности, вечно красные глаза навыкате и привычка постоянно покашливать, прочищая горло. Аристид появлялся всегда неожиданно, со своей любовницей на буксире, Иветтой, девушкой мягкой, доброй и бедной, — по-моему, у нее было всего одно платье.

— Она здоровая, — говорил он, бывало, похлопывая ее по животу. — На таком богатстве мужчина может резвиться всю ночь. Почему бы вам не попробовать?

Он прочищал горло и подмигивал.

— Quel salaud![55] — говорила она с нежным смехом, поднося руку к горлу. — Эти парни — священники, alors![56]

Тумбли поджимал губы от отвращения. Кастиньяк задумчиво рассматривал Иветту.

Со временем Аристид преуспел. Он стал торговцем антиквариатом, владельцем недвижимости в предместье Фобур-Сент-Оноре, обзавелся худой

---

[55] Примечания: 55
Вот негодяй! (фр.)

[56] Примечания: 56
Как можно! (фр.)

высокомерной женой с безупречной родословной; у нее было много платьев, и она подарила ему наследника — сына Габриэля. Теперь Аристид отдыхал на курортах Швейцарии и Штатов: зиму он проводил в Гстааде и Санта-Монике, лето — в Сетоуне и Эмегенсете. Но, как я уже говорил, тогда в Париже его не оказалось. По словам Габриэля, его отец уехал в Будапешт. Возможно, так оно и было. Будапешт, ради всего святого! Как романтично! Если молодой Аристид казался ловкачом, то Габриэль, сидевший за отцовским столом на Фобур-Сент-Оноре, выглядел виноватым и имел вороватый вид.

Аристид, сам того не желая, — надеюсь, что не желая, — «сдал» меня Тумбли. И на пару они загнали меня в угол.

Торговый дом Попеску по-прежнему выпускал каталоги на листах обычной писчей бумаги, обрезанных ножницами и сшитых скобками, — то был намек на скромное происхождение фирмы, а также на неистребимую честность ее владельца. Специально подобранный шрифт имитировал продукцию настоящего «Ундервуда», много потрудившегося на своем веку и совершенно разбитого. Расчет был на то, чтобы мир забыл об образе жизни семьи Попеску, живущей на

широкую ногу, о дорогой недвижимости фирмы «Аристид Попеску и сын» на самой известной торговой улице Парижа и с ностальгической грустью вспоминал те времена, когда мой старый знакомец заворачивал книги в грубую оберточную бумагу, передавая свой товар редким, стыдливым англичанам.

Тумбли случайно встретил Попеску в Нью-Йорке на Международной книжной ярмарке. Им никогда не было дела друг до друга, но сладкие воспоминания о прошлом оказались сильны, и Аристид пригласил его на ужин — в «Мою штучку», что на Мэдисон-авеню, рядом с 63-й улицей. Легче попасть в Овальный кабинет Белого дома, чем получить там столик. Тумбли признался, что эта трапеза поразила его. Аристид все так же прочищал горло. Пока они дегустировали «Померол» божественного вкуса, Тумбли рассказал, что работает над биографией Шекспира. Между topinambour aux crevettes rouges émincées и potage à la tortue Valencienne[57] Аристид вынул из нагрудного кармана свой так называемый «конфиденциальный» каталог, предназначенный для неболтливых, состоятельных и азартных людей.

---

[57] Примечания: 57

Земляная груша с красными креветками и черепаший суп Валансьен (фр.).

Ксерокопию листа, вырванного из этого каталога, Тумбли и прислал мне, вложив в конверт с последним письмом и выделив красным маркером следующее:

> Ш[експиръ?], У[ильямъ?]. Любовные и другие сонеты/ Написаны У.Ш. / В ЛОНДОНЕ / Напечатано Д. Файнсом для Э.Э. / продается Ум. Эски. /1600.
>
> Формат — 1/16 листа; следы влажных пятен на нижнем поле страниц не мешают чтению; предпоследняя страница внизу слева отреставрирована; дефект на внешнем поле последней страницы удален. Девятнадцатого века черный сафьян, потертый. На титульном листе штамп: «Библиотека Бил-Холла».

Тем же красным маркером было подчеркнуто «Библиотека Бил-Холла», а на полях стояли два красных восклицательных знака и три вопросительных.

ИТАК, ТЕПЕРЬ ВЫ НАВЕРНЯКА РЕШИЛИ, что во всем разобрались, и почти не сомневаетесь в моем преступлении. Допустим, вы правы. И как мне следует поступить? Я точно знаю, какой совет я

как священник должен был бы дать в подобных обстоятельствах своему прихожанину: «Удовлетвори обоих — Бога и кесаря. Иди в полицию, сдайся на милость суда. Если власть так решит, томись в тюрьме. Иди в церковь, исповедуйся, покайся, измени свою жизнь к лучшему — и будь уверен, что Небеса милостивее суда земного».

В Америке — если то, что нам рассказывают, правда — многие преступники, даже самые жестокие, нашли путь к Богу, сидя в федеральных тюрьмах. Они отмылись в Крови Агнца и пишут книги в благочестивом стремлении предостеречь беспечных. «Я жил в роскоши и полном свинстве, почти забыв о Царствии Небесном». Сам Шекспир вставил нечто подобное в один из своих сонетов: «Расти, душа, и насыщайся вволю… Живи богаче, внешне победней»[58]. Правда и то, что большинство уверовавших прибились к протестантизму. И что из того? Видите ли, католики — как знают протестанты во фрейдистских уголках своего «я» — истинные христиане, echt[59] христиане (если, конечно, не считать евреев первых веков новой эры). Вот почему протестанты всегда уби-

[58] Примечания: 58
Сонет 146. Перевод С. Маршака.

[59] Примечания: 59
Подлинные (нем.).

вали католиков с выдающей их нервозностью. Католики же убивают протестантов, уверенные в своем Боге.

В остальном я не вижу разницы — по счастливой случайности, я не дурак.

Христианская Церковь, пытаясь встроиться в наше время, породила некое течение, все более поднимающее голос, — его можно было бы назвать «пропорционализмом». Его сторонники придерживаются мнения, что на этом свете существует всего несколько абсолютно беззаконных или аморальных деяний, да и то многое зависит от обстоятельств. Сам я не пропорционалист, кроме того, можно ведь совершить правонарушение, находящееся вне юрисдикции Папы, раввина или муллы. Однако я тоже *верю*, что многое зависит от обстоятельств.

Теперь вернемся к редкому изданию — скоро объясню, *насколько* редкому. Может показаться, что я поступил бесчестно. Но если у меня нет уважительной причины, оправдывающей этот поступок, то есть объяснение, которое я и намерен вам изложить.

«Жила-была прекрасная девушка из Донего-

ла[60] по имени Мод Мориарти. У нее были такие роскошные густые рыжие волосы, что если она не убирала их шпильками и яркими лентами, они восхитительно рассыпались по плечам и спине до самой талии. У нее были зеленые, в крапинку, глаза, как у чирка, большие и дерзкие. Линии ее тела могли бы вдохновить Праксителя…»

Нет, лучше начну сначала и попроще. Мод и я прибыли в Бил-Холл в один и тот же день, она утром, я после полудня. Обычные для позднего английского лета дожди уступили место дождям, обычным для английской ранней осени. Бастьен, мой осел, должен был приехать на следующий день с нашим багажом — ящиком с религиозной атрибутикой и двумя дорожными сундуками с порнографическими книгами и гравюрами, навязанными мне моим другом Аристидом, — хочу сразу довести до вашего сведения, что он вовсе не считал меня похотливым, просто хотел обеспечить мое финансовое благополучие.

Церковь, распознав природную бесхитростную доброту Бастьена, его потенциальную святость, поручала ему такие работы на земле, которые гарантировали бы ему награду на Небесах. Он

---

[60] Примечания: 60
Донегол — графство в Ирландии.

работал среди несчастных, обездоленных, втоптанных в грязь, жалких людей, чью печальную участь призван был смягчать. Однажды, когда Бастьен пытался отдать последний земной долг бандиту, застреленному конкурентами среди мусорных ящиков в грязном и узком мощенном булыжником переулке, его избили, превратив в фиолетовое желе враги покойного: преступники — все, до последнего — верили в силу исповеди последней минуты, вот и хотели лишить Бастьена хоть какой-то надежды на спасение души. Бастьен так и не оправился после случившегося несчастья: раны, правда, со временем зажили, но он стал каким-то странным. Тем не менее Церковь, мудрая и сострадательная, вернула Бастьена к его обязанностям в бесплатной столовой.

Вы, конечно, помните, что в тяжкие военные годы мы с Бастьеном вместе были в приюте, страдали от злобы и жестокости монахинь, оба слушали, как хрипит и тяжело дышит отец Дамиан, не имея возможности защититься от его настойчивых блудливых пальцев. Я заявил, что не приму назначения, если Бастьен не займет при мне место эконома. Попечители охотно пошли мне навстречу, Церковь, желавшая поскорее

заполучить собственность, выразила согласие. Так я спас Бастьена от святости.

Мод приехала в поместье Бил из своего родного Баллимэга, что в Донеголе, рекомендованная на место домоправительницы одним из наших попечителей: у него было имение на другом берегу реки Фин, и он приходился ей дедом. Поддержал рекомендацию и отец Тимоти Терни, автор брошюры «Христос знает», ее приходский священник. Оба считали, что Мод — способная и подающая надежды девушка, так что знакомство с миром за пределами Баллимэга скажется на ней благотворно. В школе она получила много наград и была первой ученицей, удостоенной весьма престижного приза графства по латыни. Она могла бы пойти в университет, но этого не случилось из-за неких — как туманно намекнул отец Терни — неразрешимых семейных проблем. («Чепуха! — весело заявила мне однажды Мод. — Моему папочке не нравилось, что я стыжусь моих тупых братьев, да и его самого. Моя мамочка, как обычно, не перечила ему. Но к тому времени, когда мой папочка, напившись до чертиков в Джеймисане, свалился с Тироунского моста в реку и раскроил себе череп, приземлившись головой на некстати подвернувшийся валун, у меня пропало

желание учиться дальше. Есть надежда, — добавила она, — что он загремел в чистилище, а не в худшее место, но даже отец Терни не может утверждать это с уверенностью».) Девушке, вероятно не имевшей духовного призвания, но, к счастью, во всем остальном благочестивой, Бил-Холл, удаленный от разлагающего влияния города и пребывающий, так сказать, под сенью Церкви, мог предоставить, по словам отца Терни, «массу возможностей, чтобы проявить себя».

Не удивительно ли, что некоторых женщин так сильно тянет к мужчине-священнику, давшему обет безбрачия? Запретный плод? Или вызов? Мод с самого первого дня «проявляла себя» — на позднегеоргианском муаровом кресле в Музыкальной комнате, вскрикивая, ахая и охая.

После моего прибытия мы час или около того блуждали по дворцу, осматривая наш будущий дом. Мод следовало как можно быстрее собрать домашнюю утварь. Мистер и миссис Пафит, которые служили Билам с 1902 года (их взяли на службу почти детьми, его — коридорным, ее — третьей служанкой в помощь кухарке и горничной), хотели поскорее оказаться в своем коттедже в Компайне, что на полпути между Ситоном и Лайм-Реджисом. Они вручили Мод

ключи, показали ей кухню (самое для нее место, как они считали) и спешно укатили на древнем «триумфе». Я должен был на следующей неделе отправиться в Лондон на официальную встречу с попечителями, чтобы inter alia[61] получить примерную опись всего имущества. Мы с Мод бродили по дому, пытаясь делать вид, что обстановка, в которой мы сейчас оказались, вполне привычна для нас, но, добравшись до Музыкальной комнаты, перестали морочить себя и друг друга, переглянулись и расхохотались.

— Выпить, вот что нам сейчас требуется, отец, — предложила Мод.

— Загляни-ка вон в тот застекленный лакированный буфетик, он выглядит многообещающе.

Буфетик не обманул.

Мы выпили по первой за будущее счастье. Потом снова выпили. Потом еще.

Мод посмотрела на меня, выдернула ленту из волос и смерила меня вызывающим взглядом.

Я поднял бровь.

— Мне нехорошо, — объявила она. — Должно быть, от вина. — Мод опустилась в кресло, томным жестом приложив руку ко лбу.

---

[61] Примечания: 61
Ко всему прочему (лат.).

Я сразу понял, что передо мной разыгрывается сцена обольщения из романа восемнадцатого века. Что ж, я поспешил вступить в игру.

— Чем могу помочь, сударыня? — спросил я.

— Что? — удивилась она. — Что? — И, робко протянув руку, захватила в пригоршню выпуклость на моих брюках. — Что? — спросила она еще раз.

И я, говоря словами Священнейшего Писания, познал ее.

Той ночью мы впервые делили постель под балдахином, на четырех столбиках, и делим ее до сих пор.

— Мы согрешили, — сказала Мод. — Мы теперь будем вечно гореть в аду. — Она громко зарыдала.

— Вовсе нет. Тебе только надо исповедаться, и я готов выслушать твою исповедь.

— Нет, только не это! — воскликнула она. — Ты священник, ты давал обет Богу.

— Завтра приедет Бастьен. Он выслушает мою исповедь.

— Но ты же священник, — не сдавалась Мод, а ее рука в этот момент ласкала мою мошонку.

— Теперь это стало почти традицией. — Я легко коснулся ее сосков кончиком языка. — Именно

так, любовь моя, считал отец Сад де Бройль, католический священник, дядя маркиза де Сада, писателя и друга Вольтера. Отец де Бройль жил сразу с двумя женщинами — матерью и дочерью и при этом открыто посещал проституток.

— Ты тоже хочешь мою мать, низкий человек?

— Конечно нет. Только тебя. Другой пример: в тысяча четыреста пятьдесят шестом году монах-кармелит, священник монастыря в Прато — это в Италии, человек, о котором ты наверняка слышала, Фра Филиппо Липпи, сбежал с монахиней вдвое моложе его, прекрасной Лукрецией Бути, оба они страстно — вроде нас — желали вкусить запретных радостей. Они сбежали, обрати внимание, в тот момент, когда большинство жителей Прато были на церковной службе, празднуя торжество Пояса нашей Богоматери.

— О нет!

— О да! Слушай дальше: их скандальный союз принес плод — мальчика, которого они назвали Филиппино. Как сказал поэт Джон Донн, «увы, это больше, чем сделали бы мы». И как же поступила с ними Церковь? Никак. Она смотрела сквозь пальцы на греховность их союза, позволив им жить вместе и воспитывать сына. Может, помогло то, что Фра Филиппо Липпи в ту пору был уже

очень знаменитым, нет — великим живописцем. Церковь даже обеспечивала заказами отца и сына и щедро им платила.

— Хочешь сказать, священники творили такое и прежде? Трахались и делали детей, да?

— Вот именно. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы».

— Екклесиаст?

— Глава седьмая.

— Ну, тогда ладно. — Она пощекотала мою мошонку.

— «Сударыня, во всем я вам послушен»[62].

— Это Бард?

— Он самый.

— Я всегда обожала его.

Она заставила меня лечь на бок и широко раздвинуть ноги. Я пристально следил за ней, когда она горделиво поднималась надо мной, я испытывал благоговейный трепет перед ее взъерошенной красотой и восхитительным приступом ее опаляющей страсти.

В те наполненные чувственностью дни я часто мечтал уподобиться самцу божьей коровки из семейства Коккинелиди, который, если верить

---

[62] Примечания: 62
«Гамлет». Перевод М. Лозинского.

энтомологам, способен испытывать множество оргазмов — по три зараз, один за другим, и каждый длится не меньше полутора часов. Мод была Евой Мильтона, но после грехопадения, а я — если не Адамом, тогда Сатаной, — уже готовым ходить крадучись и с виноватым видом.

ОДНАКО Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬСЯ еще кое в чем. В пору «нашей весны» мы наслаждались тем, что один старый поэт так мило назвал «попустительством времени». Увы, оно принесло свои плоды. Прошло шесть недель исступленных восторгов, и Мод явилась к нашему ложу с покрасневшими глазами. С ней не все в порядке, сказала она, не пришли месячные, а ведь они всегда так регулярны, что по ее кровотечениям можно узнавать фазу луны облачной ночью.

Должен сознаться в некотором отвращении к физическим аспектам женского менструального цикла. Брезгливость угнездилась в моей еврейской и библейской душе, но, скорее всего, она возникла в тот момент, когда я увидел пятна крови сзади на юбке моей матери. Мы тогда жили в Орлеане; мне было тринадцать: возраст «юношеских прыщей» наступил, несмотря на патологический страх перед нацистами. В тот день к маме зашла мадам Гупий, и они пили

маленькими глоточками минеральную воду и церемонно грызли печенье, со вкусом беседуя о трудных временах. Я читал, сидя в углу, когда мать, провожая гостью, воззвала к моим хорошим манерам.

— Эдмон, мадам Гупий уходит.

— Не трогайте ребенка, мадам Мюзич.

— Он так увлечен «Золотой Легендой: Жизни Святых», мадам, — ловко ввернула моя мать, — но он должен быть учтив, особенно с вами.

— Вы правы, «Золотая Легенда» пойдет ему на пользу.

— Он читает по *вашему* совету, мадам.

Мадам Гупий шмыгнула носом, обнажив крупные зубы, как довольный кролик.

— Эдмон, скажи спасибо мадам Гупий! Ох уж эти мне дети, мадам, они грубы, как и время, которые мы переживаем.

Я встал и поклонился:

— Спасибо, мадам, au revoir[63], мадам.

На самом деле я уже в десятый раз читал Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», одну из немногих книг, которые мне позволили взять с собой из Парижа. Я ненавидел подобострастное

---

[63] Примечания: 63
До свиданья (фр.).

внимание моих родителей к мадам Гупий, хотя понимал, что наша безопасность зависит от ее осторожности и хорошего к нам отношения. Но осудить подобострастие родителей значило встать на сторону того мирового пресмыкательства, которое вынудило их так себя вести.

Так вот, когда моя мать встала проводить мадам Гупий до двери, я увидел сзади на ее юбке блестящее, ярко-красное пятно. Как я понял, что это такое, не могу сказать. Естественно, мне никто ничего не объяснял. Однако этот явный знак биологической esse[64] моей матери внушил мне отвращение, хотя я обожал ее и боготворю память о ней до сих пор. Я перевел взгляд на кресло, в котором она сидела, увидел на сиденье такое же пятно и сказал, что пойду прогуляюсь. Я просто хотел дать ей время обнаружить, что с ней случилось, и смыть кровь с себя, с юбки, с кресла. Когда я вернулся, к счастью, все было в порядке.

Как я, однако, отвлекся! Годы берут свое… Думаю, вам и дальше придется терпеть мою старческую забывчивость.

Знаете, Мод ведь воспитывалась в деревенской глуши Ирландии, так что никогда ни о чем таком

---

[64] Примечания: 64
Природа (лат.).

не говорила прямо. Надо сказать, что всю жизнь она была жеманной скромницей и соблюдала приличия. Со всеми, кроме меня. С тех пор как я, говоря ее словами, поимел ее, она употребляла при мне такие выражения, которые вряд ли решилась бы произнести при лучшей подруге. И вот теперь рыдания Мод из-за задержки вызвали из глубин памяти тошнотворный вид моей матери — этакое absence-présence[65].

Вообразите, какой в то добитловское время мог разразиться скандал! КАТОЛИЧЕСКИЙ СВЯЩЕННИК СОДЕРЖИТ УЮТНОЕ ГНЕЗДЫШКО ТАЙНОЙ ЛЮБВИ! Отец Мюзик, генеральный директор Бил-Холла, становится «отцом»! (Смотрите «Сотворение нового Мюзика вместе с Петром и Павлом», с.7, и редакционную статью «Предательство веры», с.13.) Клянусь, так бы все и случилось, ведь до прорыва плотины оставалось больше четверти века! Прошло время, и лишь тогда официальные браки бывших священников и монахинь стали привычным делом, а общество узнало об ужасающих издевательствах людей «духовного звания» над детьми и настолько привыкло к этому, что газеты начали печатать

---

[65] Примечания: 65
Отсутствие-присутствие (фр.).

такого рода сообщения на последней полосе, перед спортивной хроникой. Церковь запретила замалчивать преступления и проступки «своих», поняв, что есть тайны, которые скрыть невозможно, и лучше уж самим изгонять из стада «паршивую овцу». Католическое самоочищение, как же! Мирян загнали в ситуацию, когда им пришлось защищаться от духовенства, создав организацию НСС — «Наследники совращенных священниками». Ведь педофилы-священники придали совершенно новый смысл словам «Страдают маленькие дети, чтобы прийти ко Мне».

Может показаться, что я не уделял достаточно времени и заботы бедной Мод во всей этой истории. Что ж, так оно и есть, если быть честным. Тогда я думал только о себе. Мод меня не особенно волновала. Церкви придется замять мой грешок — в этом я не сомневался. Конечно, я получу хорошую взбучку от епископа. Но об этом тоже не стоит беспокоиться — исповедь, епитимья, исправление жизни, обычный вздор. Однако я могу потерять Бил-Холл. Они постараются перевести меня куда-нибудь к москитам — в Колумбию, или Гвиану, или другое столь же невыносимое место.

Grossesse[66] Мод была виной Мод. Да, да, я знаю, как звучат эти слова сегодня! Ужасно! Это ужасает и меня, особенно если принять во внимание годы, которые мы были вместе. Но именно так я думал тогда. И не вполне уверен, что она думала иначе. Я понимал, что оставляю все на ее усмотрение, и мне казалось, что это совсем неплохо, даже исполнено сострадания, если иметь в виду бесстрастное католическое сострадание. Как только беременность сделается заметной, Мод отошлют в Ирландию, и там она станет Магдалиной, опекаемой любовно осуждающими монахинями, пока не произведет на свет ребенка, которого у нее отберут для усыновления. Потом ей придется работать, как если бы она была рабой, в прачечной или где-нибудь еще, пока ее не соблаговолят отпустить — бездетную, но свободную.

С другой стороны, родиться должен был все-таки мой ребенок. Я с притворным гневом грозил пальцем моему нахалу, но в душе ликовал. Мой ребенок не поступит на тайную распродажу новорожденных, которую по непостижимым соображениям санкционировала Церковь. Мой ребенок будет вскормлен своей матерью и в

---

[66] Примечания: 66
Беременность (фр.).

достойной обстановке, обеспеченной его отцом — тайно, разумеется, — а ребенок, не вскормленный Церковью, вполне может гордиться тем, что его отец священник.

Однако как это сделать? Как бы вольготно я ни жил в Бил-Холле, у меня не было ни гроша за душой. Да, проблема…

Тем временем Мод решила, что мы больше не должны делить постель, не говоря уж о том, чтобы предаваться греху, который вверг нас в теперешние заботы.

— Но, Мод, — сказал я, испугавшись, что лишусь ее, — лошадь понесла. Поздно запирать ворота конюшни.

Моя апофегма вызвала болезненную реакцию. Как она взорвалась!

— Так вот как ты обо мне думаешь? Значит, я позволила тебе войти в ворота? Я не предложила твоему вниманию ничего, кроме отпертых ворот конюшни? Или, может, я вообще кобыла, годная только для размножения?

— Успокойся, дорогая Мод. Это всего лишь фигура речи. Может, я неудачно выразился. Или мой английский не так хорош, как я думал. — Я обнял ее, приласкал, сцеловывая слезы с глаз. — Ты ведь носишь под сердцем ребенка. Деля мою постель,

ты уже не можешь стать ни больше, ни меньше беременной.

— Мы не должны упорствовать во грехе, — сказала Мод и погладила свой плоский животик тонкой рукой. — Ecce signum[67].

— Смотри, — ответил я, указывая на выпуклость в моих брюках. — Вот знак.

Она засмеялась, но тут же отвернулась, презрительно фыркнув.

— Я не отпустил тебе грехи?

— Чего стоит *твое* отпущение? Ты сам грешник — не меньше моего, а может, и больше. Думаю, мне нужно обратиться к отцу Бастьену. — Мод насупилась.

— Все люди грешники, не только ты и я — таков человек, рожденный во грехе. Но, Мод, любовь моя, хоть я и грешник, но облеченный Силой и Славой. Мое отпущение — все равно что отпущение самого Папы. Что же касается плоти, то хочу напомнить тебе о Блаженном Августине, он молил Христа спасти его от сексуальной невоздержанности, — но, увы, тщетно.

— Насчет почесать языком — тут ты больше похож на ирландца, чем на француза.

---

[67] Примечания: 67
Это знак (лат.).

— Исповедуйся отцу Бастьену, если хочешь. Делай, как тебе лучше.

— Ладно, там будет видно.

Она пожала плечами и оставила меня, уйдя спать в восточное крыло.

Я счел разумным первым поговорить с Бастьеном. Кто знает, что может сказать ему Мод?

Я привык к странностям Бастьена, но тут он удивил меня. Прежде всего он одобрил ожидаемое прибытие в мир маленького Мюзика и сказал, что Мод только улучшит мою породу. Потом он перешел к моей проблеме — как обеспечить отпрыска средствами к существованию. Бастьен посоветовал для начала выяснить границы моих полномочий в Бил-Холле, потом связаться с Попеску — единственным нашим знакомым в деловом мире.

— Все-таки, Эдмон, — сказал Бастьен, — наша сфера духовная, далеко не практическая. — Он дружески похлопал меня по спине. — Между прочим, я снова обследовал погреб, и улов недурен. Я принес наверх пару бутылок «Пюлиньи-Монтраше» тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Стоит попробовать.

— Мод может прийти к тебе на исповедь.

— Пусть. Меня ей нечего бояться.

— Конечно, но я не это имел в виду. Я просто не хотел, чтобы ты был шокирован.

— Эдмон!

— Ладно, ладно, ьщт мшугч[68], ты понимаешь, что я имею в виду.

— Я понимаю.

ПОПЕСКУ ПРИКАТИЛ ИЗ ХИТРОУ на взятой напрокат модной спортивной машине цвета желтка, которая с визгом подъехала к стоянке перед Большой дверью. Он оставался сидеть в машине, требовательно гудя, пока с разных сторон не появились Мод, Бастьен, два садовника (один с вилами), приходящая служанка и я, выражая разные чувства — тревогу, любопытство, раздражение, замешательство. И тогда Аристид выскочил из машины, бурно радуясь.

— Наконец я здесь! — Он прижал руку к сердцу. — Ах, настоящее безумие — ехать в эту глушь, просто самоубийство! Это чудо, что я еще жив. Ты должен отслужить благодарственный молебен. — Он обнял Бастьена и меня. — Друзья, милые мои друзья! — Перед Мод он щелкнул каблуками и, иронически улыбаясь, отвесил неожиданно резкий поклон на немецкий манер,

---

[68] Примечания: 68
Дружище (фр.).

разглядывая ее глазами навыкате из-под низкого лба. — Визит кинозвезды, наверное? Или просто dea loci?[69]

Мод хихикнула от удовольствия:

— Одна в двух лицах. Но на самом деле — dea loci.

Аристократически взмахнув рукой, Аристид отпустил садовников и служанку.

Он сильно изменился за те несколько лет, что мы не виделись. Его тело стало гладким, как у пантеры. Аристид говорил с величественными интонациями Шарля де Голля. Темный костюм элегантного покроя, рубашка ослепительно белая, шелковый галстук тщательно завязан. Он был аккуратно пострижен, и его можно было назвать ухоженным. Только глаза остались те же — выпуклые, плутоватые.

Он предложил Мод руку и повел ее в Холл.

— Как ваше имя, о дивное видение? Перед какой святыней мне благоговеть? — Он бросил через плечо взгляд на нас с Бастьеном. — Поторапливайтесь, у нас мало времени. А поговорить надо о многом.

Аристид охотно согласился осмотреть Бил-

---

[69] Примечания: 69
Богиня этих мест (лат.).

Холл, но быстро остыл.

— Ты роскошно причалил, — сказал он мне. — Ай да молодец! — И попросил провести его в библиотеку. — Вот о ценности книг я могу судить как специалист.

Я дал ему ключи и предоставил в одиночестве странствовать по открытым книжным полкам и шкафам. А сам сел в удобное кресло перед камином и в который уже раз углубился в байроновского «Дон-Жуана» издания 1819 года — самое первое издание, выпущенное Томасом Дэвисоном. Я обнаружил его здесь, в Бил-Холле, в тот восхитительный год. Я словно наяву слышал свист Дон-Жуана, его «Черт возьми!», «Не верю!» или «Великолепно!». Шло время. Мод принесла чай, лепешки и рулет с джемом, но Аристид не прерывал работу. Заглянул Бастьен, посмотрел на груду книг на длинном библиотечном столе, взглянул на Аристида — без пиджака, рукава рубашки закатаны, волосы взъерошены, лицо в пыли, — покачал головой и ретировался. Стемнело, и я зажег свет.

— Мне придется остаться на ночь, — сказал Аристид. — Здесь слишком много интересного, гораздо больше, чем я мог себе представить.

Я поднялся и сказал:

— Пожалуйста. Мод приготовит тебе постель и поставит на стол что-нибудь вкусненькое.

— Только самое простое, — попросил он. — Англичане отвратительно готовят. Тарелку супа, немного хлеба и вина — сюда, в библиотеку, чтобы я мог продолжать.

На следующее утро я нашел Аристида в библиотеке: он спал без задних ног за библиотечным столом, уронив голову на руки, листки с заметками были разбросаны вокруг него по полу. Вино он выпил, до супа и хлеба не дотронулся. Я потряс его за плечо. Выглядел Аристид ужасно, его выпученные глаза, обведенные темными кругами, покраснели, но, что любопытно, — я узнал в нем прежнего Аристида Попеску.

— Кофе, ради всего святого! — хрипло простонал он. — Но первым делом — отлить, а то мой мочевой пузырь сейчас лопнет.

Когда через несколько минут Аристид снова появился в библиотеке, он был почти так же элегантен, как накануне. Он умылся, побрился и вообще привел себя в порядок. Еще раз поздоровавшись со мной и поприветствовав Бастьена, он сел, налил себе кофе и сделал жадный глоток.

— Эй! Что это? Чай? — Он разломил булочку и намазал маслом. — Ну, Бастьен, — сказал он,

взглянув на свои часы, — ca va, mon gars?[70] — Он повернулся ко мне: — Ты ведь предпочитаешь конфиденциальный разговор, hein?[71]

— У меня нет секретов от Бастьена. Он самый старый мой друг. Кстати, именно Бастьен посоветовал обратиться к тебе за помощью.

Помните, я упоминал о дремавших в Бастьене странностях? Ну вот, в этот момент и проявилась одна из них — он сотворил крестное знамение над кофейной чашкой.

— Замечательно, значит, мы в тесном дружеском кругу, — подольстился Аристид. — Ладно, насколько я понял, Эдмон, ты желаешь создать фонд, чтобы обеспечить твоего ребенка и его мать?

— Совершенно верно.

— И в данный момент денег у тебя нет, я прав?

— Я расходую экономно, пытаясь отложить хоть несколько фунтов. Но на фонд явно не хватит.

— Но в Бил-Холле у тебя есть право приобретать и продавать, по крайней мере что касается библиотеки?

— Да, верно. По совету Бастьена я разобрался

---

[70] Примечания: 70
Все хорошо, парень? (фр.)

[71] Примечания: 71
Не так ли? (фр.)

в юридических тонкостях. Однако попечителям вряд ли понравится идея продажи книг, разве что дубликатов, и то вырученные средства должны быть пущены на покупку новых книг.

— Но право ты имеешь?

— Да.

Аристид закрыл глаза и вздохнул.

— Прежде всего тебе надо продать Бил-Холлу те книги и гравюры, которые ты получил от меня в Париже и привез с собой. Я оценю их в сумму, большую для тебя, но не чрезмерную. Эти деньги ты положишь на счет в Швейцарии в пользу твоего бенефициария[72], проценты или их часть пойдут на оплату страхования жизни — опять же в пользу твоего бенефициария. — Аристид налил себе еще чашку кофе. — Это только начало. Библиотека Бил-Холла — удивительное, превосходнейшее собрание, насколько я могу судить. В ней много раритетов, в том числе издание Кастэна «Morte d'Artur»[73] и первое, десятитомное, издание «Потерянного рая». Кроме того, масса неразобранных бумаг в коробках — они могут оказаться кладом. Каталогизация примитив-

---

[72] Примечания: 72

Бенефициарий — лицо, пользующееся благотворительностью.

[73] Примечания: 73

«Смерть Артура» (фр.), поэма А. Теннисона.

ная, неполная и в беспорядке. Но самое главное, друзья мои, я обнаружил две книги, неизвестные библиографам: средневековую Псалтырь и, возможно, книгу Шекспира, которая, помнится, внесена в «Книготорговый реестр», но под несколько иным названием. — Аристид отломил кусок булочки и намазал маслом. — Мне, конечно, понадобится все тщательно изучить, но я готов прямо сейчас купить любую из этих двух книг или даже обе.

— Расскажи мне о Псалтыри.

— Хорошо, — согласился Аристид и сверился со своими записями, — она была сделана для Бодо де л'Иль Амуреза, великого приора ордена королевских госпитальеров из Сантьяго. Бодо руководил обороной Акра в тысяча двести девяносто первом году и умер на Кипре. Псалтырь — работа мастера из Вильефранша, придворного парижского художника. Бодо брал ее с собой в Святую Землю. Взгляни на нее, mon cher[74], когда будет минутка. Это лучшая работа мастера — все страницы украшены рисунками, играют золотом и красками. Настоящее чудо.

— А другая?

---

[74] Примечания: 74
Мой дорогой (фр.).

— О ней тоже ничего не известно. Это может быть издание Шекспира, до сих пор не инвентаризованное. В любом случае я дам настоящую цену. Конечно, тебе нужны деньги сейчас, но, честно говоря, цена книг будет взлетать с каждым годом, и я, так сказать, наживусь на тебе.

— Сколько?

Аристид назвал цену каждой из книг, и мы с Бастьеном разинули рты от изумления.

— Но деньги отойдут Бил-Холлу. Чем это поможет мне?

Аристид посмотрел на меня как на идиота, даже Бастьен тихонько хихикнул в рукав и отвел глаза — Аристид с выражением брезгливого отвращения налил себе еще кофе и жестом отчаяния воздел кофейник над головой, прежде чем поставить его на стол.

— Конечно, ты дашь мне подлинную купчую, подписанную тобой, генеральным директором. Все легально. Я заплачу тебе наличными. Что случится с этими наличными — не мое дело. Может, вся сумма или только часть окажется в Швейцарии, на счете некоего бенефициария.

Бастьен кивнул, дернув головой.

— Продай ему Шекспира, не Псалтырь, — сказал он мне. — Мы как-никак Католический

институт.

— Вдохновляюще благочестивый выбор, — подмигнул мне Аристид.

— Благочестие тут ни при чем, — отрезал Бастьен. — Этой библиотекой много лет пользовались церковные ученые. На Псалтырь Бодо могли скорее обратить внимание, чем на Шекспира, даже если не поняли ее ценности.

Практическая сметка Бастьена всегда неожиданно прорывается сквозь его эксцентричность. Тряся головой, он снова осенил крестом кофейную чашку.

— Но когда-нибудь, Аристид, ты пустишь книгу в продажу, — сказал я, — и тогда все пропало.

— Он не пустит книгу в продажу, пока ты жив. Тем временем ее цена только возрастет — кругленькая сумма на старость ему или его наследнику обеспечена.

— Я не могу заморозить такие деньги на столь долгий срок. Даже не знаю, где их найти.

— Ты найдешь их, найдешь. А чтобы легче было искать, Эдмон скостит тебе пятьдесят тысяч. — Дерг-дерг-дерг… Голова Бастьена тряслась в такт словам.

Аристид засмеялся.

— Идет, — кивнул он. — Если когда-нибудь

захочешь заняться книжной торговлей, Бастьен, приходи ко мне за консультацией.

Я внимательно следил за ними, вертя головой туда-сюда, как на теннисном матче.

Аристид потянулся через стол, чтобы пожать руку Бастьену, но тот отпрянул, возмущенный.

— Сначала ты должен пожать руку Эдмону, он генеральный директор, мой шеф!

— Ладно, — остановил я их, — повеселились. Теперь поговорим серьезно. Вы же не думаете, что я стану обычным уголовником.

— Не таким уж и обычным, — сказал Аристид, подмигнув Бастьену. — Что за преступление — взять из сверхобеспеченного заведения, не ведающего о своих сокровищах, бездушную *вещь*, чтобы помочь невинному младенцу? Думай о себе как о благородном разбойнике, о Робине Гуде или Рэфлсе[75]. Это прекрасный случай, мой друг. Другого может и не быть.

— Я не могу этого сделать.

— Но, Эдмон! — воскликнул Бастьен. — Он же все продумал.

— Позволь мне уговорить его, Бастьен. — Аристид повернулся ко мне. — Все, о чем я тебя прошу

---

[75] Примечания: 75

Рэфлс Томас Стамфорд (1781–1826) — участник колониальных войн, автор мемуаров.

— подумай. Я предлагаю тебе целое состояние. Подумай о матери твоего будущего ребенка, подумай о самом ребенке.

— Что я могу сделать — так это продать мои книги и гравюры библиотеке Бил-Холла за цену, которую ты назовешь. И я вложу вырученные деньги, как ты советуешь. Это все.

Бастьен вздохнул. Аристид пожал плечами.

В этот момент постучала Мод, ее очаровательное личико появилось в дверях, и она спросила, не желает ли джентльмен задержаться на ланч.

Глаза Аристида загорелись, когда он увидел ее. Если и был хоть какой-нибудь признак беременности Мод, то это особый свет, исходивший от нее, подобный нимбу над головой святого.

— Ланч? Ну да, конечно, с превеликим удовольствием. А после ланча, может, эта богиня согласится проводить меня в Ладлоу и все мне показать? Ведь там дворец, не так ли?

— Да, это живописные развалины, но я не уверена, что…

— О, не бросайте меня, мадемуазель. Я буду безутешен.

Мод засмеялась, и солнечный свет залил комнату. Мысленно она уже видела себя рядом с этим элегантным иностранцем в его маленькой

желтой спортивной машине.

— Хорошо, я могу уделить вам час, если хотите, — сказала она. — Потом я должна буду вернуться.

Она пропадала весь день.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ я был занят делами — покончил с продажей Бил-Холлу книг и гравюр и открыл счет в швейцарском банке для перевода вырученных денег. Как-то ко мне в комнату пришла Мод. На ней была одна из тех старомодных фланелевых ночных рубашек, которые облекают саму невинность, но наводят на мысли о сексуальных утехах. Распущенные рыжие волосы падали на плечи. Она с наигранной скромностью устроилась в постели рядом со мной, и я отложил книгу.

— Милости прошу, — сказал я, — но что изменило твое решение?

— «Проклятье пало на меня! — вскричала Луковая Леди».

Оказалось, начались пропущенные месячные.

Такого прежде никогда не случалось. Что же она должна была думать? Она надеется, что не слишком расстроила меня, хотя сама ужасно переживала.

— Это вовсе не проклятье, — сказала она, — это

благословение. — Она положила мою руку себе на грудь. — Я неделю за неделей молилась Деве Марии.

Конечно, я почувствовал невероятное облегчение.

— Что ж, ладно, — сказал я, — ты получила Ее ответ. Хотя с самой Девой Марией все вышло несколько иначе.

— Еретик! О, какой же ты грешник! — Она сняла мою руку со своей груди и поцеловала ладонь.

— Ты знаешь, что Церковь когда-то всерьез обсуждала, не заставить ли женщин скрывать уши — из соображений стыдливости?

— Ты все выдумал!

— Нет, клянусь тебе. Они утверждали, что Бог, оказав ПДМ внимание, должен был оплодотворить ее через ухо — так, собственно, и было. Сама знаешь, Слово, которое было в начале, Благовещение и тому подобное. Следовательно, женское ухо — срамной орган, который должно скрывать. Кстати, Сатана, во всем его фаллическом коварстве, вбрызнул свое ядовитое семя Еве именно в ухо.

— Ага, и стал одним из женоненавистников или сочувствующих им?

— Это не ко мне, — возразил я. — Не люблю

мерзких педиков. «Богородица всегда в моем сердце», это ж надо!

— Ты сам — мерзкий педик!

— А у тебя, как и прежде, сильные боли?

— Знаю я эти подходцы, — засмеялась она. — Ничего не бойся, ты, глупый притворщик, я выждала нужный срок.

Я упал на нее. «Da mi basia mille, deinde centum!»[76]

Мод отпихнула меня.

— Никогда не рассчитывала в любви, но впредь все будет только так. Я не хочу снова проходить через этот ужас. — Она достала из кармашка ночной рубашки упаковку презервативов — Дюрекс, насколько я помню.

— Еще один грех на душу, — сказал я. — Хочешь отправить нас на самое дно преисподней?

— Мы уже на пути туда, — ответила она очень серьезно. — Как Паоло и Франческа. Ты и сам знаешь.

Я взял у нее резинку.

— Где ты взяла? Тебе не было стыдно, неловко?

— Купила у Беллами, аптекаря в Ладлоу, в тупике Бриджуотер. «Мы готовим и отпуска-

---

[76] Примечания: 76

«Дай же тысячу сто мне поцелуев…» (лат.), строка из стих. В. Катулла «Будем, Лесбия, жить, любя друг друга…». Перевод С. Шервинского.

ем с филигранной точностью». И да, мне было неловко. Но ты вряд ли мог бы пойти и купить. Я сказала, что они нужны моему отцу, — не такая уж большая ложь, если тебя это беспокоит.

Позже, той ночью, она прошептала, что должна кое в чем признаться.

— «Te absolvo»[77], — сказал я.

Мод неожиданно сильно ткнула меня в ребра.

— Это не формальная исповедь. Тут другое.

Я должна признаться кому-то, кто не желает мне зла и простит, несмотря на свой ошейник. Тебе. — Она крепко сжала мне руку, отвернув в сторону лицо. — Я продала старую книгу Шекспира из библиотеки твоему другу Аристиду.

Я сел в кровати.

— Продала *что*?

И тут выплыла наружу злосчастная история, поведанная сбивчиво, со вздохами, слезами и тщетными попытками Мод снова заняться любовью. Все случилось, когда Мод и Аристид гуляли в парке дворца Ладлоу и этот тайный аватар Сатаны вбрызнул свой яд в ухо моей Мод. Я слышал о вашем «счастливом несчастье», начал объезжать ее Аристид, да и выглядите вы ослепительно, хо-

---

[77] Примечания: 77
Тебе отпускаю (лат.).

дячая благая весть во славу способа размножения, дарованного нам Господом. Но вы, конечно, хотели бы иметь все самое лучшее для своего ребенка. А это требует денег, кучи денег. Где их взять? Ясно, что не у отца ребенка — он сравнительно беден и в любом случае не сможет признать свое отцовство. И вы окажетесь (как он мог использовать это!) в *щекотливых* обстоятельствах. Он предложил Эдмону способ решения финансовой проблемы, но Эдмон слишком — Аристид как старый друг считает себя вправе сказать это — слишком *буржуазен*, чтобы признать очевидное. Но *она* могла бы взять поводья в свои руки, защитить собственность и будущее своего еще не рожденного ребенка и даже, возможно, помочь самому Эдмону. Достанет ли ей благородства духа? Он в ней не сомневается. Ей лишь надо продать ему одну книгу из библиотеки Бил-Холла. Он скажет, что это за книга, и объяснит, где ее взять. Как только Мод отдаст ему книгу и купчую (под которой она поставит подпись Эдмона), он заплатит ей наличными, прямо в руки, огромную сумму или же положит деньги на счет в любом банке мира. (Надо отдать должное Аристиду — он предложил Мод ту же сумму и те же условия, что и мне.) Ну, в ответ она сначала мямлила, что не

должна, не хочет, не может, не имеет права. Но в конце концов за чаем и сдобными пышками в магазине возле Батэ-Кросс враг восторжествовал.

— Но ты даже не беременна, — сказал я. — Этому нет оправдания. Отдай ему его деньги и верни книгу.

— Я пыталась, — запричитала Мод. — Звонила ему сегодня утром. Он только засмеялся. «Забудь обо всем, — сказал он, — и наслаждайся деньгами!» О Эдмон, могу я хоть что-нибудь сделать? Как же такое случилось?

— Я позвоню ему, — решил я.

И позвонил.

— Предъяви мне иск, — ответил Аристид. — Вызови меня в суд.

— Ты же знаешь, я не могу этого сделать. Я поставлю под удар Мод.

Аристид вздохнул.

— Почему бы чуточку не расслабиться, Эдмон? Наслаждайся жизнью, трать деньги. Благодаря мне вы оба теперь обеспеченные люди. Постарайтесь сделать еще детей. Ты ведь знаешь, как это делается. — И он повесил трубку.

Я пытался дозвониться снова, но никто не подходил к телефону.

Все это было десятилетия назад. Я не верил,

что Аристид станет долго держать у себя книгу, и полагал, что у него на примете уже есть какой-то клиент, в чью частную коллекцию она бы потихоньку ушла. Однако я ошибался. До сих пор Аристид выполнял обещание, данное Мод, сохранить в тайне покупку книги. Почему он изменил слову?

За давностью лет? А теперь проклятый Тумбли задает свои опасные вопросы. Ладно, как где-то выразился по другому поводу Бард, нам надо что-то предпринять.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ОДИН из «Рассказов Баал Шема из Ладлоу» — «Пиш и нечестный филантроп» — затрагивает по касательной эту прискорбную тему. Рассказал эту историю раввин Айвор Коник из благочестивой общины Реухемптона, а он слышал ее от раввина Обри Луберта из благочестивой общины Манчестера. Однажды Пиш гостил в доме самого богатого прихожанина манчестерской общины, известного филантропа. Конечно, Пиш был принят соответственно его достоинствам, то есть с ним обходились как с членом королевского дома. Стол ломился под тяжестью серебряных и золотых блюд, хрустальных бокалов и графинов; еды и питья было в изобилии и в таком восхитительном разнообразии, что соблазнялся самый

пресыщенный вкус.

Этой ночью Пишу приснился сон. Будто он вступил в величественный дворец в Раю, где происходило заседание суда. Появился Сатана в обличье жабы и стал доносить на одного члена манчестерской общины: «Это правда, что милосердных дел он совершил великое множество: помогает нищему, и хромому, и увечному, вдове и сироте, дает приданое бедной невесте и стипендию бедному студенту. Все так и есть, и более того — он ежедневно посвящает несколько часов изучению Торы. Но в течение многих, многих лет он имел свое дело в Манчестере и все эти годы грабил неевреев. Здесь счет, общая сумма украденного». И Сатана представил суду доказательства.

Суд громко выразил свое неудовольствие и приказал судебным приставам немедленно удалить обвинителя. Но Сатана твердо стоял на своем. «Великие вершители правосудия, — не сдавался он, — я принес в суд нешуточное обвинение. Вы должны прислушаться к моим

словам, или пострадает справедливость».

Тогда свыше раздался удар грома: «Вынести вердикт!»

Суд записал свой вердикт, и он был следующим: обвиняемый должен выбрать — или вернуть все свое богатство тем неевреям, которых он грабил долгие годы, или согласиться с обращением своих сыновей и дочерей в христианство. *Один суд должен быть у вас как для, пришельца, так и для туземца* (Левит, 24:22). Страшись, как бы не случилось так, что *сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день истаевать о них* (Второзаконие, 28:32). Сатана положил в рот полученный вердикт и упрыгал.

Нечего и говорить, что филантроп, узнав об этом, рвал на себе одежды и кричал: «Горе мне!» Он решил вернуть неевреям, сколько мог, из украденного у них и потом вместе с женой и детьми отправиться в долговую тюрьму. Лучше жить в жестокой нужде, рассудил он, чем видеть даже одного из своих детей предавшим веру. Как комментирует раввин

Коник, цитируя Второзаконие, 25:16, «*Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий неправду*».

Что мне следует вынести из этой истории? И как действовать?

ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, я, должно быть, все еще люблю Мод, о которой сентиментально думаю как о моей старухе. Но как эту толстую старую женщину — у нее поредели волосы, она страдает от постоянных болей, особенно досаждает несчастное бедро — связать с той остро-чувственной красотой, которая покорила меня, привязала на всю жизнь, я не знаю. (Неужели она действительно поверила, что я звонил ей с Небес? Конечно нет. Должно быть, просто напилась.) Не стоит забывать, годы и меня не пощадили.

Мы некоторое время пользовались этими мерзкими штуками — презервативами, потом это стало случаться все реже — ни один из нас не любил их. Но Мод так и не забеременела. Не перст ли это Божий?

МЕЖДУ ТЕМ НА СТЕНЕ в Музыкальной комнате висит, как висело до нашего появления, украшенное миниатюрами проклятие, сочиненное

и собственноручно начертанное Соломоном Фолшем, Пишем, в 1760 году по просьбе сэра Персиваля Била, антиквара и коллекционера.

> Тому, кто похитит Книгу из этой Библиотеки. Пусть она превратится в горящую Головню в Руке его и покроет ее волдырями. Пусть его поразит Лихорадка, и пусть отсохнут его Детородные Органы. Пусть он исчахнет от неописуемой Боли, тщетно взывая к Состраданию; и пусть Несчастье переполнит Чашу его Жизни. Пусть не будет никакой передышки в его Страдании, даже в самый последний Момент Смерти. А потом пусть Книжные Черви беспрерывно терзают острыми зубами живые Внутренности его, Самого Злокозненного Червя, который потерял Рай и, не сумев умереть, разыгрывает лорда среди нечестивцев. И когда наконец он притащится к порогу своего последнего Обиталища, к своей заслуженной Каре в Долине Шеола, пусть его поразит безжалостное Пламя Геенны и поглотит на Веки Вечные.

Я напомнил Мод об этом грозном проклятии,

которое висит передо мной на стене, напоминая и раздражая — единственная диссонирующая нота в гармонии моей любимой Музыкальной комнаты.

— Тебя это очень пугает? — спросил я ее.

— Это только слова, — ответила она, но побледнела.

— Да, слова, но сочиненные святым человеком.

— Да иди ты, он был просто старый еврей.

Должен сказать, *это* привело меня в замешательство.

Я часто собирался снять проклятие — оно беспокоит меня, причиняет мне неудобство. Но я не суеверен, совсем нет, и не хотел бы выглядеть суеверным, даже перед самим собой. Посетители часто спрашивают, почему проклятие не висит в библиотеке, для которой несомненно и предназначалось. Я всегда отвечаю, что оно занимало именно это место, когда я впервые появился в Бил-Холле. Я мог бы, конечно, переселить его в библиотеку, если бы захотел. Но я такой невротик (или католик? или, может быть, еврей?), что чувство вины, вызываемое этим предметом, полезно мне.

Спустя несколько месяцев Мод спросила, как я думаю, проклятие действует только как целое

или же каждая его часть способна причинять отдельное несчастье, независимо от остальных. Она начала тревожиться о своих «детородных органах».

Часть третья

Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris[78].

Из проповеди перед началом мессы в среду на Страстной неделе.

Религия — это оскорбление для человеческого достоинства. С ней или без нее, были хорошие люди, делающие хорошие дела, и дурные люди, делающие дурные дела. Но религия требует, чтобы хорошие люди делали дурные дела.

Д-р Стивен Вейнберг, физик, Нобелевский лауреат. Речь на собрании Американской ассоциации за прогресс науки, апрель 1999 г.

ПИСЬМО ТУМБЛИ было адресовано, как всегда, «Отцу Эдмону Мюзику, ТИ». Нет, я не Иезуит, и Тумбли не считает меня таковым. В первый раз он использовал свое «ТИ» целую вечность назад на открытке, которую прислал как-то летом из

---

[78] Примечания: 78
Помни, человек, что ты из праха и в прах обратишься (лат.).

Рима, еще в студенческую пору. Возвратившись осенью в Париж, он объяснил за нашим столиком в «Лягушке», что имел в виду.

— Это шутка, ты разве не понял? — спросил он. Его губы, ярко-красные на фоне бледных впалых щек, кривились в гримасе. — ТИ — значит Тайный Иудей!

Его смех — а смеялся он редко — напоминал визгливое девчачье хихиканье.

— Это шутка? — переспросил Бастьен.

— Взгляни на картинку, — ответил Тумбли.

На открытке был изображен фрагмент картины Версаче «Христос изгоняет менял из храма» — только ради нее стоит посетить Санто Симпличиано Маджоре на виа дельи Спекки в Риме, где она висит в постоянном мраке. У одного из менял сидит на плече обезьяна, глумящаяся уродливая обезьяна: она довольно гадко мочится пенистой дугой на рассыпанные по земле монеты. На голове у хозяина обезьяны тюрбан с блестками и нашитой звездой Давида. Картина имела бы успех на любой выставке, посвященной антисемитизму в искусстве.

— Посмотри ей в глаза, — предложил Тумбли, нервно хихикая. — Она заставила меня вспомнить о тебе, Эдмон.

— Замечательное сходство, — ответил я сухо.

С тех пор Тумбли постоянно использовал свое «ТИ» в переписке со мной, словно это было подкупающе трогательное напоминание о наших веселых студенческих деньках. Он, конечно, понимает, что это оскорбление, которое мучит меня, как незаживающая рана. Понимает Тумбли и другое — я не могу ответить ему. Несомненно моя резкая реакция на его шутку будет означать, что я ищу повод к ссоре, вечная иудейская привычка — как и у всего моего племени — находить обиду там, где предлагают христианскую братскую любовь. Тем самым я только добавил бы ему охоты и дальше использовать это проклятое «ТИ».

В своей академической карьере Тумбли довольно быстро переключился с литературных штудий — классические влияния, сквозные темы и сюжеты, поэтическая образность и метафоричность, христианский символизм и сексуальный подтекст, — на литературные биографии. Он был автором слабых, почти никому не известных биографий Хилэра Беллока, Г.-К. Честертона и Грэма Грина. И вот уже много лет он работает над биографией Барда — забавно претенциозный проект для такого ограниченного ума, — стремясь отыскать католические истоки творчества

Шекспира и его нонконформизм. Ну что ж, желаю ему всяческих успехов.

Именно этот «новый» интерес побудил Тумбли упомянуть о Шекспире в разговоре с Аристидом Попеску, когда они с таким шиком обедали в наимоднейшем нью-йоркском ресторане, отдавая щедрую дань божественному «Померолу». Но я уже говорил об этом. Однако, о чем я не рассказал — или, вернее, не рассказал пока в деталях, — это об открытой угрозе, содержавшейся в письме Тумбли.

Тумбли провел изыскания. Ему удалось найти запись о «таинственной» книге, внесенной в «Книготорговый реестр» и датированной 3 января 1599 года, старый стиль (то есть 1600 год нового стиля). Запись гласила: «Элизер Эдгар. Поступил экземпляр, заверенный хранителем. Книга, именуемая „Любовная страсть“, Д.Д., с некими другими сонетами У.Ш.». В письме Тумбли уверял, что книга не сохранилась. «Представь себе, если бы она была», — писал он с волнением.

> Что, если Д.Д. был Джон Донн? Что, если У.Ш. был действительно Шекспир? Какой ансамбль, Эдмон! Два величайших любовных поэта начала XVII века попали в

один переплет. Боже! От этого просто дух захватывает!

(Тумбли демонстрирует лучший в Американской академии образчик эпистолярного стиля, в сравнении с которым «банальный» способ выражения мыслей выигрывает в ясности и остроте. Его *double-entendre*[79] оказалась довольно забавной, потому что он, видимо, не осознавал, что пишет. «Попали в один переплет», ну и ну! Да, дорогие мои! В самом деле дух захватывает.)

Книга из каталога Попеску совершенно неизвестна гуманитарной науке! Я упоминаю ее в связи с той, что внесена в «Книготорговый реестр», потому лишь, что совпадает год — 1600 и в записи упомянут Элизер Эдгар. Не тот ли самый «Э.Э.», что указан на титульном листе экземпляра Попеску? Ставлю последний доллар, что тот самый. И еще я думаю, что книга Попеску — приквел или сиквел, если угодно, книги из «Книготоргового реестра», что объединяет Д.Д. и У.Ш.

---

[79] Примечания: 79
Двусмысленность (фр.).

(«Приквел!», «Сиквел!» Господь милосердный! Ведь никогда слова в простоте не скажет. Подумать только, «если угодно»: их что, мало пороли в детстве, таких, как Тумбли?)

> Чего я не могу понять, Эдмон, так это как получилось, что на титульном листе, согласно каталогу, стоит штамп «Библиотека Бил-Холла»? Эй, я знаю тебя как облупленного! Черт возьми, ты не продашь подобное сокровище из собрания, принадлежащего Церкви, которая, так сказать, Христос. Нет, только не ты. Никогда. Тех, кто пришел бы к тебе, лебезя, с деньгами в руках, ты выбросил бы из храма. Но не удивительно ли, что Попеску, порнограф, самый грязный из твоих многочисленных нравственно нечистых друзей, которые в пору нашей неопытной юности часто бывали в «Лягушке», так вот, что именно Попеску держит на своей полке книгу, чье законное место — в той самой библиотеке, которой вашему преподобию, inter alia[80], доверено

[80] Примечания: 80
Между прочим (лат.).

управлять?

Ладно, мы займемся этим делом летом, ТИ, и постараемся проследить, каким путем столь уникальная книга попала из Бил-Холла в каталог этого аморального дельца — человека, который, судя по всему, исчез с лица земли. Он — а я звонил ему не один раз — приказал своим домочадцам отвечать: «в данный момент отсутствует», «его нет в городе». О, конечно! Еще бы!

Как я уже говорил, «отсутствие» Аристида создало некоторую проблему и для меня. Но оказывается, зря я искал его в Париже, поскольку Тумбли, сам того не желая, предложил мне выход. Как он сказал с плохо скрываемым сарказмом, я, безусловно, *не мог* продать такую редкую книгу Аристиду, аб-со-лют-но не мог. Это было бы немыслимо. Вот и хорошо. Может, ее продали до того, как я занял должность, — ну, скажем, оказавшимся в финансовой петле Фердинандо Билом, самоубийцей. Я собирался предложить Аристиду, чтобы он убрал подальше купчую, которую дала ему Мод, и придумал легенду: что-нибудь вроде того, что оформление покупки книги было ослож-

нено условиями военного времени и смертями прежних владельцев, почему она так внезапно и всплыла в те годы, — а тогда у Аристида еще не было развала, он был молод и неопытен в своем ремесле и не подозревал о ценности книги.

Настоящую угрозу Тумбли вставил между строк: в официальном письме епископу Мак-Гоналу он «упомянул — просто к слову пришлось», о своем удивительном открытии, и епископ, «добрейшая душа», проявил интерес к исследованиям Тумбли и обещал посетить Бил-Холл после своей научной поездки в Штаты. «Затевается игра!» — любезный иерарх снизошел до Тумбли, а тот, без сомнения, знал, что епископ увлечен последними разысканиями о Шерлоке Холмсе.

Но епископ Мак-Гонал — и чертов Тумбли, естественно, знал это — не только важная персона в местной иерархии, но и ex officio[81] член попечительского совета Бил-Холла.

Я огляделся по сторонам в поисках совета, в поисках подходящего уха, куда мог бы нашептать свою проблему, и подумал, что лучше майора не найти, дорогой старина У.К. сможет посоветовать мне что-нибудь дельное. В ожидании нашей

---

[81] Примечания: 81
По должности (лат.).

ветречи я прикидывал, в каких выражениях описать кражу Мод, чтобы найти сочувствие у героя кампании в Северной Африке.

Я РЕШИЛ СОВЕРШИТЬ привычную прогулку по поместью и лесу Тетли к Бенгази. Была очередь майора выступать в роли хозяина шахматного вечера. Невдалеке вершина триумфальной колонны сэра Хэмфри Била на выступе Трафальгарского холма купалась в лучах заходящего солнца, золотое копье, как Дон-Кихот, вызывало на бой надвигающуюся тьму. Невидимые птицы щебетали свои нежные гаммы. Восхищенный, я остановился на минуту послушать, прежде чем ступить в темноту густого леса. Тем временем за моей спиной, в Бил-Холле, Энджи Маклетвист колдовала над поредевшими волосами Мод. Скоро дамы приступят к дружеской части званого вечера: сначала выпьют чаю с кексом, потом водрузят на стол бутылку джина и два стакана (они у Мод всегда под рукой) и займутся пересудами тех слухов, которые на этой неделе просочились в двери «Снипети-Снип» и пронеслись вихрем вокруг фенов, похожих на шлемы космонавтов.

В неофициальной обстановке, при первой возможности я, чтобы чувствовать себя удобно, надеваю слаксы, рубашку с открытым воротом,

шерстяной кардиган и, конечно, черно-белые кеды. Но если я оказываюсь среди священников или когда в роли директора встречаю приезжающих сановников, мне приходится надевать положенное облачение (если не считать жизненно необходимых кедов): черную сутану, черный нагрудник и немного залоснившийся и пожелтевший ошейник. Однако на шахматные вечера я всегда являюсь при полном параде (и здесь исключение — кеды), скорее всего затем, чтобы дать майору повод поострить. В таком виде я постучался к нему в дверь: сутана доходила мне до лодыжек, на шее — черные четки, с которых свисал большой эбонитовый крест с корчащимся на нем Иисусом из слоновой кости, голову украшала биретта[82].

Я купил ее давным-давно шутки ради — проходя по зловонной, мощенной булыжником узкой улице недалеко от собора Святого Петра, я натолкнулся на лавку, торгующую атрибутами церковного обихода и грубыми безделушками и сувенирами, которые закупают набожные туристы, чтобы потом одаривать ближних. Тогда меня вызвал в Рим главный библиотекарь Ва-

[82] Примечания: 82

Биретта — четырехугольный головной убор (у священников — черного цвета) с кисточкой — деталь облачения духовенства.

тикана — он якобы собирался предложить мне должность, ну, не совсем хранителя, а одного из трех помощников хранителя не имеющей себе равных древнееврейской коллекции Ватикана — большая ее часть, как говорят, веками «вызволялась» из еврейских рук. (Содержался ли в этом предложении завуалированный намек на мое происхождение? Или напоминание, что у меня есть причины для благодарности? Эдмон Мюзик, ТИ? Или это предложение сделано мне как отпрыску древнего племени? И я чувствую на своих плечах тяжесть «избранничества».) Я совершил экскурсию по библиотеке, потом меня угощали вином и беседой в остроумной компании молодых клириков. Через три дня я позвонил в офис отцу Рокко Мариначчи, первому секретарю второго помощника директора библиотеки. Отец Мариначчи сидел за внушительных размеров столом, загроможденным старинными книгами; в воздухе, в лучах солнечного света, льющегося из окон, плясали золотые пылинки. Увидев меня, он подался вперед, подставив ладони под подбородок, и сразу стал похож на Кристофера Робина за молитвой.

— Подумайте хорошенько, отец! — Он хлюпнул носом. — Для молодого человека в самом начале

пути здесь есть прекрасная возможность быстро продвинуться по служебной лестнице.

Отец Мариначчи дал мне также понять, что вскоре после назначения последует и почетное «монсеньор».

Мне даже не понадобился совет моего старого друга Кастиньяка, чтобы убраться из Ватикана восвояси. С самого начала было ясно, что Церковь предлагала мне отступные за Бил-Холл. Но этот приезд подарил мне встречу со старым другом в этом лабиринте расчетливости и бюрократических интриг. Кастиньяк был тогда личным секретарем епископа Нимского, который заехал в Рим, сделав крюк по пути в Доломиты, в клинику цистерианцев[83], где, надеялись, он вылечится от алкоголизма.

— В Ниме[84], — сказал Кастиньяк, подмигнув, — мы с трудом удерживаем его от бренди.

Мы стояли в сумраке Санто Симпличиано Маджоре, всматриваясь в картину Версаче. Неожиданно Кастиньяк резко отвернулся.

— Такой потрясающий художник — и заискива-

---

[83] Примечания: 83

Цистерианцы — монахи католического ордена, близкого по духу бенедиктинцам.

[84] Примечания: 84

Ним — город на юге Франции.

ет перед Церковью картиной, вызывающей одно лишь отвращение! Нам придется за многое ответить, — задумчиво добавил он. — Будь осторожен, Эдмон. Раз ты добровольно не отступаешься от Бил-Холла, на сколько еще, по-твоему, хватит терпения у Рима? В один прекрасный день ты окажешься в какой-нибудь деревне в Центральной Африке и будешь раздавать благотворительность: протухший рис и гнилой горох. — Он покачал головой и печально рассмеялся. — Мне тоже придется за многое ответить, дружище. Мирские соблазны притягивают неодолимо, как магнит. Что скажет мне Господь? «Кастиньяк, а отправляйся-ка ты в деревню в Центральную Африку». Знаю-знаю — Данте признает возможность личного выбора, но он удается разве что ловким приспособленцам.

Итак, я поблагодарил отца Мариначчи за неожиданную честь, которой я, конечно, недостоин, и попросил позволения вернуться в Англию, где в тиши уединенной часовни Бил-Холла я обрету необходимый душе покой, чтобы размышлять над незаслуженным повышением и смиренно молиться за моего духовного наставника. Отец Мариначчи разглядывал меня с плохо скрываемой неприязнью. Он закурил новую сигарету,

забыв, что прежняя еще дымится в забитой окурками пепельнице, стоявшей перед ним на столе. Одна из его невысказанных сердитых мыслей повисла вместе с дымом в воздухе: значит, он зря тратил свое драгоценное время, предлагая мне «руководство»? Что мне еще нужно? Он пошмыгал носом, потом махнул на прощанье сигаретой и перевел взгляд на документы, лежавшие на столе. Я же, ликуя в душе, тихонько удалился.

Две ночи спустя я был в собственной спальне. Вошла Мод в хлопковой ночной сорочке в стиле ампир, ее восхитительная грудь была подхвачена розовыми атласными лентами, собранными в розочки в центре декольте. Я сидел на кровати — голый, и на моей голове красовалась новенькая биретта (я прозвал ее беспутным ангелом). Сначала Мод онемела от изумления, потом зажала рот руками, чтобы приглушить смех, но не подошла к постели, пока я не снял биретту. Ее вера играла на поле, где стойки ворот никогда не стояли на определенном месте.

Впрочем, те времена давно миновали. Сегодня трудно передать, как велика была опасность, которой мы подвергались. Потому-то память все еще возвращается в прошлое. Кроме того, старикам свойственно повторяться. Вот и я повторяю:

то, чем мы занимались, было хуже чем грех. Если бы это выплыло наружу, случился бы грандиозный скандал, смутив души честных католиков и доставив большую радость протестантам. Вероятнее всего, публичного скандала удалось бы избежать. Дело наверняка бы замяли. Меня упекли бы в отдаленный приют для душевнобольных, чтобы там наложить епитимью и лишить связей с внешним миром. С Мод тоже свели бы счеты, запугав или купив ее молчание, действуя, так сказать, кнутом и пряником.

По иронии судьбы, представление западного мира о католической Церкви в то отдаленное время — как о внешней стороне ее жизни, так и о внутренней кухне, — было поверхностно-шаблонным. Примерно таким, как недавние рассуждения одного ученого, — хорош бы я был, если бы им поверил! — пытавшегося судить о самосознании янки в XX веке и о его ценностях по фильмам, созданным евреями-иммигрантами в Голливуде. Если в те годы в кино появлялось лицо духовного звания, это практически всегда был католический священник. В фильме, поставленном в Америке, герой либо ирландец, либо мексиканец. Ирландский священник выглядит чуточку эльфом, который всегда носит на поясе

кошелек с шиллингом[85], он себе на уме, он забавен, у него огонек в глазах, он заражает всех бодростью, решает проблемы верующих, отыскивая искру добра даже в закоренелых грешниках. Если он отважный парень, то искусен в боксе, завоевывает восхищение мальчишек, не ладящих с законом, и добивается, чтобы они ушли с улицы в его спортивный класс. Мексиканский же священник посвящает себя заботе об обездоленных и закрывает собственным телом поденщика от гнева деспота хозяина. Он способен умереть мученической смертью.

Единственное над чем католический священник был совершенно не властен в то безмятежное время, так это над своим детородным органом.

В наши дни священнику, пожалуй, позволено слишком много. Стали обычным делом сообщения в газетах о священниках, сбежавших со своими прихожанками, одинокими или замужними, о священниках, которые предстали перед судом присяжных, были признаны виновными и отправлены в тюрьму за сексуальное совращение детей (обычно мальчиков, но иногда и девочек). Так что простим мирянину, если он задается во-

---

[85] Примечания: 85
Персонаж ирландского фольклора.

просом, был ли справедлив антиклерикальный пафос порнографии во времена Великой Французской революции.

Сегодня никто бы и бровью не повел, случись у священника связь с экономкой, — но когда мы с Мод, еще молодые, сходили с ума друг от друга, нам грозили все кары небесные. Только мой друг майор — истинно верующий, как многие атеисты, — с завидным постоянством радуется каждому сообщению о прегрешениях Церкви.

БОЖЕ МОЙ, МАЙОР! Как же я отвлекся!

Одетый, как я уже сказал, в сутану и биретту, я постучал в дверь Бенгази. Постучал снова, потом еще раз. Никто не вышел открыть мне. Тогда я ее подергал — дверь оказалась заперта. Я приложил ухо к ее гладкой поверхности. Тишина. Где же сиделка майора, чувствительная, хорошенькая молодая леди с романтической фамилией Билинда Скудамур[86], которая сейчас заботится о нем? У нее свободный вечер? Может, мне войти через буфетную? Пробираясь мимо окон гостиной, я заглянул в комнату. Дорогой мой старина У.К. — вид у него был хуже обычного — он сидел,

---

[86] Примечания: 86
Скудамур — любовный порыв (англ.).

наклонившись вперед, в своем любимом кресле перед погасшим камином и потирал руки. Между его креслом и другим, предназначенным для меня, стоял шахматный столик с расставленными на доске фигурами. (По нашему правилу гость начинает белыми.)

Я резко стукнул в стекло. У.К. не обернулся — он сидел, помахивая пальцем. Только тогда я увидел у него наушники. Ну, конечно, опера. На прошлой неделе майор говорил мне, что Билинда, кажется, не слишком интересуется оперой. «Что это визжит?» — как-то спросила она, раскладывая перед ним его второй завтрак. «Дружище, „визжала“ божественная Реджина Ресник, она пела „Chanson bohème“[87] из „Кармен“. Но она веселая и старательная, эта Билинда. Придется считаться с ее невежеством». Значит, мой дорогой друг надел наушники, чтобы избавить милую леди от пытки.

Обойдя коттедж, я проник в дом через открытую дверь буфетной. Оказавшись внутри, я подождал, пока глаза привыкнут к тусклому вечернему освещению. Снаружи щелкала и свистела летучая мышь, носясь сумасшедшими кругами над

---

[87] Примечания: 87
«Цыганская песня» (фр.).

лужайкой. Буфетная была крошечная, чуть больше коридора, который вел к маленькой кухне, откуда — я только сейчас это понял — доносились странные звуки: стоны, сдавленные вздохи и приглушенные вскрики, как будто кто-то маялся тяжкими болями в животе.

Я поспешил к приоткрытой двери в кухню и вошел. Все, что я рассмотрел в почти кромешной темноте, — это две фигуры, боровшиеся где-то рядом с кухонным столом. Одна из фигур — я это скорее почувствовал, чем увидел, — женщина. Напали на Билинду! Но чем в такой ситуации может помочь ей человек преклонного возраста и с шишками на ногах? Я включу свет, напугаю противника, встану перед ним во всем великолепии моих священнических одежд, может, протяну к нему тяжелый крест с корчащимся в муках Иисусом, произнесу нараспев несколько слов на латыни.

Я дотянулся до выключателя за дверью и щелкнул. «Lux et veritas»[88], — произнес я сурово. Но то, что я увидел, заставило меня погасить свет с величайшей поспешностью.

— Извините, — пробормотал я. — Ради бога,

---

[88] Примечания: 88
«Свет и истина» (лат.).

извините. Простите.

И я пробежал через кухню в гостиную, прихрамывая на моих бедных шишках, и плотно закрыл за собой дверь.

То, что я увидел в мгновенной вспышке света, была чрезвычайно tableau vivant[89], которая запечатлелась в моей памяти, как на фотографии. На краю кухонного стола, подняв стройные ноги кверху и возложив их на плечи Бочонка Уайтинга, а руками охватив его шею, отважно балансировала Билинда Скудамур. Ее юбка сбилась у талии. Бочонок стоял меж ног Билинды, сжимая в руках ее груди. Форменные брюки Бочонка спустились на лодыжки, его мужественный membrum[90] был, так сказать, инвагинирован. Короче говоря, я застал их за *этим*. На лице Бочонка было выражение комического ужаса. Лоб Билинды покрылся каплями пота, ее голубые глаза дико таращились на меня. Верхними зубками она прикусила нижнюю губу — может, хотела заглушить вопль, а может, боролась со смехом. На другом конце стола как-то сиротливо лежал шлем Бочонка.

---

[89] Примечания: 89
Живая картина (фр.).

[90] Примечания: 90
Член (лат.).

Надо же, у меня и в мыслях не было! Ну и дела! Вот так и узнаешь, что творится на свете, говоря словами Барда.

Майор тем временем заснул. Я тихонько посидел несколько минут в кресле, приготовленном для меня, собираясь с мыслями. Даже в моем возрасте — должен честно признаться — сцена, невольным свидетелем которой я только что оказался, возбуждала: я говорю не о похоти, как вы понимаете, а об ожившем печальном и тщетном воспоминании — и может, потому немного с завистью. Бедная Мод отчаянно нуждается в операции на бедре, которую готовы сделать в НСЗ![91] Бедняжка, она не может держаться на ногах так, как Бочонок, да что там — временами даже с трудом способна доковылять до кухонного стола! Lacrimœ rerum[92] и все такое прочее. Où sont les neiges d'antan[93], а? Ну, ничего, ничего.

Я сидел и смотрел на майора. На нем все еще были наушники. Каким уязвимым он казался,

---

[91] Примечания: 91

НСЗ — национальная служба здоровья (государственная).

[92] Примечания: 92

Слезы мира (лат.).

[93] Примечания: 93

«Где снега былых времен?» (фр.), рефрен стихотворения Ф. Вийона «Баллада о дамах былых времен». Перевод Ф. Мендельсона.

как постарел в последние месяцы! Стараниями Энджи Маклетвист, которая заглядывала к нему раз в две недели, его седые волосы и военного образца усы были аккуратно подстрижены. Но узкое лицо сделалось болезненно худым, пергаментная кожа покрылась сеткой морщин. Его голова клонилась к подлокотнику, как будто стебелек его тощей шеи был не достаточно крепок, чтобы держать голову. Рот приоткрылся, обнажив верхние зубы, казалось, что на меня оскалился череп. Уголком рта он слабо посвистывал и всхрапывал. И в штатском платье майор выглядел воякой: завязанный узлом шелковый шарф аккуратно заложен в открытый ворот кремовой в мелкую клетку рубашки, старая твидовая куртка с кожаными вставками на локтях и кожаными манжетами, поношенные вельветовые брюки, видавшие виды ботинки коричневой кожи. Вот только одежда теперь была ему велика.

— Майор, — тихо позвал я и повторил чуть громче: — Майор! — Я поднялся и коснулся его колена.

У.К. открыл глаза совершенно неожиданно, его узловатые, усыпанные старческими пигментными пятнами пальцы медленно поползли по подлокотникам кресла и вцепились в них, как

когтями.

— Где мы остановились? — спросил он. — Мой ход, не так ли? — Он склонился к доске, увидел, что шахматные фигуры все еще стоят в исходной позиции. — Я, должно быть, заснул. Прошу прощения. Давно вы здесь?

— Нет. Минут пять, не больше.

Майор озадаченно взглянул на меня.

— Не слышу ни одного вашего слова. Губы движутся, но ни звука. Говорите погромче, дружище. Думаю, это мои чертовы проблемы со слухом, как и со всем прочим.

Я жестом показал, чтобы он снял наушники.

— Ага! — Майор снял их, ухмыляясь, как мальчишка. — Так держать, Эдмон. «Отлично» за бдительность. — Он указал на мою голову. — В мире есть всего две категории людей: те, кто носит смешные шляпы, и те, кто никогда этого не делает.

Я совсем забыл о моей биретте.

— Есть только две категории людей в мире. Те, кто все делит на два, и те, кто этого не делает. — Я снял мою биретту и нахлобучил ее на бюст Вольтера, стоявший на буфете под окном. — Так ему и надо, старому безбожнику. — И я вернулся в мое кресло.

— Что скажете, если мы что-нибудь выпьем, отец? — У.К. поднял с пола позади кресла маленький серебряный колокольчик и позвонил. — Кажется, свадебный подарок. Имоджин забыла, когда сбежала. Нелепая штучка, но сейчас очень кстати, а?

Билинда вошла с таким проворством, словно смиренно дожидалась за дверью, когда ее позовут. Ни по ее внешнему виду, ни по поведению нельзя было догадаться, чем она только что занималась. Она принесла маленький поднос, на котором стояли графин с виски, два стакана и кувшин воды.

— Добрый вечер, отец. Я и не слышала, как вы вошли.

Я кивнул на свои ноги.

— Кеды.

Она поставила поднос на маленький столик, так чтобы мы могли дотянуться.

— Я наполню ваши стаканы. И лучше бы вам обоим на этом остановиться. К вашему сведению, отец, майору Кэчпоулу полагается одна часть виски и три части воды. Распоряжение доктора. — Она отмерила каждому из нас скромное количество виски и, держа стакан майора на уровне глаз, разбавила водой. — Как поживает

отец Бастьен?

Я кивнул.

— А Мод?

— Хорошо. Оба хорошо.

— Передайте, что я справлялась о них. — Билинда встала за креслом У.К., где он не мог ее видеть, подмигнула мне, улыбнулась и мило приложила пальчик к губам. — Мне нужно исчезнуть часа на два. Когда вы, грешники, достаточно накачаетесь этим страшным ядом и захотите настоящего вкусного чая и бисквитов, просто зайдите на кухню. Вам останется только вскипятить воду. — Она на минуту задержалась у двери. — И пусть победит меньше выпивший.

— Неплохо, а? — сказал У.К., имея в виду соблазнительные формы Билинды, а вовсе не ее острый язычок. — В моей молодости такие не встречались — что ж, тем хуже. Завидую парню, который будет ее трахать. — Он выпил залпом свое разбавленное виски и протянул мне пустой стакан. — Моча, а не спиртное, — сказал он. — Эдмон, вам ближе, налейте-ка мне настоящего виски, будьте умницей.

— Но доктор…

— Ко всем чертям доктора! — Улыбка майора на долю секунды вернула в мир молодого парня,

скрывающегося за иссохшей внешностью. — Не при вас будь сказано, конечно.

Я налил.

— Поехали, — сказал он.

— Ваше здоровье.

Некоторое время мы прихлебывали в дружеском молчании.

— Ваш биш[94] еще бóльшая задница, чем я о нем думал. — У.К. подергал уголками губ, пряча усмешку.

— Епископ Мак-Гонал — благочестивый христианин и способный администратор, если еще не кандидат в святые. Не делает вам чести, У.К., что вы так дурно отзываетесь о нем.

— Его тоже ко всем чертям! — ответил он.

— Чем бедняга так задел вас?

— Безнадежный педераст, — сказал майор и хитро улыбнулся. — Он не может задеть меня. Я не дам за него и гроша. Но он превращает веру в фарс. Это вам он может навредить. Сегодня днем я слышал его выступление по радио. Думает, что неуязвим, мокрая задница. Тоже мне супермен. Так вот, он уверен, что Бог припас для него особо важную, но еще неведомую миссию. И пока он ее

---

[94] Примечания: 94
Сокращенное от англ. bishop — епископ.

не исполнит, с ним ничего не случится. И эту потрясающую истину он провозглашает, обратите внимание, на площадке для гольфа!

— Епископ Мак-Гонал наверняка имел в виду Провидение. Свобода воли не исключает Провидения. У Бога есть замысел для каждого из нас. Как говорит старый Лир: «На все — свой срок»[95].

— Чушь, Эдмон. К чему этот старый, заплесневелый парадокс? — Он снова протянул мне пустой стакан, пристально глядя на меня.

Я не стал спорить.

Майор, конечно, прав. Мак-Гонал — задница, а из-за настырности Тумбли, — потенциально опасная для меня задница.

— Полагаю, вы знаете, что ваш биш — страстный игрок в гольф? Член КАЭГ — Клерикальной ассоциации энтузиастов гольфа? Так вот, их ежегодные встречи начались этим утром на площадке возле Каллодена, в миле или двух от Морей-Фес. Начались и закончились. — У.К. сделал большой глоток виски, с наслаждением прополоскал рот и проглотил. — Как только Мак-Гонал вышел к пятой лунке, разверзлись небеса и начался второй потоп — вода, вода, вез-

---

[95] Примечания: 95
«Король Лир». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

де вода. Можно понять, почему стали мочиться небеса: у каждого «ошейника» «прямой провод» к Всевышнему, каждый молится о своей победе! Неразбериха на высочайшем уровне. Sturm und Drang[96] какой-то, иначе и не скажешь.

— Я не совсем понимаю, что превращает епископа в задницу и уже тем более в мокрую задницу. — Я смаковал ругательства, наслаждаясь возможностью, хоть на словах, унизить епископа.

— Подождите, все по порядку. Служащие включили сирену, чтобы все игроки покинули площадку. Было так темно, что вряд ли кто-то мог отличить клюшку от мэши[97]. Все, кроме Мак-Гонала, опрометью кинулись в клуб. А Мак-Гонал вытащил зонт и раскрыл его. Молния попала в наконечник зонта — биш выронил его и понесся спасаться под дерево. В ту же минуту другая молния ударила в это самое дерево, расщепила его и швырнула епископа на колени в грязь. Думаете, в тот момент он и постиг свою миссию? Ничего подобного. С превеликим трудом поднявшись на ноги, он, ковыляя, покинул площадку ров-

[96] Примечания: 96
Буря и натиск (нем.).

[97] Примечания: 97
Мэши — клюшка с железной головкой, которой посылают мяч вверх.

но в одиннадцать часов. «Очень бесстрашный джентльмен», — по-дурацки прокомментировал парень с радио. Потом Мак-Гонал заявил, что у него, как всегда, лучший счет — семьдесят два, — несмотря на сплошную стену ливня и гром с молниями, вот только свидетелей у него, конечно, не было и соревнования уже отменили. А тот дурачок с радио спросил, не хочет ли епископ рассказать слушателям, какое значение имел для него этот опыт. «Моя вера укрепилась еще больше, — ответил он. — Ясно, что Он избрал меня. Я верю, что Он отвел мне особое предназначение в этой жизни». А теперь скажите мне, Эдмон, этот человек — мокрая задница или он — просто задница?

— Я могу лишь изумляться чуду его избавления, — ответил я миролюбиво, продолжая ради майора играть роль. — И хочу вознести за это благодарность Господу нашему.

С минуту он насмешливо глядел на меня, прежде чем усмотрел в моих словах какой-то иронический смысл, и обрадовался:

— Вы старый хитрец, отец Мюзик, старый хитрец. Мне иногда даже бывает стыдно признаваться, что вы мой друг. — Он рассмеялся и кивнул на графин: — Давайте-ка пропустим за

дружбу.

ЭТИМ ВЕЧЕРОМ мы не играли в шахматы. Майор тихо и вполне благопристойно напился. Я не старался пить с ним вровень и потому не боялся потерять контроль над собой. Не было смысла — я это скоро понял — рассказывать майору о моих проблемах. Можно ли просить у этой цельной натуры совета, как скрыть преступление? Я только унижу в его глазах Мод, а может, и себя самого, чего мне совсем не хотелось. Доверяясь ясной луне, указывавшей мне дорогу, я медленно вернулся в Бил-Холл и увидел, что Мод из-за меня не ложилась спать. Я стоял у открытой двери Музыкальной комнаты и смотрел на унылую женщину преклонных лет с жидкими огненно-рыжими волосами, пухлыми щеками и кроваво-красными наманикюренными ногтями. Она кокетливо наклонила голову, и я понял, что просто обязан обратить на нее внимание и прокомментировать чудеса, которые сотворила Энджи Маклетвист. Я не мог разочаровать Мод.

— Ты очень хороша, Мод, ты действительно прекрасна — совсем как в первый раз, когда я увидел тебя и влюбился. И как чудесны твои волосы! «Блестяще», «роскошно» — так, кажется, говорят по ящику. Новая мода? Что-то необыкновенное.

Как это делается?

Она застенчиво засмеялась:

— Начес.

— Ну, конечно, начес.

Тут глаза Мод покраснели и наполнились слезами, она с укором смотрела на меня.

— Вы с У.К. пили?

— Немного.

— Ты сгорбился, Эдмон. Где твоя красивая прямая спина?

Я попытался выпрямиться, но пошатнулся и отступил на шаг, едва не упав.

— Хоп! — воскликнул я, дурашливо хихикнув и наигранно икнув.

Вот такие у нас игры. Мод не хотела, чтобы у меня под рукой всегда было спиртное, помня, каким отчаянным пьяницей был ее отец и что с ним случилось. Люди — она точно знала — легко поддаются этому. Но сама она не видела ничего страшного, если выпить капельку — в дружеской компании или просто желая поднять настроение в конце трудного дня. Теперь она выговаривала мне, осуждающе принюхиваясь и горько смеясь.

— Сутана и эта биретта! Просто посмешище, глумление над лучшими людьми, которые достойно носили их, над святыми людьми! Ты

проводишь слишком много времени с майором. Он добряк, но его влияние отвратительно. И пожалуйста, не надевай больше этот наряд. Думаю, он тебе не подходит.

Она права. Согласен, он не для меня. Но тем не менее я не люблю ни пьяного выяснения отношений, ни Мод, когда она, приняв полбутылки или около того, становится, мягко говоря, несдержанной на язык. Хотелось бы знать, сколько она выпила этим вечером, с Энджи и без нее.

Однако что-то произошло между Мод и мною, что-то встало между нами. Но что? И когда это случилось? Мы живем как супруги, которые однажды договорились жить каждый своей жизнью, только для окружающих сохраняя видимость добрых отношений. (На самом деле все сложнее. В отношениях «священник-домоправительница» важным было как раз соблюдать «внешнюю благопристойность», так что утрату близости могли бы заметить лишь те, кто был допущен в нашу, с позволения сказать, частную жизнь.) И все-таки мы еще любим друг друга. По крайней мере я так думаю.

Она не потеряла ни остроты ума, ни своего язвительного чувства юмора вместе с красотой, которая очаровала меня, связала нас, заставила

мириться со стальными обручами. Но с некоторых пор (когда именно и — что важнее — почему?) она взялась играть роль невоспитанной суеверной простолюдинки-ирландки, карикатурный образ — вроде того, что в XIX веке публиковался в «Панче»[98] или который можно было увидеть в провинциальных рождественских пантомимах. Подозреваю, что так она ведет себя только со мной.

Конечно, ее мозг не мог атрофироваться. Она по-прежнему управляет Бил-Холлом, это немалый труд, на плечах Мод бесчисленные заботы — огромный дом, угодья, перестроенные конюшни, мирские потребности приезжающих ученых, армия, хоть и небольшая, наемных рабочих — некоторые приходят каждый день, другие появляются, когда в них есть нужда. Ее офис помещается за старой кухней — эта просторная комната когда-то была кладовкой дворецкого. Там Мод можно застать по будням между восемью часами утра и часом пополудни; иногда она занята целый день, верша суд над провинившимися рабочими, или споря с ними по поводу сверхурочных, или производя им выплаты, или

[98] Примечания: 98
«Панч» — английский иллюстрированный юмористический журнал.

помогая нам с Бастьеном составлять квартальные и годовые отчеты для попечительского совета. Все эти дела она выполняет эффективно и быстро, с умом и юмором.

Только со мной — когда она, так сказать, «сама по себе» — Мод изображает глупую старуху, играя свою любимую роль. Я с трудом выношу это. Иногда мне кажется, что схожу с ума. Может, потому она так себя и ведет.

В последние годы Мод взялась писать мемуары, главу за главой, но не удостоила меня даже беглым знакомством с ними. Она выболтала мне свою затею однажды вечером после того, как истощила свой запас джина и перешла на коньяк, но сразу же вспылила, когда я спросил, нельзя ли мне взглянуть.

— Не твое дело, — презрительно фыркнула она. — Тебя там даже нет.

Кстати о краже, которую она совершила, чтобы обеспечить себе будущее: эти деньги не понадобились. За последние несколько лет Мод скопила немалый капитал, гонорары за ее романы, действие которых происходит в начале века (все до сих пор успешно продаются). Она пишет под псевдонимами Пенелопа Трехён для «Мельмот пресс» и Лона Деверё для «Адэ букс». Мод очень

сдержанна в отношении своей работы и не хочет ни с кем о ней говорить. Она деловито стучит на старой портативной «Олимпии» за запертой дверью своего офиса; ни одного ее романа в Бил-Холле нет, так сказать, нет официально. Я прочел все, покупая тайком лично для себя. О литературных успехах Мод можно судить по ее банковскому счету и портфелю ценных бумаг.

Возможно, перемена в ее характере вызвана климаксом, но не начальной стадией — срывы настроения, холод и жар, приливы, физическая и душевная боль, осознание того, что ее исконно женские цели утрачены (незачем прельщать, уже нельзя родить), — а заключительной фазой, связанной с тотальным исчезновением месячных. Некоторые женщины сражаются с неотвратимым ходом времени, посвящая оставшиеся годы, энергию и здоровье борьбе (или попытке дать задний ход) с его разрушительным действием, стараясь удержать убегающую молодость возле прилавка с косметикой или на хирургическом столе. Мод оказалась из тех, кто капитулировал, «позволил себе расслабиться». Ее единственной неизменной заботой оставались волосы, такие великолепные в молодости и в пору прелестной женской зрелости, игравшие столь важную роль

в ее самоощущении. Отсюда Энджи Маклетвист. И все же она капитулировала: мало двигалась и растолстела, что, конечно, не принесло утешения. Думаю, Мод стала презирать себя за бесплодность, поверив, что проклята не природой, но Богом. И виноват в постигшей ее каре был я, так называемый священник, который ради удовлетворения собственной похоти извратил данное от Бога либидо, склоняя безмужнюю женщину родить ребенка вне таинства брака. Капитуляция Мод превратилась в ее месть мне. Она позволила своему телу стать дряблым и уродливым, потому что рядом в постели лежал *я*. Ее ум и остроумие, которыми я так наслаждался, исчезали — по крайней мере в моем присутствии, она высмеивала меня самым дурацким образом.

Несмотря на все это, я не верю, что Мод ненавидит меня. Мы — состарившиеся Франческа да Римини и Паоло, мы, думает она, должны быть наказаны за наши грехи. Огонь былой страсти давно угас. И она находит справедливым, что мы глотаем холодный пепел.

НУЖНО СМЕНИТЬ НАСТРОЕНИЕ. Давайте поговорим о сексе. Священнические облачения, которых я, по мнению Мод, недостоин, сослужили мне хорошую службу в начале карьеры:

сутана, как фиговый листок, частенько скрывала ненужное возбуждение. Я служил тогда в моем приходе в Южном Кенсингтоне, в церкви Блаженных Свидетельствовавших Кровью Мучениц, что на улице Бельвуар, рядом с Олд-Бромтон-роуд. Я говорю «в моем приходе», хотя фактически я был просто рабочей лошадкой тогдашнего приходского священника, отца Збигнева Калабиньского, тучного поляка со зловонным дыханием и похотливой щелью между зубами, страстного любителя свекольника и kielbasa[99]. Он поручал мне то, чего не хотел делать сам: служить заутреню, навещать в больнице хроников из числа прихожан и вести бухгалтерские книги, отчитываясь за вызывающий изумление расход церковного вина. Но вообразите ощущения молодого священника, когда он, давая гостию, видит перед собой стоящую на коленях очаровательную женщину: ее веки смежены, рот чувственно приоткрыт, головка благочестиво склонена — и тут живущий собственной жизнью плутишка молодого Эдмона Мюзика ликует. Ощущения были во сто крат сильнее, когда в последний год учебы в школе Св. Бригитты сексапильные

[99] Примечания: 99
Колбаса (польск.).

создания выстраивались в очередь, чтобы так же соблазнительно склониться перед юным священником. Да уж, приходилось радоваться своему спасительному подолу.

Я прочел написанное и думаю выбросить все это, не потому, что солгал, и не из опасения выглядеть ничтожеством. Мой легкомысленный тон преследовал одну цель — произвести впечатление. И я, подобно Мод, «позволяю себе расслабиться». Возмущайтесь, если хотите, я заслужил. Ну и черт с ним! Я подобен Отелло — он был «другим» в Венеции и на Кипре, я же — в Церкви, но без его геройства, и посему прошу вас «представить меня таким, каков я есть: не обеляя и не черня»[100]. Я точно знаю, что многие молодые священники не могли устоять перед соблазнительными язычками юных прихожанок.

ЕСТЬ ОДНА ИСТОРИЯ про Пиша, рассказанная раввином Элисдайером Клацкиным из Западного Хемпстеда, который юношей посещал бейт-мидраш[101] в Ладлоу. Был вечер Йом Кипур перед Кол

---

[100] Примечания: 100

«Отелло». Перевод М. Лозинского.

[101] Примечания: 101

Бейт-мидраш — «дом толкования», еврейское учебное заведение, где изучается талмудическая литература (иврит).

Нидрей[102], и община ждала, когда Пиш начнет молитву. Он поднялся на ноги, но не начинал. Что-то не так? Люди недовольно перешептывались.

Но в это время Пиш выглянул из окна и увидел проходящего мимо старого священника из тех, кого неиудеи называют «божьим человеком». Пиш вышел к нему, и они стали разговаривать. Священник быстро понял, что перед ним необыкновенный человек. Они были так поглощены беседой, что как бы магическим образом перенеслись к большому дому, который был целью путешествия священника. Конечно, Пиш туда не мог войти, особенно в такой праздник. Они стояли снаружи и продолжали беседу. Пиш спросил священника, почему тот не взял с собой жену. Бог, — сказал он, — *не напрасно сотворил землю; Он образовал ее для жительства* (Исаия, 45:18). Священник объяснил, что ему не позволено

[102] Примечания: 102

Йом Кипур — «день искупления», Судный день, самый святой из еврейских праздников, проходящий в строгом посте и молитвах (иврит). Кол Нидрей — «все обеты», первые слова молитвы, читаемой в Йом Кипур.

жениться. «Ну так оставьте священство, — посоветовал Пиш. — Вы ведь уже старый. Исполните мицву[103] произведения потомства, прежде чем умрете. *Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней* (Бытие, 9:7; ср. 1-28)». Священник возразил, что он из почтенного рода. И не может вступить в неравный брак, даже если бы захотел. А к тому же, какая женщина его круга выйдет замуж за старика, который связал себя столь недвусмысленными обетами? «Леди Уна, — ответил Пиш, — дочь сэра Томаса Сьюни. Вы знаете ее?» Священник ответил, что нет, он нездешний, только недавно приехал и еще не успел познакомиться с местным дворянством. Тогда Пиш описал леди Уну с самыми завлекательными подробностями: казалось, он голосом ласкал те части женского тела, которые больше всего соблазняют студента, отвлекая его от науки. Таким ярким был очаровательный образ, который Пиш живописал словами, что у

[103] Примечания: 103
Мицва — заповедь (иврит).

священника случилась поллюция. Пиш сразу же вернулся в бейт-мидраш и начал молитву Кол Нидрей.

Потом его последователи пришли к нему, и Пиш объяснил, что тогда произошло. Он рассказал, что в небе случилась закупорка, препятствующая восхождению молитвы к Самому Высшему, да будет благословен Он. Причиной закупорки был этот самый священник, который никогда не использовал свое семя, даже нечаянно во сне. С помощью Самого Милосердного, да будет благословен Он, Пиш сумел растворить закупорку, вызвав случайную поллюцию. Небеса огласились возгласами ликования.

«Но, ребе, как могли вы узнать, что у него случилась поллюция?»

«Когда мне стало невозможно стоять возле него, тогда я и узнал».

И раввин Клацкин закончил в изумлении: *«И возложит Аарон все беззакония сынов Израилевых на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню»* (Левит, 16:21).

ЗА НЕСКОЛЬКО ПРОШЕДШИХ до сего дня десятилетий, относительно спокойных, я несколько расслабился, стал, пожалуй, слишком изнеженным и уязвимым. Мне следует защищать твердыни свои — препоясать чресла мечом, занять место у стен с бойницами и так далее, ибо в небе на горизонте я узрел небольшое облачко, величиной с ладонь. Бдительность, бдительность. Час кометы продолжается. Бастьена тоже нужно обуздать. Прошлым вечером У.К. — его рот дергался в деланной ухмылке — намекал на «Pax Tecum!»[104], тем самым предостерегая, что меня могут атаковать с любой стороны.

Позвольте объяснить. Затея с «Pax Tecum!» началась вполне невинно. Одна прихожанка — цыганка, женщина средних лет и легчайшего поведения, чьими пылкими услугами дважды или трижды воспользовался Бастьен, — покинула наши места, уехав в свою родную Балимену в графстве Антрим, но прежде выразила Бастьену сожаление, что больше не сможет у него исповедоваться. (Она сожалела не столько о банальном физиологическом акте, сколько о возможности выбалтывать Бастьену свои сексуальные фанта-

---

[104] Примечания: 104
Мир с тобой! (лат.)

зии.) Бастьен, конечно, исповедался мне в своем простительном грехе. И я получил удовольствие в исповедальне — подозреваю, не меньшее, чем они в постели. Из таких проделок рождаются богатые фантазии, как говорит поэт.

— Вот и хорошо, — сказал я ему шутя, — если она сильно заскучает по тебе, скажи, пусть исповедуется по телефону.

Хотите верьте, хотите нет, дама так и сделала. Вскоре ее примеру последовали некоторые подруги. Весть разнеслась. Бастьен стал принимать звонки с обоих берегов Ирландского моря[105]. Мой дорогой дружище Бастьен. Он, я думаю, как монах-кармелит Чосера, «с приятностью исповедал, охотно прегрешенья отпускал, епитимья его была легка»[106]. Ему неожиданно явилась та же мысль, что и задолго до него веселому кармелиту: в этом деле могут быть деньги, «щедрый покаянный дар»[107]. Ведь Бастьен никогда не теряет крестьянской практичности. Так родилось «Рах

---

[105] Примечания: 105

Ирландское море разделяет государство Ирландия и Северную Ирландию, входящую в состав Великобритании.

[106] Примечания: 106

Чосер Д. Кентерберийские рассказы. Перевод И. Кашкина.

[107] Примечания: 107

Там же.

Tecum!» — его платное телефонное пастырство.

В последующие годы «Pax Tecum!» делал деньги — небольшие, по сегодняшним меркам, но достаточные, чтобы у Бастьена были и «Голуаз», и полная кружка для бедных, и деньги на свечи, а еще он откладывал на скромное приданое для племянницы, дочери его сестры из Артуа.

Однако стали распространяться слухи — и не только в окрестностях Била и соседнем Ладлоу: если верить У.К., они уже достигли отдаленных Шрусбери и Киддерминстера. Якобы один священник заявляет, что у него прямая телефонная связь с Богом, и обманывает легковерных новой хитростью «исповедь по звонку». Пока что слухи циркулируют, если можно так сказать, только среди протестантов, которые изумляются этому новому свидетельству невежества и предрассудков среди католиков. Викарий Св. Ботолфа в соседнем Димсопском монастыре в своей проповеди в прошлое воскресенье презрительно упомянул о «католических пародиях на веру», о «безрассудном и бесстыдном использовании коммерческой технологии», чем занимаются «наши добрые друзья в Бил-Холле». К счастью, инвективы викария услышали только трое прихожан, пришедших на проповедь в тот день, — его жена,

его любовница и муж любовницы, церковный служитель. С другой стороны, этот последний работает в «Киддерминстер гардиан». Правда, он там всего лишь рекламный агент. Но опасность, что вмешается пресса, слишком велика. Хотя, честно говоря, все это заслуживает только шутки за чашкой чая и не стоит и ломаного пенса.

Я подумывал перейти в сдержанное контрнаступление. «Наш добрый друг» в Св. Ботолфе со своей бесстыжей любовницей в конце концов не самый впечатляющий пример моральной добродетели. Я уж не говорю о его скандальном предшественнике, который постоянно появлялся в Тэсл и Фезе-клубе на Дин-стрит, знаменитых в Сохо, где он познакомился с Беллой Косабеллой, артисткой или sui ipsius nudator[108], также известной как Джоэни Диксон. Через пять лет он бросил жену и троих детей, приход и Церковь и обосновался в Лутоне, где они с Беллой занялись стрижкой пуделей.

Но, увы, я стар и слишком устал, чтобы ввязываться в сражение. Кроме того, я бы только навлек на себя новый гнев епископа Мак-Гонала, чего и добивается Тумбли, несчастный холуй.

---

[108] Примечания: 108
Сама себя раздевающая (лат.), стриптизерша.

Нет, придется сказать Бастьену, чтобы он кончал со своей телефонной исповедальней, и поскорее.

Сифилис их возьми![109]

ИНОГДА Я ДУМАЮ, что мне как католику лучше живется в Англии, чем в родной Франции, потому что я не понаслышке знаю, что значит быть евреем. Англия — формально протестантская, а по сути атеистическая страна, — смотрит на еврея и католика с одинаковым подозрением. Оба аутсайдеры, не способные до конца слиться с большинством. Оба кажутся загадкой и как будто вечно затевают недоброе, поскольку изначально хранят верность не Англии, а какому-то другому месту. Во Франции еврея презирают; до сегодняшнего дня над этой страной все еще витает тень несчастного оклеветанного Дрейфуса. В Англии же слово «презирать» звучит слишком сильно: большинство англичан чувствуют лишь легкое отвращение, которым они одаривают, не делая различий, как еврея, так и католика. Для еврея из Франции английское безразличие — освежающий ветерок. Для еврея в католическом церковном одеянии — это блаженное облегчение.

---

[109] Примечания: 109

Фонетическая игра слов: «Pax Tecum!» — «pox take ‘em!»

Если верить старой (еврейской) шутке, что антисемит — это тот, кто не любит евреев сильнее, чем это необходимо, то англичанин стремится не выходить за соответствующие рамки.

Но что произойдет с евреем-католиком в стране Израиля?

Я уже говорил, что стал сиротой летом 1942 года. Моя мать последовала за своим сердцем в Париж, и ее предали, мой отец исчез в НОЗ, откуда прислал в Орлеан только одну короткую записку, призывая нас с мамой ехать к нему в Сен-Понс. Но пытался ли он снова связаться с нами, узнал ли об участи жены, проявлял ли беспокойство о сыне — на эти вопросы страницы моей (до сих пор мифической) личной истории не дают ответа. «Pauvre enfant, — сказала мадам Гупий, моя тетя Луиза, поглаживая меня по голове. — Pauvre p'tit gars»[110]. Через месяц она отвела меня к кюре Диндену, завернув мои немногочисленные пожитки в грубую оберточную бумагу, отмыв дочиста колени и сводив постричься. Спустя два дня я уже был в сиротском приюте.

В конечном счете я отправился на поиски отца; я так же мало похож на Телемаха, как мой отец

---

[110] Примечания: 110
Бедное дитя. Несчастный малыш (фр.).

— на Одиссея. Распрощавшись с отцом Калабиньским в Южном Кенсингтоне, я приехал во Францию и, прежде чем приступить к занятиям в Париже, сел в поезд и отправился в Безье, а оттуда автобусом в Сен-Понс. Но там не нашлось и следов отца. Я наводил справки, где только мог: в полиции, на почте, у официанта в бистро и у хозяина мрачного бара на маленькой площади Победы. Никто не помнил Конрада Мюзича, никто даже не слышал о нем. В этом пыльном, выжженном солнцем Сен-Понсе на иностранцев смотрели с подозрением. Мой отец не мог быть здесь особенно счастлив. Только мадам в местном борделе выслушала мой рассказ с интересом и сочувствием. Она отложила в сторону роман Камю — кажется, это был «Посторонний», и предложила мне чаю и очень вкусные пирожные с кремом. Увы, она тоже не могла помочь, но эта сострадательная дама предложила мне одну из двух своих девушек за полцены или — если я такой герой, каким кажусь, — обеих страстных красавиц по цене одной.

Я нашел отца много лет спустя — в Тель-Авиве — и совершенно случайно, когда уже перестал искать его. Это случилось так. В библиотеке Бил-Холла есть три старинных экземпляра полного

Талмуда, один — напечатанный в Анконе в 1534 году, другой — в Венеции в 1538-м и третий — в Авиньоне в 1541 году. Они были приобретены сэром Персивалем Билом, коллекционером диковин и редкостей, и прибыли в Бил-Холл в одном сундуке с крошечным мумифицированным эмбрионом, гигантским пальцем ноги какой-то древней статуи, закупоренным стеклянным пузырьком с подлинными слезами Богоматери и, конечно, печально известным в Биле «китовым членом», по сей день свешивающимся с люстры в бывшей спальне сэра Персиваля. В 1963 году кураторы Музея Табакмана в Тель-Авиве задумали выставку древнееврейских инкунабул[111] и пригласили меня в Израиль — «за наш счет, разумеется» — для предварительных переговоров, цель которых заполучить Талмуды из Бил-Холла для выставки. Конечно, я согласился. Почему бы и нет? Я никогда не был в Израиле.

Я остановился в отеле «Парадиз» на улице Заменхов, названной в честь изобретателя эсперанто. Улица Заменхов начиналась у площади Дизенгоф, Étoile[112] Тель-Авива, но, как и эсперан-

---

[111] Примечания: 111
Инкунабулы — книги, изданные до 1501 года.

[112] Примечания: 112
Площадь Звезды в Париже.

то, заканчивалась тупиком. Что касается отеля «Парадиз», то для него больше подошло бы название «Инферно». Узкое здание, зажатое между двумя безликими многоквартирными жилыми домами, встречало постояльцев изматывающей августовской жарой, которая не спадала даже ночью. Я лежал без сна, голый и несчастный, на влажных от пота простынях. В первое же утро по приезде я купил туристическую униформу: шорты цвета хаки, белую рубашку с короткими рукавами, сандалии и цвета хаки же идиотскую панаму, похожую на шляпу Пиноккио из фильма Диснея. За время моего пребывания в Израиле я выпил галлоны апельсинового сока, холодного кофе и чая со льдом.

Но я отвлекся. После всех этих лет трудно было рассчитывать на встречу с отцом. Но как же подурацки все произошло! Сегодня я старше, чем он был тогда. Старше в несколько ином смысле, чем имел в виду поэт Вордсворт, говоря, что «ребенок — отец мужчины». Почему я так себя вел? Ну, хорошо. Итак, к делу.

Я почти завершил переговоры с гостеприимными хозяевами из Музея Табакмана, тремя отличными парнями, культурными европейцами с лагерными номерами на запястьях, и у меня

оставалось три дня до возвращения в Англию. Я подумывал махнуть в Иерусалим, посетить несколько христианских святынь, пройти по Via Dolorosa, потом увидеть Галилею, короче — совершить паломничество, чего от меня наверняка ожидали мой епископ и мои единоверцы. «Ты победил, о бледный Галилеянин, / От твоего дыхания стал серым мир». Ну, может и так. Хотя в средиземноморских странах не так уж много серого цвета.

Так я размышлял в пятницу после полудня, сидя за столиком в кафе «Вперед» на улице Дизенгоф, «главной улице», как называют ее тамошние американские евреи. Дизенгоф в этот предсубботний час[113] была полна народу. Гуляли под руку пары, старые и молодые; целые семьи прохаживались взад и вперед — всем хотелось людей посмотреть и себя показать; многие приветствовали друг друга, останавливались с друзьями и знакомыми. Кафе вдоль улицы тоже не пустовали, люди за столиками оживленно разговаривали, смеялись, жестикулировали. Несмотря на то, что меня мучила жара, зрелище на Дизенгоф заряжало бодростью и возбуждало.

---

[113] Примечания: 113
Еврейская суббота начинается в пятницу с первой звездой.

Через два столика от меня сидел толстяк в черном костюме и черной шляпе, сама его поза выражала глубочайшее уныние. Его локти лежали на столе, кулаками он подпирал бледное лицо. Изо рта свисала соломинка, которой он описывал круги по дну пустого стакана. Было в нем нечто неуловимое, что я, казалось, узнавал: взгляд, это выражение тоскующего неудачника. Он похож на моего отца, подумал я, даже на минуту не допуская, что это он. Однако сходство было разительным, и мелькнула мысль, что этот тип мой родственник, например, кузен. Была не была. Я шагнул к его столику. Он медленно поднял на меня глаза с покрасневшими веками, потом медленно поднял голову. Соломинка по-дурацки повисла на губе. Ему не мешало бы побриться.

Я заговорил с ним по-французски.

— Простите пожалуйста, что помешал, — сказал я, — но вы случайно не родственник Конраду Мюзичу из Дунахарасти?

Он прищурился, с подозрением глядя на меня, соломинка выпала, удачно угодив в стакан.

— А вам зачем?

— Я подумал, что мы, возможно, родственники. Меня зовут Эдмон Мюзич, правда, теперь я Мюзик. Родился я во Франции, но мои родители

приехали из Венгрии, из города, который называется Дунахараст.

Выражение смертельного страха исказило его лицо. Он привстал, потом тяжело опустился на стул.

— Эдмон? О, боже, боже мой! Я знал! Разве я не говорил всегда? Я знал это!

Он уронил голову на руки, его плечи затряслись — он рыдал.

Значит, я его нашел! Я огляделся по сторонам с некоторым смущением, но никто не обращал на нас особого внимания. Подобные сцены — обычное дело в Израиле. Я сел напротив него.

— Все хорошо, отец. Все хорошо.

Но так ли уж хорошо все было? Эта ходульная сцена узнавания словно сошла со страниц какого-то чувствительного романа. Однако что же мне делать с этой рыдающей развалиной, сидящей передо мной? Больно и стыдно так говорить, но если я в тот момент и испытывал какое-то чувство к отцу, то это было легкое отвращение.

Он поднял голову.

— Я не мог приехать за тобой. Там повсюду были шпионы. Это не моя вина. — Его тон стал обвиняющим. — Чего ты от меня хотел? Чего? Чтобы я попал в лапы гестапо? Это никого бы не

спасло. Что я мог сделать?

— Я понимаю. Конечно, понимаю. Тебе не нужно оправдываться. Незачем, правда. — Я положил ладонь на его руку, утешая.

— Оправдываться? Кто оправдывается? — Он рывком высвободился. — Это все ее вина. Если бы она не сбежала в Париж как шлюха, потакающая своему пороку, мы все были бы вместе, в безопасности. Но нет, она сбежала, отказалась от своего ребенка, от своего мужа, забыла свой священный долг. Вот и получила что заслужила! — Отец снова уронил голову на руки, и его плечи затряслись.

Я вгляделся и увидел человека, который пытается увернуться, словно боится, как бы в него не бросили камень.

Когда он поднял голову, глаза его были сухие.

— Я ведь зарегистрировал ее смерть в Яд Вашем[114], — деловито сообщил он. — Заполнил анкету. Это все, что я мог сделать для нее, шлюхи.

— Она была моя мать!

— У тебя теперь есть гораздо лучшая мать.

Хоть убейте, но я подумал, что он имеет в виду

---

[114] Примечания: 114
Яд Вашем — музей Катастрофы в Иерусалиме.

нашу святую матерь Церковь.

— Возможно, — кивнул я, — но почему ты даже не пытался искать меня после войны?

— Ты не знаешь, что тогда творилось. Все было вверх дном, суматоха, полный хаос. Все друг друга искали. Это было невозможно. — Он взглянул на часы. — У тебя теперь есть брат и еще сестра.

Тут я понял. Отец снова женился.

— Мне пора, — сказал он. — Скоро начнется суббота. Приходи к обеду, познакомишься с твоей новой семьей. — Он вынул клочок бумаги из бумажника, разбухшего от таких же листочков, и написал свой адрес. — Прямо отсюда пятый номер автобуса. — Он кивнул на автобусную остановку. — Спроси водителя, где тебе выходить. Нам нужно о многом поговорить. — Он поднялся. — Сегодня для меня, — произнес он уныло, — самый счастливый день, день, как говорит ребе Нахман, который надо поминать в молитвах. Надеюсь, для тебя тоже. В шесть тридцать. — Он замолчал, бросив взгляд на мои шорты и панаму. — Оденься. Это шабат.

И, неуклюже двигаясь, этот клоун, этот еврейский Оливер Харди[115] быстро исчез в толпе.

---

[115] Примечания: 115

Харди Оливер Норвел (1892–1957) — американский комический киноактер.

Что заставило меня пойти? Какой-то бес упрямства, не иначе. Найдя отца, я желал только одного — потерять его снова. Лучше образ отца, живущий в памяти, приглаженный, с наведенным глянцем, отретушированный мягким светом ностальгии, чем тот живой человек, только что сидевший передо мной, несчастный, жалеющий только себя, непрощающий, ожесточившийся и еще бог знает какой! И все же я пошел.

По адресу, который дал мне отец, я нашел четырехэтажный бетонный многоквартирный дом, присевший на четыре бетонных столба, безобразной архитектуры в окружении других, точно таких же. Я поехал на такси, а не на автобусе, и правильно сделал, иначе никогда не нашел бы его дом. Я огляделся вокруг. В наступающей темноте не было и намека на то, что неподалеку катит свои волны Средиземное море, — ни звука, ни вида, ничего, чтобы я понимал, где нахожусь, — только вездесущий песок, который просачивается сквозь щели в тротуаре и скапливается по краям дороги.

Слабый свет, освещавший лестницу, пока я поднимался на третий этаж, погас, как только я остановился перед дверью квартиры. Изнутри доносилась перепалка. Я слышал пронзительный

женский голос, потом что-то гортанно забормотал мужчина. Я постучал. Сразу наступила тишина. Я снова постучал. Дверь открылась, меня неожиданно ослепил яркий свет. Передо мной стояла маленькая девочка лет шести или, может, семи: ее лицо было хорошенько вымыто по случаю субботы, она слегка косила, и когда улыбнулась, оказалось, что у нее не хватает нескольких зубов. Она явно отрепетировала то, что собиралась сказать, начала с восторгом и кончила потрясением.

— Шабат шалом[116], Эдмон.

Говоря это, она радостно взглянула на меня, но тут же круто повернулась и опрометью умчалась в другую комнату с криком:

— Папа, папа, иди скорей!

Мой отец велел мне одеться для субботнего застолья. Единственной строгой одеждой, которую я взял с собой, было мое церковное облачение — черная сутана и ошейник. Конечно, я мог бы купить белую рубашку с открытым воротом и надеть ее, что, собственно, и сделал. Но добавил к ней еще и ошейник: мною управляла злость, я надеялся хотя бы рассердить отца. После всех тех

---

[116] Примечания: 116
Субботнее приветствие (иврит).

лет мне все еще хотелось отомстить ему. Зачем? Конечно, я уже понял, что этот слабый, сломленный унынием человек не станет другим. Прошлое похоже на затвердевшую в янтаре мушку — мы можем заглянуть в прошлое, но не можем его изменить. Хотя я понимал, что отцу явно этого хотелось. Как еще объяснить его неожиданную и ничем не спровоцированную агрессивность в разговоре со мной?

О чем я не подумал, так это о том, что мой ошейник может расстроить и других. Женщина лет сорока выглянула из той двери, за которой спаслась бегством девочка. Очень загорелая, вьющиеся длинные волосы падали на плечи. Глаза у нее сильно косили, а когда она заговорила, я заметил золотые коронки на клыках.

— Минутку, пожалуйста. Ни шагу дальше.

Она дотянулась до дверной ручки, к которой был подвешен на цепочке большой плоский глаз.

Ну нет, еще посмотрим, чья возьмет. Я достал из кармана простой серебряный крест и повесил его на шею. В комнате раздался пронзительный женский визг. Потом я услышал голос отца:

— Хватит, Нурит! Ничего не случится, он не хочет зла ни тебе, ни детям, даю тебе слово. Ему

нужен я. Возьми Бенни и Дафну на кухню. Зажгите субботние свечи, сделайте хоть что-то полезное.

Воспользовавшись их перепалкой, я вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Но тут появился мой отец и встал передо мной, заступив дорогу: вены на его висках пульсировали, он грозил мне пальцем:

— Apicoros![117] Как ты посмел осквернить еврейский дом этим крестом? Иди вон, я не могу видеть тебя! Ты уже забыл, кто научил нацистов сжигать евреев? Этот урок, который они хорошо выучили, бросив в печь твою собственную мать? Не важно, какой она была женой, — она была человеком. — Он поднял глаза к потолку. — Скажи мне, Господи, что я сделал, чем заслужил, что ты так наказываешь меня?

Отец явно хотел походить на ветхозаветного пророка. Но он был слишком толстым и рыхлым для этой роли. Его голос, как это часто случается со слабыми людьми, срывался на фальцет, хотя ему хотелось изобразить грозный рык.

— Не беспокойся, я не собираюсь оставаться. Зашел по пути. Только помянуть маму. Хотя ты сам

---

[117] Примечания: 117
Предатель, отступник (иврит).

позвал меня. «Познакомишься с новой семьей», — напомнил я. — И вспомни, отец, ведь ты тогда согласился с мамой, чтобы меня окрестили.

— Чтобы спасти твою жизнь! — взвизгнул он. — Пикуах-нефеш![118] Спасти жизнь! На какое-то время, не навсегда!

Из комнаты донесся звучный шлепок и детский вопль. Отец покраснел до корней волос, пот проступил у него на лбу. Правым кулаком он начал стучать по груди, там, где было сердце.

— Успокойся! — встревожился я. — Я ухожу.

Отец старался унять дыхание.

— Нечестивец! Нечестивец! — стучал он по груди.

Я на ощупь потянулся к дверной ручке за спиной.

— Видишь, я ухожу.

— Никто не просил тебя становиться священником. Кто тебя просил? Я тебя просил? — Он упал на стул у стены, этот толстяк, этот клоун, мой отец, от его падения задрожал под нами пол и закачалось на стене зеркало в тяжелой раме. — Крест! Он носит крест! В моем доме мой

---

[118] Примечания: 118

Пикуах-нефеш — заповедь, утверждающая ценность человеческой жизни, ради которой должно нарушить любую другую заповедь (иврит).

сын носит крест! — Неожиданно он горько рассмеялся. — Ты не мой сын! Возвращайся к своим гоям, предатель! Валяйся, как chazer, как свинья, в своем предательстве. Ты разве не знаешь, что Гитлер сдох почти двадцать лет назад? Я благодарю Бога за это, я благодарю Всемогущего, baruch hu[119]. А как ты должен был прожить эти двадцать лет? Я тебе скажу. За это время ты должен был разобраться во всем и отвергнуть эту скверну — твое отступничество. «Если я забуду тебя, Иерусалим…» Посмотри на твою правую руку, отступник, — он ткнул в нее, давясь словами. — Она усохнет, совсем отсохнет.

Не вставая со стула, он потянулся за амулетом жены — тот так и остался висеть на цепочке. Схватив его, он стал размахивать им передо мной, наклонив голову к коленям, его плечи вздрагивали, он пытался перевести дух.

Плоский диск качался, поворачиваясь recto и verso[120], — с той и другой стороны глаз злобно сверлил меня. И я выскочил из дома моего отца, спасаясь бегством в темноту. Но не смог избавиться от глаза.

---

[119] Примечания: 119
Благословен Он (иврит).

[120] Примечания: 120
Левая сторона, правая сторона (лат.).

ТОТ ГЛАЗ ВСЕ ЕЩЕ ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ, хотя, по прошествии стольких лет, не смотрит уже так укоряюще. Гитлер отправился на тот свет более полувека назад, так давно, что для большинства тех, кто сегодня помнит или хотя бы слышал о нем, фюрер — часть смутного прошлого, где бродят тени Чингисхана, Наполеона, Калигулы, судьи Джеффри и монстра Гренделя[121]. Евреи, конечно, не забыли его. Они стремятся — мы стремимся? — сохранять живую память о его преступлениях в умах неевреев, сражаясь с целой армией тех, кто отрицает сам факт Холокоста, и с неумолимым ходом времени. В наши дни еврейский юноша может слетать из Лондона в Польшу, чтобы на скорую руку совершить экскурсию по Освенциму, включающую и кошерный ланч в тюремном бараке. Но мне иногда кажется, что даже в сознании еврейской молодежи Гитлер уже занял свое место в мифическом царстве Фаруха и Тита, Фердинанда и Изабеллы, конклава Пап и кучи царей. Я, конечно, помню Гитлера. И однако, вопрос отца все еще мучает меня. Почему в конце войны я не отбросил эту бессмыслицу?

---

[121] Примечания: 121

Джеффри Джордж (1645?-1689) — английский судья, прославившийся взяточничеством и жестокостью; Грендел — герой староанглийской поэмы «Беовульф».

Мой заклятый враг подох, почему я не сбросил маску, надетую ради того, чтобы выжить? И еще более актуальный вопрос: за каким дьяволом я согласился еще на одно притворство — стать священником, — когда в притворстве уже не было нужды?

Ответов у меня нет. Иногда я думаю, что, подобно Макбету, переходящему свою реку крови, я так далеко зашел в море католицизма, что повернуть назад было бы «еще нуднее, чем продолжить путь». Хорошее это слово «нуднее» — точное. В нем слышится тягучий звук, напоминающий о бездне. Настоящий кошмар для Макбета и для меня, гораздо бóльший, чем быть по колено в крови, — это осознание внутренней опустошенности.

Обвинять меня в лицемерии слишком просто. Это объясняет все и не объясняет ничего. Лицемерие — константа человеческого состояния, оно неизбежно и так же необходимо для нашего здоровья, как еда и питье. Для меня священство было просто работой — не хуже и не лучше любой другой. И, должен признаться, по большей части… «нудной». Во времена моей молодости я иногда бывал увлечен частностями или с особой остротой переживал ту или иную интеллектуальную

проблему. Иногда даже испытывал нечто вроде азарта. Но случалось это редко. Должно быть, терпимой эту работу делали (и делают) искусство и музыка, но, чтобы наслаждаться искусством, не нужно быть священником. Вот почему я не выбрался из всего этого при первой же возможности, а принял щедрый дар моей дорогой Кики, предпочитая руководить делами здесь, в Бил-Холле, и взвалив их исполнение, насколько это возможно, на Бастьена и наезжающую братию. В общем, то, что в начале моей карьеры казалось по крайней мере интересным, обернулось своей прямой противоположностью. До каких пор я, подобно философам вроде Сократа, собирался утешаться тезой «чем хуже — тем лучше»? Я быстро перегорел, потеряв способность сочувствовать наивности тех, кто верил бессмыслице, хотя моей задачей как раз и было заставлять их верить. Больше всего меня беспокоила мысль о детях, невинных младенцах, на чьи плечи мне надлежало взваливать вековое зло.

В конце второго тысячелетия нелегко верить в доброго, деятельного Бога. На Западе, по крайней мере в Западной Европе, полагают, что современные верующие либо введены в заблуждение, либо у них не хватает винтиков в голове. В океане

веры — время отлива. В наши дни мы можем повторить вслед за Мэтью Арнольдом[122]:

слышится только

Печальный и долгий рев его искаженный,

С дыханьем ночных ветров отступающий

В бескрайнюю даль обнаженную

Лишаем пораженного и тоской ограненного мира.[123]

Парадоксально, но именно рецидивы фундаментализма в большинстве религий мира указывают на упадок веры, ибо фундаменталист, с точки зрения свободного от суеверий и предрассудков большинства, — это задвинутый тип и опасный человек, готовый навязывать свое представление о праведной жизни остальным, присвоив себе право на принуждение, вооружившись в прямом смысле этого слова. (В Америке, судя по всему, верно обратное.)

Осмелюсь предположить, что большинство из

---

[122] Примечания: 122
Арнольд Мэтью (1822–1888) — английский поэт.

[123] Примечания: 123
Перевод Е. Пучковой.

нас — те, кого беспокоят подобные вещи, — давно пережили разрыв между верой и Богом. Бог сделался чем-то неуместным, бумажным тигром, букой, которым пугают детей. Во что мы сегодня верим, так это в универсальное зло — горькое лекарство больше помогает в зрелые годы. Мы смотрим вокруг себя и видим мир, пронизанный злом, мир, в котором всякая власть коррумпирована, а гуманность обесценена. Более того, мы знаем, что ничего не можем с этим поделать. Вера в универсальное зло спасает нас от отчаяния. Мы вновь обретаем способность постигать горизонт конечного смысла. Конечный смысл, в конце концов, — это то, чего мы жаждем как вид. Поверив в универсальное неотвратимое зло мы вновь обретаем немногое из того, что было утрачено человечеством с исчезновением Бога из нашей повседневной жизни. Теперь мы можем признать, что живем в наихудшем и самом хаотичном из времен, что все разбито вдребезги, все связи распались, что содомский, а не Божественный Закон управляет нашими жизнями, что надежда — жесточайшая из самых жестоких шуток, поскольку мы рождены, чтобы страдать. Я иногда думаю, что единственные слова в Новом Завете, которые созвучны реальной

жизни, это «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?». Древние верили в четыре века — золотой, серебряный, бронзовый и железный. Мир давно пребывает в железном веке, и, как заметил поэт Донн, «он сильно проржавел». Что эта новая вера может предложить нам, так это гносеологическую убежденность, с ней мы совершенно уверены, что владеем истиной.

Поэтому то, что я предал, был не Бог евреев, не древняя вера, но сами евреи, мой собственный народ. Когда сначала, чтобы спасти свою жизнь, я примкнул к врагу, повесил крест на шею, преклонял колени перед раскрашенными идолами, глотал и пил, подобно каннибалу, то, что, как мне говорили, было реальным телом и кровью еврея Иисуса, — тогда я предавал шесть миллионов, и миллионы до них, и множество миллионов, которые будут после. Не имеет значения, что я ничему из этого не верил. Иезуитский принцип reservatio mentalis[124] не помогает ни на йоту. Я сам знаю, что предатель. Вот почему я все еще вижу глаз, свисающий с цепочки, которую раскачивает передо мною мой отец.

---

[124] Примечания: 124

Мысленная оговорка (лат.), один из приемов казуистики, используемый в практике иезуитов: давая клятву вслух, иезуит про себя произносит reservatio mentalis, тем самым отменяя данную им клятву.

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС, как я его понимаю, в наши дни подвергается ревизии — фрейдистская буржуазная интерпретация мифа переворачивается с ног на голову. Много лет назад я видел замечательную карикатуру в «Нью-Йоркере», страницы которого лениво пролистывал однажды после обеда, прибыв заблаговременно к протестантам на Пэл-Мэл, куда меня пригласили, что лестно, сделать сообщение для тех, кого оно могло заинтересовать, на тему «Сэр Персиваль Бил и редчайшая из редкостей». Карикатура изображала разгневанную даму, волочащую малыша из приемной детского психиатра. «Эдип, Шмэдип! — говорит она. — Пока что он любит свою мамочку». Сейчас же полагают, будто *на самом деле* Эдип хотел убить не отца, а свою «мамочку». Смысл трагедии видят уже не в том, что он уступил своим подсознательным желаниям и убил отца, чтобы овладеть матерью, нет, его ужас от инцеста есть своего рода вытеснение, способ не смотреть в лицо невыносимым последствиям детской заброшенности. Ведь Иокаста, мать Эдипа, не пришла ему на помощь, когда отец искалечил его и оставил на горе умирать. Мы не сможем понять значение героя, его новую философию, если по-прежнему будем думать о

нем как о носителе Эдипова комплекса.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКИНУТЬ ИЗРАИЛЬ, я в битком набитом автобусе поехал в Иерусалим и добрался на такси до Яд Вашем, у горы Хазикарон, на холме Памяти. В Зале Имен я нашел имя матери. Моя реакция была столь же бурной, сколь и неожиданной. Я согнулся пополам, будто получил удар в живот, и упал на колени. Двадцать лет прошло с тех пор, как моя мать поднялась пылинками пепла в безжалостные небеса над Освенцимом. Двадцать лет, а сын так и не оплакал ее. Для меня она была мертвой/не-мертвой, пребывающей где-то между тем, что знает ум, и тем, что чувствует сердце. Но сейчас я понял, что ее нет, понял это как бесспорный факт, и это знание сбило меня с ног. Там, на полу перед ее именем, я, задыхаясь, хватал ртом воздух, пока дыхание наконец не вернулось, и меня сотрясали рыдания.

Потом я просидел в Зале Памяти несколько часов неподвижно, молясь, медитируя. То, что я испытал, было похоже на раздвоение, на отчуждение от своего «я». Кем или чем я был? Я был евреем, я был католическим священником, я был ребенком, потерявшим мать. Я был и не был Эдмоном Мюзиком.

Еврейские мученики указывали на меня кост-

лявыми, как у скелета, пальцами:

— Он предал нас, он покинул нас, он с ними.

— Нет, — отвечал я им, — в душе я остаюсь свободным.

— Тогда оставь их. Почему ты не оставляешь их? Займи свое место среди нас, иди к нам.

— Но вы умерли. Как я могу прийти к вам?

— Умри.

Наверно, я был похож на сумасшедшего. Наверх, туда, где я сидел, раскачиваясь, как ортодоксальный иудей в синагоге, поднялся уборщик. Он носил ортопедический ботинок с подошвой по меньшей мере в фут высотой. Гулкий звук приближающихся шагов вырвал меня из оцепенения. Под левым глазом у него было ужасающе безобразное, огромное фиолетовое родимое пятно, по форме напоминающее паука.

— Богу не нужно, чтобы вы убивали себя горем, — сказал он и протянул мне листок бумаги. — Вот. Прочтите кадиш и идите домой.

Я прочитал и пошел.

Кого мне благодарить за это непрошеное вмешательство? Уборщика, чье простодушное сочувствие вернуло мне статус человека? Уж конечно, не Бога, в которого я никогда не верил. И все-таки уборщик воскресил меня к жизни, как

когда-то ангел Илию в пустыне.

Часть четвертая

Никакой активности после еды, будь то физические упражнения, или совокупление, или купание, или умственная гимнастика, мешающие усвоению пищи.

***Моше Маймонид*[125].**
«Трактат о геморрое»

Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.

Псалтырь, 119:2

Я ТАК И НЕ КУПИЛ другую машину вместо разбитого «моррис-минора» и поэтому вынужден был все время оставаться дома. Не то чтобы мне нужно было куда-то идти, просто из-за моих старых костей и несчастных шишек прогулка даже на небольшое расстояние стала мучительной. Коттедж майора был пределом моих пешеходных возможностей. В результате я пристрастился блуждать по коридорам и многочисленным комнатам Бил-Холла и, будто впервые разглядывая

---

[125] Примечания: 125

Маймонид Моше (бен Маймон) (1135–1204) — еврейский философ; был придворным врачом египетского султана Саладина.

хранившиеся там сокровища, подолгу засиживался в каждой комнате, осматривая все вокруг. Как же мне повезло с Кики!

«Моррис-минор» списали со счета. Да он ничего не стоил задолго до того, как врезался в Стюартов дуб. На прошлой неделе ко мне заглянул Бочонок, скорее всего сообщить, что «парни в суде» больше никого не подозревают в «нечестной игре», что Тревор сам виноват: не нужно было ехать на такой сумасшедшей скорости в машине с неисправными тормозами — он ведь об этом знал — и что стряпчие свояченицы Тревора в Уигене убеждают ее отказаться от заведомо проигрышного судебного разбирательства. Покончив с официальной частью, Бочонок предался воспоминаниям о храброй мартышке из Калахари, судя по всему прирожденной альтруистке: вытянувшись в струнку, она самоотверженно вела наблюдение за небом и окружающей пустыней, чтобы предупредить о появлении ястребов и других хищников своих товарок, которые тем временем рыскали вокруг в поисках деликатесных скорпионов и толстых мышей.

Все это полная ерунда: натуралисты доказали, что ни одна мартышка не встанет на вахту, пока не наполнит желудок. И даже тогда ее бескорыст-

ная забота сомнительна. Раньше других заметив опасность, она или первой бросится в укрытие, или же хладнокровно растворится в аду свалки, визга и свиста, вызванных ее сигналом.

Альтруизм, если он вообще существует, выдумка людей. Хотя, скорее всего, его просто нет.

Бочонок зашел повидаться со мной, явно желая разнюхать, не грозит ли ему чем-нибудь его приключение со сладострастной Билиндой на кухонном столе в Бенгази. Но это не тот вопрос, который обсуждают «в лоб», без подходцев. Я сидел за столом в Музыкальной комнате. Бочонок стоял передо мной навытяжку, держа шлем левой рукой, и сосредоточенно изучал замечательный портрет Баал Шема из Ладлоу работы де Куика над моей головой.

— Я подал на производство в сержанты, отец.

— Преодолев последние колебания благородного ума. Рад за вас, дорогой мой.

— Экзамен в следующую субботу. Киддерминстер. Здание муниципалитета.

— А!

— Я никогда не был особо крутым парнем по части экзаменов, отец. Не буду делать вид, что это не так. Но экзамен — ведь не все, правда? Еще должны учесть мою служебную характеристику.

Это тоже будет иметь значение. Хотя пока никто не говорил обо мне ничего плохого.

— Почему кто-то должен говорить о вас плохо? Вы справитесь блестяще, Тимоти. Я во всех отношениях в вас верю.

Он резко и громко втянул носом воздух. Его грудная клетка расширилась. Он больше не был «Бочонком». Ни грамма лишнего мяса. В самом деле видный парень. Вполне мог бы, как Парис, пасти овец на горе Иде.

— Стойте вольно, прошу вас. Я же не ваш командир.

Бочонок, отодвинув в сторону мое memento mori, положил на стол шлем, потом уперся кулаками в край стола и наклонился, переведя взгляд с портрета де Куика на меня, — мартышка наблюдала за опасностью.

— О том вечере у майора… Билинда, она, ну… что случилось, это… Я не хотел бы, чтобы вы подумали, отец, что…

— Мы с майором провели очень славный и вполне обыкновенный вечер. Не случилось ничего достойного упоминания. Что касается мисс Скудамур, то майор Кэчпоул очень хвалил ее, и, насколько могу судить, он счастлив, что она о нем заботится.

Бочонок, заметно успокоившись, встал. Жестом, о котором я только читал, но никогда не видел — кроме как у одного из освобожденных мною гномов У.К., — он поднес палец к носу и подмигнул.

— Значит, все хорошо, — сказал он, ухмыльнувшись.

— Что хорошо кончается. Нет ли чего-то такого, Тимоти, в чем вы хотите исповедаться? Кажется, ваша совесть не может переварить какой-то несъедобный кусок? Если так, рекомендую обратиться к отцу Бастьену. Потому что я сейчас настроен сурово и, боюсь, велю вам на коленях ползти в Киддерминстер на ваш экзамен.

Бочонок забрал свой шлем, неловко махнул им на прощанье и двинулся к двери.

Откуда в наше время, когда кончился один — ужасный, жестокий и циничный — век и наступает другой, явно готовый оправдать худшие ожидания, могло взяться столь бесхитростное существо? Почему этот феномен все еще существует — если понимать слово «бесхитростный» как нехитрый, безвредный? Может показаться, что Бочонок похож на забавного полисмена из оперетты Гилберта и Саливена, но думаю, что у него есть свои психологические трудности, толь-

ко далекие от забот мира. Мир будет и дальше идти своей дорогой, не пересекаясь с Бочонком. Толстой или — если взять рангом пониже — Апдайк могли бы что-нибудь сотворить из его личности, но, раз это нереально, можно сказать, что Бочонок, как и большинство из нас, появился на свет, чтобы быть здесь лишним. И у него есть психологические трудности? Глупый вопрос. Конечно. Он зауряден, но не избавлен от тревог.

ВЧЕРА, ПЕРЕД ЛАНЧЕМ, в Музыкальную комнату зашла Мод.

— Нежданная милость, — сказал я.

— С днем рождения! Поздравляю тебя!

— У меня нет никакого дня рождения, ты прекрасно это знаешь. Что тебе взбрело в голову?

— Давай притворимся, что есть, — она взяла меня под руку. — Ну давай. Выгляни-ка в окно.

В последнее время Мод избегает меня, скрываясь в прежней кладовке дворецкого, даже обедает там. Вечером она отправляется спать, только если думает, что я уже сплю, и делает это из самых добрых побуждений. Я узнаю симптомы. Она резко прекращает пить, в который раз пытаясь «завязать» и спастись наконец от джина. В такие дни она страдает от судорог и лихорадки, легко впадает в дурное настроение, делается раздра-

жительной и готова спорить по любому поводу: например, мрачно пререкаться из-за копеечной марки. Вот от всего этого ужаса она и хочет меня избавить. Но, будучи по натуре мартышкой, она желает избавить и себя от нестерпимых для нее проявлений моего снисходительного понимания. И она предпочла бы обойтись без свидетелей, если (или, скорее, когда) снова согрешит.

Сейчас она стояла рядом со мной у окна — смотрела ясным взглядом, удерживая мою руку и передавая мне свое возбуждение. Во дворе перед домом я увидел великолепную черную машину. Широкая голубая лента обвивала ее, заканчиваясь гигантским бантом на крыше.

— Черт возьми, это еще что?

— Это «ровер-75», если быть точной, — весело пояснила она. — Снаружи она черного, подобающего клирику цвета, зато внутри — серо-голубая кожаная обивка и все современные навороты. Эта машина в честь миллениума, и — что важнее — она твоя.

— Да она стоит целое состояние!

— И что с того? Разве нам не хватает денег? Да их полно там, откуда я их взяла. — Мод имела в виду сбережения от своего писательства и от жалованья, которое почти никогда не тратила.

Про гадкие деньги, которые ей дал Аристид за украденную книгу стихов, она никогда не упоминала. — Незачем беспокоиться, не стоит. — Она посмотрела на меня странным долгим взглядом. — Я контролирую ситуацию, уверяю тебя. Я начеку. — Она рассмеялась и больно ткнула меня под ребро. — Или, по-твоему, лучше стать самыми богатыми покойниками на кладбище? Тебе нужна машина. Она там, внизу.

Я чувствовал себя — и все еще чувствую — ребенком, который потрясен появлением долгожданной игрушки.

— Ты хочешь сказать, она правда моя?

— Возьми, — она опустила в мою руку ключи от машины, — давай немного покатаемся.

Мне показалось, что в ее настроении было что-то отчаянное, все трын-трава, как у игрока, который после сплошных проигрышей бросает кости на стол и отворачивается, уже перебирая в уме последствия полного разорения.

И однако, какое это наслаждение — вести машину, которая не дребезжит и не скрипит, не нужно удерживать рукой рычаг переключения скоростей, чтобы он не перескочил на нейтралку, мощную машину с массой удобнейших приспособлений! Это было чудо. Мы словно по наитию

устремились в сторону Лонг-Майнда.

В первые годы нашей любви у нас была привычка ездить на велосипедах на поросший вереском гребень холма Лонг-Майнд; мы оставляли наши велосипеды и топали пешком. На вершине доисторического холма мы жадно поглощали наши сэндвичи с сыром и помидорами, глотали чай из термосов, наслаждались красотой головокружительных видов, чье великолепие чудесным образом соседствовало с дикой местностью.

В одно из таких путешествий Мод убежала от меня вниз по склону, поросшему дикими цветами и багряным вечнозеленым кустарником. И там, воздев руки к нависшим мутным облакам, закричала:

— Эй! Эй! Есть там кто-нибудь, кто спасет меня?

Я догнал ее, заключил в объятия, и мы упали, смеясь, на пружинящий мох.

— О сэр, я погибла.

— Конечно, надеюсь, что так.

— Вы поступаете нечестно.

— Дай мне секунду, и я все сделаю честно.

И мы тут же занялись любовью, как птицы, кружащиеся над нами, и белые овцы, жующие траву и блеющие поблизости.

(Владел ли я в те давние времена языком так же хорошо, как теперь? Думаю, да. Конечно да. Возможно, акцент был чуть сильнее, но даже Кики хвалила мой английский.)

— Ты мой Хитклиф?[126] — прошептала она мне на ухо.

— Надеюсь, я лучше.

— А вот и нет, — возразила она, — каждой девушке нужен свой Хитклиф.

Поездка к Лонг-Майнду, должно быть, всколыхнула воспоминания и в Мод. Той ночью в постели она прилагала все усилия, чтобы возбудить меня, была неутомима и искусна и достигла своей цели, доставив мне потрясающее наслаждение. К несчастью, потом Мод попыталась подняться надо мной, протянула ногу, чтобы перекинуть ее через меня и занять свою любимую позицию, в которой всегда получала самое сильное наслаждение, — и рухнула на бок, пронзительно крича от боли:

— Черт подери это бедро! Черт подери, и будь оно проклято! Господи Иисуси, как больно!

Я обнял ее, приласкал.

— У тебя будет новое бедро, Мод, любовь моя.

---

[126] Примечания: 126

Хитклиф — герой романа Э. Бронте «Грозовой перевал», воплощение зла.

Ты скоро будешь танцевать самые современные танцы во дворце в Ладлоу. Вот увидишь. Молодые парни выстроятся в очередь, чтобы пригласить тебя на танец.

— После бесплатной операции надо ждать одиннадцать месяцев, чтобы снова встать на ноги! — Она презрительно фыркнула. — А что касается дворца, так дансхолл закрыли пятнадцать лет назад.

— Кто говорит о бесплатной операции? Ты уже забыла, что сама сказала мне? Теперь мы будем швыряться деньгами. Ты станешь частной пациенткой, будешь лежать в отдельной палате. Нечего терять время. Мы свяжемся с лучшим хирургом, хотя бы с тем, который поставил на ноги королеву-мать, почему бы и нет? За каким дьяволом мы не подумали об этом прежде?

— Да, мы так и сделаем, обязательно сделаем! — Мод потянулась ко мне и тут увидела, как я подавлен. — О Эдмон, мы опоздали! — И она разразилась громкими рыданиями.

— Ну, ну, брось! Все будет хорошо.

Мод фыркнула.

— Да, как же, — протянула она саркастически.

Я держал Мод в объятиях, пока она не уснула, завитки ее волос щекотали мне плечо. Весь этот

день она вела себя так, словно забыла придуманную для себя роль воплощенной беспечности. Благодаря ее усилиям к нам вернулась прежняя легкость. Что это — благие плоды недолгой трезвости? Надолго ли это? Конечно нет.

Я поменял руку, когда боль в плече стала невыносимой.

ЭТИМ УТРОМ ПОЗВОНИЛ ТУМБЛИ. Он чуть больше недели в Лондоне и, конечно, все время проводит в Британской библиотеке, но иногда бывает в художественных галереях и в театрах.

— Только работа и никаких развлечений, Эдмон, — запел он.

— Не может быть, — не поверил я.

Но он не желал останавливаться:

— Джек стал совсем скучным парнем.

— Очень хорошо! — сказал я. — Подожди секунду, я хочу это записать.

Его тон изменился:

— Ты все тот же, можешь записать, умник. Я приеду на автобусе от вокзала Виктория завтра утром. Он приходит в Ладлоу сразу после полудня, в двенадцать ноль три или двенадцать ноль четыре. У меня один чемодан — и мой ноутбук, конечно, — но я могу прогуляться до Холла и пешком. — В его голосе появилась капелька веж-

ливости. — Извини, что не предупредил заранее. Там нельзя поймать машину в ваш край?

Но разве я не был гордым владельцем новенького «ровера»?

— Я сам приеду и заберу тебя.

— Потрясающе. Тогда мы устроим ланч. Я угощаю.

— Не стоит.

— Я помню, там есть ресторан в конце Бродстрит у Батэ-Кросс. Знаешь, что я имею в виду?

— На углу?

— Может быть, — засомневался Тумбли. — Но я узнаю, когда увижу.

— В таком случае в полдень на автобусной станции?

— Парой минут раньше или позже. О, и спасибо, ТИ.

— Не стоит благодарности.

Черт бы его побрал! Черт бы его побрал, и будь он проклят!

ПОРТРЕТ КИСТИ ДЕ КУИКА на стене за моим столом изображает Пиша в старости: длинноволосый, белобородый, круглая лисья шапка на голове, у него все еще розовые щеки и живой блеск в глазах. Художник сумел передать тень улыбки, скрытое обаяние и живость, делавшие

фигуру Баал Шема из Ладлоу столь харизматической. В правой руке он держит компас, его стрелка направлена на знак бесконечности, нарисованный на листе папируса, который лежит на столе рядом с первым томом Шекспира за спиной Пиша. Левой рукой Пиш указывает на висящую на стене таблицу десяти каббалистических Sefirot — сущностей Бога в процессе творения, причем указательный палец Пиша направлен на второй из них — hochmah, мудрость. Смотрит Пиш прямо на зрителя и, кажется, иронично улыбается.

Здесь, в библиотеке Бил-Холла, хранятся все опубликованные и множество неопубликованных сочинений Пиша — чудесная коллекция, в том числе тетрадь, в которую он собственноручно записал свои алхимические эксперименты. Я упоминаю об этом, только чтобы показать меру моего отчаяния в эти последние недели, когда неотвратимо приближался день приезда Тумбли. Ибо у Фолша есть запись на его малоразборчивом иврите под названием «Надежный способ превращения неблагородного металла в золото», к транслитерации которой я приступил. Я ведь и вправду собирался снять свинец с многочисленных крыш Холла (не так много, чтобы причинить реальный ущерб), сделать из

него золото и выкупить книгу, которую Мод так глупо продала Попеску много лет назад. Каким образом немощный и убеленный сединами старик вскарабкается на плоскую крышу и станет сдирать с нее свинец, не покалечившись, об этом я не задумывался.

Единственно Верный и Надежный Способ

Пусть он (тот, кто будет создавать Философский Камень) сначала очистит себя, следуя Семи Путям Леона Эбрио из Падуи, надлежащим образом и ни одного не минуя. Дальше пусть он разложит перед собой на ровной отполированной ясеневой доске следующие компоненты: один фунт белой аммиачной соли, без единого темного пятнышка; белок тринадцати сваренных вкрутую яиц двухдневной давности, разрезанный на мельчайшие частицы; шесть скрупул инакит; два фунта ртути самого лучшего качества, растертой в такой мелкий порошок, чтобы его могло сдуть слабейшее дуновение зефира; два финтука таришу, не больше и не меньше; чистый белый уксус из Ге-

роны, сколько потребуется…

И так далее, и так далее — инструкция на пятнадцати страницах.

Можете вообразить мою ярость: я знать не знал о Леоне Эбрио из Падуи и его Семи Путях очищения; я чуть не заплакал, когда не сумел понять смысл таких компонентов, как «инакит», или «таришу», или такой меры жидкости, как «финтук». «Единственно Верный и Надежный Способ» оказался бесполезным для меня. Поэтому я и был в ярости, будто могло быть иначе, будто это вполне обычное дело — превращать свинец в золото в садовом сарае с помощью одного или двух садовников и научных познаний Беллами, главного аптекаря Ладлоу!

Я ПОЗАБЫЛ РАССКАЗАТЬ, что со времени нашей последней встречи Тумбли сильно постарел. Почему-то я вспоминаю прилизанного, начинающего лысеть парня, которого знал в Париже в дни нашей молодости, человека вроде бы крепкого сложения, скромно намекавшего на свои баскетбольные успехи в колледже, кажется, начитанного и бегавшего трусцой в Люксембургском саду в те далекие годы, когда бег трусцой еще не превратился в американскую национальную

болезнь. Но человек, вышедший из автобуса в Ладлоу, был стариком, вроде меня, но не толстым, как я, а скорее тощим, согнувшимся под бременем прожитых лет, и лысым, с жалким венчиком седых волос. Его лицо, глубоко изрезанное морщинами, казалось напудренным, губы (все еще красные) ханжески кривились. Однако что тут удивительного — почему бы Тумбли и не постареть? Этот ублюдок, может, и подобен дьяволу, но все же он не сам дьявол, который не подвластен разрушительному действию времени. Как и все мы, Тумбли с возрастом стал скрипеть, и его дыхание утратило свежесть, хоть он и пользуется спреем.

— Хорошая машина, — сказал Тумбли, пристегиваясь ремнем и принюхиваясь к запаху кожи. — Новая?

— Нет еще и недели.

— Везет тебе.

Мы поехали, но Тумбли никак не мог найти ресторан, который он вроде бы так хорошо помнил.

— Не беда, — сказал он. — Давай-ка поищем что-нибудь типично английское. Не забудь, я угощаю.

— Ланч в пабе? — предложил я.

— Точно, рыба с жареной картошкой. Я знаю, где-то поблизости есть паб.

Мы нашли кофейню «Моя благословенная камбала» в переулке неподалеку от Рыночной площади, шагах в двадцати от общественного сортира. Название и местоположение не предвещали ничего хорошего. И действительно, это оказался наихудший из возможных вариантов: вонь от жареной еды почти зримо висела в сыром воздухе. Рыба, когда ее принесли, пузырилась в плохо поджаренном, бледном и вязком кляре, чипсы оказались влажными, жидкий чай подали в выцветших пластиковых кружках, уже с молоком и сахаром.

— Deo gratias, — произнес Тумбли без намека на иронию. Он перекрестился и с жадностью набросился на еду. — Поторапливайся, Эдмон, — сказал он. — Ешь, пока горячее. — Его тарелка быстро опустела, он полоскал чаем рот и глотал с явным удовольствием. — Не то что французские мелкие рыбешки, да? — Его вилка потянулась через стол и зацепила несколько обмякших чипсов из моей отставленной тарелки.

— Надо будет сразу принять душ и отправить одежду в химчистку, иначе никогда не избавишься от этого зловония, — сказал я. — Оно

впитывается надолго.

Тумбли поднял руку и кивнул на свой рукав, где белели два пятнышка.

— Знаешь, что это? — спросил он с вызовом.

— Ну не сперма же? Что бы это ни было, уверен, в химчистке сумеют вывести.

— Вывести? — взвизгнул он. — Вывести? Эта куртка никогда не попадет в чистку, никогда! На что ты пялишься, мой дорогой… — Он подозрительно огляделся, словно его могли подслушивать церковные шпионы. — То, на что ты смотришь, это слюна Его Святейшества.

— На тебя плюнул Папа?

— Не говори глупостей, Эдмон. Ты же помнишь, перед Лондоном я был в Риме. Ведь я тебе писал. Я был на конференции американских преподавателей «Христос, миллениум и аудитория». Его Святейшество был так добр, что удостоил нас аудиенции. О Эдмон, если бы ты только мог себе представить, что это значит — видеть его во плоти, слышать его голос! Доброта, исходившая от него, наполняла приемную, витала над всеми. Каждый из нас чувствовал прикосновение его сострадательной великой души. Потом мы удостоились прогулки с ним, хотя Его Святейшество с трудом передвигался, его улыбка излучала свет,

и он благословлял нас, когда проходил мимо. На одно мгновение он остановился около меня и сказал «Расе»[127] — не мне одному, конечно, но всему вокруг. И вот когда он произносил это изумительное, дивное слово «Расе», две крошечные капли слюны слетели с его губ на мой рукав. Вот они!

— Тебе крупно повезло, — пробормотал я, чувствуя легкое отвращение от того, что Тумбли демонстративно тыкал мне рукой в нос. А мне, видите ли, не очень нравится засохшая слюна, даже если она Его Святейшества. — Понятно, что ты не станешь чистить куртку.

— Не удивлюсь, если этого человека причислят к лику блаженных и потом объявят святым. То, что у меня на рукаве, — подлинная реликвия, in potentia[128], если еще не in actu[129]. Перед этим будут благоговеть. Я уже сейчас благоговею. Разве это не поразительно? И разве мне не следует носить это с гордостью? У тебя нет аппетита, Эдмон?

---

[127] Примечания: 127
Мир (лат.).

[128] Примечания: 128
Потенциально (лат.).

[129] Примечания: 129
В действительности (лат.).

«Освященный» рукав отъехал прочь, и Тумбли загреб вилкой еще несколько чипсов из моей тарелки. Он задумчиво пережевывал их, мечтательно глядя в пространство. Мне казалось, что ему видятся длинные вереницы верующих, пришедших со всех четырех сторон света, страстно желающих лишь одного — пасть на колени и поклониться рукаву его черной синтетической куртки. Хромые отбросят костыли, слепые прозреют, и осанна огласит небеса. Тумбли брезгливо вытер жирные пальцы и свой ханжеский рот тонкой полоской бумаги, которая в этом кафе заменяла салфетки.

— Ну что, дружище, — и он указал на счет, который принесла официантка, хотя мы ее не звали. — Ты угощаешь или я?

Теперь вы понимаете, что я думаю про Тумбли?

О РАННИХ ГОДАХ БААЛ ШЕМА из Ладлоу известно немного, нельзя даже с уверенностью назвать год его рождения, хотя некоторые источники указывают 1720 год. Насчет того, что место его рождения — Дунахарасти, мы имеем фактически только его собственное свидетельство («Я вышел из чрева моей матери в Дунахарасти, в третью неделю Великого Мороза, когда страшно

голодные волки бродили по Городской площади. Это был Год Несчастий, окаянный год, когда старинная церковь Св. Стефана погибла в языках пламени и невинных евреев обвинили в злодейском поджоге…» [«Застольная беседа», 1768].) В подтверждение его слов имеется еще беглое упоминание одного из самых непримиримых врагов Пиша, его современника Джекоба Имдина, который осуждал его как Sabbatian еретика и мошенника и в пылу ничем не сдерживаемой религиозной полемики называл «Dummkopf[130] из Дунахарасти». Да и зачем Фолшу лгать в подобных вещах? Что за счастье родиться в таком месте? Ведь это не Париж, не Прага и не Вена. И не ясли.

Он рано стал известен как маг и чародей, избежавший сожжения за свою предосудительную практику целительства в Вестфалии только благодаря вмешательству Оскара Леопольда, рыцаря фон Швайндорфа, импотенцию которого, как утверждают, Фолш успешно излечил. В результате молодая жена престарелого рыцаря произвела на свет здорового малыша с вьющимися черными волосами и носиком с горбинкой, что поэт из

---

[130] Примечания: 130
Дурак (нем.).

местного трактира остроумно прокомментировал: «Sein oder nicht sein? ist hier die Frage»[131], — в этом каламбуре использована первая строка самого знаменитого монолога Гамлета: в немецком языке sein может означать и *быть*, и *его*. Фолш, если верить архиепископу Илектору из Кельна, сбивал с пути молодых женщин и девиц-христианок своими гнусными заклинаниями и приворотными зельями, подвергая искушению их бессмертные души чем-то вроде сексуального еврейского поклонения Сатане. Архиепископу Илектору не удалось довести дело до сожжения Фолша. Рыцарь и его друзья когда-нибудь будут оправданы за это их Богом. Но архиепископ мог, по крайней мере, изгнать еврея, что он и сделал. В Кельне и по всей Вестфалии и Рейнской области, как рассказывает Фолш в своей «Застольной беседе», весть о его изгнании была встречена всеобщими (особенно женскими) стонами и плачем.

Из Кельна Пиш направился в Амстердам в Нидерланды, где, судя по всему, на время отложил свои алхимические эксперименты, а также изыскания в той области медицины, которую сегодня

---

[131] Примечания: 131
Быть иль не быть? вот в чем вопрос (нем.).

можно назвать нетрадиционной. В Амстердаме он с головой ушел в священные тайны каббалы, изучая их под руководством коцинерского раввина Михала Ицхака бен Ели Цви, также известного как Гаон[132] из Коцина. К тому же в Амстердаме он обзавелся первой из трех своих жен — Лией, дочерью Менасаха Халеви, богатого торговца пряностями, имеющего деловые связи в Новом Свете. Фолш, кажется, искренне любил Лию, у нее были темные глаза и дерзкие груди. Ее смерть и смерть их ребенка при родах повергли его в глубокую депрессию, из которой, согласно Гаону и по свидетельству самого Фолша, он надеялся выйти только в Святой Земле, скорее всего — в Сафеде[133], хотя это мог быть и Иерусалим. Коцинерский раввин убедил тестя Фолша ссудить вдовца деньгами для путешествия в Палестину. (Для полноты картины необходимо упомянуть тот факт, что английский фашист предвоенных времен Невиль Флайт-Дакре в своей книге «Международное еврейство и расовое осквернение. Отчет из Европы» [Литтл инглэнд пресс, 1937]

[132] Примечания: 132

Гаон — титул, которым удостаивались раввины, наиболее изощренные в талмудической науке.

[133] Примечания: 133

Сафед (или Цфат) — город в Израиле, духовный центр каббалы.

утверждал, что Фолш сбежал из Амстердама из-за того, что одиннадцать арийских женщин атаковали его судебными исками об установлении отцовства.)

Фолш закончил свое паломничество на Восток в Александрии — ему понравились ее климат и космополитизм — и он прожил там пять лет, сделавшись учеником великого арабского ученого Абу Али ибн Сины (Авиценны). С Авиценной он изучал медицинские труды Моше Маймонида, прославленного средневекового философа и кодификатора еврейского права, в особенности книгу Маймонида «Трактат о сожительстве», написанную по просьбе сирийского султана.

Среди многих средств для излечения разных видов сексуальных расстройств в «Трактате» было единственное, внушившее сэру Персивалю Билу — весной 1748 года он совершал в Египте одно из самых ранних своих путешествий в поисках редкостей и диковин — привязанность к Фолшу. От английского консула в Неаполе сэр Персиваль услышал о «медицинском светиле», творящем чудеса в Александрии, «темнокожем белобородом язычнике, сидящем на шелковых подушках»: «Парень может вылечить все, дорогой сэр, от „кровоточащих десен и пустяковой

испарины до любовных ран и опухших яичек“», и сэр Персиваль, обосновавшись в этом городе, добился аудиенции.

О мере обаяния Фолша можно судить по тому, что Авиценна стал относиться к нему, как к любимому, хоть и своенравному, сыну, чьи блестящие способности перевешивали его религиозное упрямство и мелкие грешки. Во всяком случае, Авиценна задумал приобщить ученика к делу и послал сэра Персиваля проконсультироваться у Фолша, которого представил как Мастера эротических искусств. Фолш оставил собственноручную запись об этом визите — она и сейчас хранится среди его бумаг в библиотеке Бил-Холла — возможно, Фолш собирался включить ее в автобиографию или в мемуары.

— Не импотенция, доктор, — сказал сэр Персиваль Фолшу, — совсем не это, вы понимаете? Поднимаю его хорошо, встает озорник, как по команде, — но, как я полагаю, он поднимается хитростью. Неплохо сказано. «Поднимается хитростью», вы понимаете? Дело в том, что я кончаю слишком быстро, истекаю в спешке, теряю все мое «жидкое жемчужное сокровище», как сказал поэт, обычно перед тем, как успеваю вложить в ножны мой меч. Девица лежит, страстно жела-

ющая. «Ах, сэр, что случилось? Увы, увы. Почему вы меня так дразните?» Нехорошо, очень нехорошо. Ужасная вещь, понимаете? Вы можете мне помочь, доктор?

Фолш благодаря Маймониду мог бы ответить утвердительно, но, конечно, не сказал этого сразу. Он важно посмотрел на пациента и погладил бороду.

— Будьте так любезны, достопочтенный сэр, показать мне провинившийся член.

— Показать все?

— Да, сэр.

— Гм… — Сэр Персиваль расстегнул штаны, за ними спустил исподнее и поднял свой член с причиндалами, чтобы показать. — Полный покой, видите?

Фолш взял серебряную указку с низкого столика, стоявшего позади него, и поднял ею вялый пенис сэра Персиваля, позволил ему упасть, снова поднял и снова позволил упасть.

— Да, достопочтенный сэр, думаю, что смогу помочь вам. Мой гонорар — тысяча гиней. Если вы желаете вылечиться от вашего несчастья, возвращайтесь через неделю с половиной этой суммы. Если же нет, для меня было большой честью познакомиться с вами.

Через неделю сэр Персиваль вернулся.

Фолш вручил ему флакон с жидкостью янтарного цвета.

— Массируйте этой микстурой вашего выскочку за два часа до того, как идти на приступ оказавшей вам благосклонность леди. Потом вымойте его теплой водой. Он будет стоять целых два часа, прежде чем освободится от пульсирующего «жидкого жемчужного сокровища», и два часа после.

— А если бальзаму не удастся произвести этот волшебный эффект?

— Не беспокойтесь. Неудачи не будет. Вы, сэр Персиваль, англичанин и джентльмен. Поэтому я вам верю. Вы, со своей стороны, должны верить мне. Доверие между врачом и пациентом — девять десятых успешного лечения. Мой гонорар — тысяча гиней, но сегодня я возьму половину, которую просил вас принести с собой. Если бальзам не подействует, вы скажете мне об этом, и я верну вам ваши пять сотен гиней. В противном случае вы заплатите остальное, и я дам вам еще три финтука вашего лекарства.

Через неделю сэр Персиваль выплатил остаток.

Для интересующихся привожу здесь рецепт

Маймонида из его «Трактата о сожительстве»:

1 литр морковного масла
1 литр масла редиски
250 мл горчичного масла
500 мл живых муравьев шафранового цвета

1. В большом горшке смешать морковное масло, масло редиски и горчичное масло. Добавить живых муравьев.
2. Поставить микстуру на солнце на семь дней.
3. Массировать пенис микстурой в течение двух часов; позже вымыть пенис в теплой воде.
4. Повторить, если необходимо.

НЕИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ ФОЛШ покинул Александрию, где жизнь его складывалась весьма удачно, но уехал он поспешно и с каким-то пятном на репутации. Он намекает на клевету неких людей, завидовавших его успехам и милостям, которыми осыпал его Авиценна. Очень может быть, что сэр Персиваль, еще раз приехав в Александрию, помог бегству Фолша. Сохранилась запись расходов в бухгалтерской книге сэра Персиваля за 1750 год и пометка, которую иначе трудно

объяснить: «250 фунтов, 12 шиллингов, 7 пенсов. Вознаграждение отцу девушки Айши». Против этой суммы написано на полях: «Ф. Прелестный мошенник!» Во всяком случае, в этот самый месяц и год, в апреле 1750 года, сэр Персиваль отбыл из Александрии в Афины, а Фолш внезапно всплыл в Бамберге[134] — со всей своей ученостью и без гроша в кармане.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ я довольно много думал о Соломоне Фолше, фактически с самого приезда проклятого Тумбли. Фолш, не ограничиваясь Моше Маймонидом и специфическим снадобьем против преждевременного семяизвержения, записал множество рецептур, массу магических формул, заклинаний и названий лекарственных трав. Эти записи хранятся здесь, в Музыкальной комнате, в кабинете, ключ от которого есть только у меня. Например, вы можете взять обыкновенный лимон и назвать его именем вашего врага, а «когда лимон высохнет и сгниет, тогда силы покинут вашего врага». Но этот процесс требует времени. Поэтому для получения незамедлительных результатов Фолш добавил полезное усовершенствование: «Чистым

[134] Примечания: 134
Бамберг — город в Баварии.

новым ножом, наточенным при первом мерцании молодого месяца, резать лимон на части, произнося позорящие вашего врага слова. И он тотчас почувствует неописуемо острую боль в сердце, потом лихорадочный озноб и полный паралич всего тела».

Мой стол украшает лимон, купленный этим утром в гастрономе на Пепе-Лейн в Ладлоу. Лимон лежит в зубах моего memento mori, он крупный и сочный, ядовито-желтый и пупырчатый. Рядом с ним серебряный кинжал, это нож для разрезания бумаги, подношение: «Эдмону Мюзику, ТИ, от ордена Колумба, Джолиет, Иллинойс». В этом году они спонсировали визит Тумбли и надеялись, что я «окажу всяческое содействие отцу Тумбли».

Пока что у лимона нет имени.

Отдавая должное Тумбли, скажу, что он не показывался мне на глаза, обедая в трапезной и обмениваясь банальностями с другими гостями; как и они, он спал и, возможно, мастурбировал в своей комнате — благодаря моей предусмотрительности, все удобства располагаются в бывших конюшнях. Однако от одного его присутствия мне делается не по себе: опасность, которую он для меня представляет после их с Аристидом Попеску случайной встречи в Нью-Йорке, без

сомнения, вполне реальна. Люди, подобные Тумбли, никогда не выпустят кость из зубов. Они грызут ее, смутно сознавая, что одним лишь своим чавканьем вызывают у других тревогу. Всякий раз, заслышав звук шагов за стеной моего убежища — Музыкальной комнаты, я жду стука в дверь. Вчера я и в самом деле подошел к двери, приложил к ней ухо, потом осторожно открыл ее. В конце коридора, слева от дверей библиотеки, стоял Тумбли — спиной ко мне, одна рука в кармане брюк, — уставясь на картину Лемюэля О'Тула, где мальчишки голышом прыгают в один из прудов Хемпстед-Хис. Вы, конечно, ее знаете. Она произвела шок в мире искусства в 1932 году, и Королевская академия, подчинившись ханжескому давлению, во время ежегодной выставки сняла картину со своих стен. Тумбли, почти старик, согнувшись, стоял перед ней, и его плечи тряслись.

— ДАВАЙ РАЗДЕЛАЕМСЯ С ЭТИМ, — сказала Мод, имея в виду обед в Бил-Холле, на который мы приглашаем Тумбли в его ежегодные приезды, оказывая ему таким образом любезный прием, как рассчитывали в ордене Колумба. — Пусть приходит вечером. Старый Мак-Гонал приедет сегодня днем. Хочешь не хочешь, нам придется

кормить епископа. Назвался груздем — полезай в кузов. Давай-ка убьем сразу двух зайцев.

— Мод, ты просто лопаешься от гномической мудрости.

Я ничего не рассказал ей ни об «открытии» Тумбли в Нью-Йорке, ни о его подозрениях на мой счет, ни о выражаемых намеками обвинениях. Мод как будто совершенно забыла о своем преступлении — потрясающий триумф воли. Но, конечно, это только видимость. Она проглотила свою вину, это несъедобное блюдо, но не смогла переварить его. Что она помнила из того времени, так это продажу моей коллекции эротики в библиотеку Бил-Холла, — хотя и не могла понять, зачем Католическому институту все это «бесстыжее непотребство». («Исследовать, Мод, — ответил я. — Исследовать. Чем праведнее священник, тем больше ему нужно знать о человеческой порочности и грехе. Как иначе он может обличать их?» — «Тогда, должно быть, ты праведнее всех праведных», — съязвила Мод.) И она точно ничего не знает о грозящей нам опасности, которую представляет собой союз Тумбли и епископа Мак-Гонала.

— Очень хорошо. Пригласим их на обед, а еще позовем У.К. Расшевелить немного, смягчить

атмосферу, ослабить набожный дух.

Вспоминая о майоре, я использую слово «гномический». В его присутствии они не станут — не смогут — поднимать вопрос о каталоге Попеску.

— Ты уверен, Эдмон? Атеист за столом епископа?

— Этот стол не епископа, а мой. Кроме того, майор — идеальный гость. Он заставит нас рыдать от смеха.

— Да уж, знаю. Потому и удивляюсь.

— Ты пообедаешь с нами? Сядешь во главе стола.

— Нет. Я только подам еду, проявляя должное смирение. Твой друг Тумбли всегда вызывал у меня ощущение нечистоты. Конечно, он избегает меня, потому что я женщина. Может, он выслушал слишком много исповедей. Думает, что знает женщин, и понимает, что не очень им нравится. Что правда то правда. Мне иногда кажется, он подозревает о том, что было между нами раньше. — Она замолкла и перекрестилась, пробормотав что-то невнятное. — Никто не поверит, что он любит Деву Марию, — продолжала она. — Это уж точно. Он молится Божьей Матери только потому, что Церковь ручается за ее девственность. И ему приходится принимать

это на веру, не думая, какими такими особыми воротами Христос вошел в наш мир.

— Я удивлен. Неужели он тебе не нравится?

Она озадаченно взглянула на меня, потом засмеялась.

— Ну ладно, если я не могу заполучить тебя, попрошу Бастьена. Он будет вести стол.

Она выразительно вздохнула.

— Ты права. Тогда пусть епископ ведет стол. Тумбли усядется по правую руку от епископа, как приличествует гостю, а Бастьен сядет рядом с Тумбли — удачная позиция, как раз против ветра. По левую руку от епископа будет У.К., а я рядом с ним.

И тут я опять подумал о Соломоне Фолше.

— Теперь насчет меню. Что скажешь о бараньем сердце?

— А ты что скажешь о молодом барашке с рисом под карри? Баранье сердце! Где я его возьму? И потом, как его готовят, баранье сердце?

— Втыкают в него лучинки. Затем посыпают солью и жарят на медленном огне. Произнести надо следующее:

Это сердце баранье — сердце Тумбли дрянное,

Я огню его предал, поделом палачу.

Пусть теперь он до смерти не знает покоя,

Пусть он воет и стонет. И я не шучу.

Тогда это исполнится. А к бараньему сердцу хорошо бы поджарить картошки и цветной капусты.

— Тогда, значит, молодой барашек под карри, — сказала она и очень странно посмотрела на меня. — Не волнуйся, Эдмон. Я обещала тебе, все держать под контролем.

КОНЕЧНО, Я НЕ МОГ ОТПРАВИТЬ Мак-Гонала в перестроенные конюшни, куда я селил церковный плебс, в том числе Тумбли. Нет, он должен останавливаться в Холле. Всем другим комнатам он предпочитает Касингтонскую — за ее размеры, роскошную мебель и величественный вид, который открывается из окон на долину. Ему нравится думать обо всем этом как о своей собственности. «Остановлюсь в Касингтоне, старина. Буду в Холле в пятницу» — или в другой день. Он не очень начитанный человек. Интересно, как бы он отреагировал, узнав, что его излюбленная комната называется Касингтонской потому, что, по слухам, леди Оттолайн Моррел и Берти

Рассел[135] провели там однажды летом уик-энд в неистовые, восхитительные, беззаконные дни своего не ко времени наступившего среднего возраста.

Этим вечером я вышел на звонок майора у калитки Розового сада, ближайшего входа, если идти из Бенгази, повесил его макинтош и кепку на оказавшееся под рукой копье в Armourer[136] галерее и провел его в столовую — бывшее хранилище стрелкового оружия. Там перед буфетом стояли облаченные в обычные мрачные одежды епископ и Тумбли, похожие на вырезанные из бумаги силуэты, которыми забавлялись в прежние времена, и изучали батарею бутылок, выстроенную для нас Мод.

— Ох, — увидев их, сказал майор с отвратительным шотландским акцентом, — тва ворон.

— Это майор Кэчпоул, не так ли? — сказал Мак-Гонал и улыбнулся улыбкой Мак-Гонала. Дело в том, что епископ очень похож на У. К. Филдса,

---

[135] Примечания: 135

Моррел Оттолайн Виолет Анна (1873–1938) — хозяйка литературно-художественного салона, во время Первой мировой войны жила в поместье Касингтон в Оксфордшире; автор мемуаров «Оттолайн в Касингтоне». Рассел Бертран (1872–1970) — английский философ, математик, общественный деятель.

[136] Примечания: 136

Оружейная (фр.).

американского киноактера, которого я запомнил в знаменитой роли мистера Микобера[137], и даже голос епископа с его фальшивыми интонациями был похож на голос актера. — Какая радость!

Его красный нос, покрытый оспинами, напоминал картошку.

— Храни Господь ваше высокопреосвященство!

— Льстец. Я пока всего лишь епископ.

— Епископ, «виноват, я хотел сказать: ваше величество, потому что милости Божьей вам вовек не видать». «Генрих IV», знаете ли, часть первая[138].

— Майор Кэчпоул — одна из наших заблудших овец, епископ, — заискивающе произнес Тумбли. — Он отбился от стада, но мы молимся, чтобы он вернулся на путь истинный.

— Баа-аа, баа-аа! — изумился старина У.К.

Я поспешил к буфету и предложил выпить.

— Что будете, епископ? Майор?

— Мне сельтерскую, — чопорно попросил Тумбли. — То, что вы, британцы, называете газированной водой.

---

[137] Примечания: 137
Микобер — герой романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд».

[138] Примечания: 138
Перевод под ред. А. Смирнова.

— Эдмон не совсем бритт, — поправил его Мак-Гонал, улыбаясь так, будто его шутка не уступала в изысканности перлам комедии эпохи Реставрации. — Эдмон — букет несовместимостей. Я буду пиво, какое есть, голубчик.

— Краденая овца?

— Почему бы и нет?

— Мне содовой, Эдмон, — сказал У.К., — и каплю виски.

Открылась дверь, и на пороге, шаркая туфлями, возник Бастьен — изогнутый вопросительным знаком, волосы в обычном беспорядке. С его шеи свисал, раскачиваясь, штопор. Он торжественно перекрестился на пороге и вошел, волоча ноги.

— Отец Бастьен, не правда ли? — сердечно обратился к нему Мак-Гонал, хотя не раз видел его прежде.

— Ну да, — кивая, ответил Бастьен. — Я даже уверен, что да. Но почему вы спрашиваете? — Он снисходительно улыбнулся и еще раз перекрестился.

Боюсь, Бастьен играет с огнем.

Тумбли с отвращением отвернулся.

— Мне не терпится рассказать вам, епископ, — начал он, потирая руки, — ну просто вылитый Урия Гип! — о моей недавней встрече с Его Свя-

тейшеством.

— Ах да, — фыркнул майор, — отец Мюзик рассказал мне об этом. Совершенно изумительная история. На вас плюнул Папа, я прав? Продолжайте, отец.

Тумбли бросил на меня злобный взгляд.

Из кухни донесся грохот и звон металлической посуды, сопровождаемый криком: «Иисус, Мария и Иосиф!» В дверях появилось красное лицо Мод, мокрое от слез.

— У меня тут кое-что произошло с канапе, так сказать, маленькая авария. Вам придется пока обойтись арахисом — вон там на буфете. Обед будет совсем скоро. Можно садиться за стол, если желаете.

Последний период воздержания Мод длился недолго. Но она хотя бы пыталась.

— Бедная, это все ее бедро, — горестно вздохнул Бастьен. — То и дело подводит. — Он прошаркал к буфету. — О, да тут «Кастелло Армани» девяносто шестого года, отец, — обратился он ко мне, поднимая бутылку вина и трясясь вместе с ней. — Если есть «Кьянти Классико», Мод приготовит одно из своих карри. Она ведь, дорогой епископ, никогда не обходится без доброго французского вина, когда сражается с этими языческими приправами.

Аминь.

Я налил виски У.К. и пиво епископу и попросил Тумбли, чтобы он сам налил себе воды.

— Можешь взять лед там, в ведерке. То, что вы, янки, называете леденцами.

— Touché[139], — одобрил майор.

Мак-Гонал, всплеснув руками, похлопал себя по пухлым ляжкам.

— Должен сказать, воздух Шропшира чудо как способствует аппетиту!

— Тогда будем садиться? — предложил я. — Мы можем взять с собой наши стаканы. Так-так, Бастьен, твоя бутылка уже при тебе. — Показывая пример, я подошел к столу. — Епископ, вы, конечно, во главе стола.

Я указал остальным их места, налил себе и У.К. разбавленного виски и поднял стакан.

— За веру, надежду и любовь, — провозгласил я, подразумевая роспись Малоккио на своде Грейт-Холла и вспоминая во всех подробностях Элен Скрим-Пит из «Друри-Лейн».

Мы выпили. Наши «закуски» уже поджидали нас. Мак-Гонал посмотрел на тарелку с сомнением и тревогой.

---

[139] Примечания: 139
Здесь: удар, попавший в цель (фр.).

— И что это здесь у нас?

Это было суши, доставленное из Уайтроуза в странных металлических судках, о которые и споткнулась Мод.

— Это японское блюдо, — поспешил успокоить я. — Рис, рубленая сырая рыба и еще много чего, все тщательно упаковано — удивительно полезная пища, я бы сказал. Называется суши. В маленьких стаканчиках что-то вроде азиатского ликера, он замечательно идет с суши.

— Но разве миссис Мориарти не ирландка?

— Мисс Мориарти. Да, из Баллимэга, что в Донеголе.

— Мисс Мориарти, — поддакнул У.К.

— Просто удивительно, что нам только ни подают! Суши, вы говорите? Господи, спаси мою душу! — Епископ придал своему богатому интонациями голосу задушевный тон, желая напомнить, что он человек из народа. — Когда я рос в Престоне, среди рабочего класса, мы ели только простую британскую еду: рыбу и чипсы, сосиски и пюре, а по воскресеньям — если повезет — были ростбиф и йоркширский пудинг и даже жареный барашек. И ведь мы были ничуть не хуже нынешней молодежи. Когда дождливым зимним днем я возвращался домой из школы или с репетиции

церковного хора, все, чего я хотел, так это кружку боврила[140]. А если я вел себя хорошо, то получал кусок хлеба, намазанный застывшим жиром, оставшимся на сковороде после жарки. Я даже исправил однажды молитву Господню (за что получил по уху от папочки): «Хлеб наш насущный, намазанный жиром, даждь нам днесь». Вот так-то, а теперь суши. Ну и ну. — Он подцепил вилкой кусок и с сомнением поднес к глазам.

— Вам не нравится, епископ? — спросил У.К., поджав губы, будто с трудом сдерживал смех. — Вперед, вперед. Ешьте же. Вспомните Катерину Сиенскую.

— А что, ей нравилась японская кухня? — живо откликнулся Мак-Гонал, желая увести беседу в другое русло.

Но У.К. невозможно было сбить с толку.

— Святая Катерина, — пояснил он, — наполнила чашу гноем из раны одной старухи и выпила до дна.

— Голубчик, — умоляюще сказал Мак-Гонал, пристально глядя в потолок, как будто искал там помощи.

— Воистину святая, — дружелюбно продолжал

---

[140] Примечания: 140

Боврил — паста-экстракт из говядины для приготовления бульона.

У.К. — Она ухаживала за этой старой женщиной и испытывала отвращение, потому что от ее раны разило зловонием. Она быстро поняла — святая ведь, — что ее отвращение — работа дьявола, чей злой умысел она и победила таким остроумным способом.

— Весьма поучительно, — согласился Мак-Гонал.

У.К. и Бастьен захихикали.

— Но это случилось так давно, в четырнадцатом, кажется, веке, — вступил в разговор Тумбли. — Это был, конечно, век чистоты, видевший много подвигов благочестия — высокого, я бы добавил, благочестия, — но которые в более поздние времена могут все же показаться несколько экстравагантными.

— А как же отец Пикар — напомню вам, что он даже не святой и жил едва ли больше ста лет назад? — поинтересовался У.К.

— Разумеется, — не вполне уверенно ответил Мак-Гонал.

— Это было, конечно, в Лурде — такое уж место, там то и дело случаются чудеса. Отец Пикар попросил стакан воды из пруда, где купались больные и увечные, выпил, причмокнул и объявил, что вода превосходная — как может быть

другой вода Божьей Матери? — У майора дернулись губы. — А вы, епископ, неужели откажетесь съесть немного суши? У истинно верующих должен быть более решительный характер.

Тумбли прочистил горло, сложил руки как для молитвы и пристально посмотрел на суши на конце вилки епископа.

— Вы правы, — согласился Мак-Гонал. Он опустил вилку и с удовольствием отодвинул свою тарелку. — Прошу вас, отец Тумбли.

Тумбли склонил голову, зажмурился, чтобы лучше сосредоточиться — а может, надеялся увидеть Обитателя Небесного Престола, — и начал читать молитву, очень стараясь придать многозначительность каждому слову:

— О Господи… Даруй нам… Пищу во благовремении… Щедрую руку Твою… Ради Христа… Господа нашего… Аминь.

Не поднимая головы, Тумбли бросил исподлобья взгляд на епископа, ожидая подтверждения.

— Аминь, — сказал Мак-Гонал и взял из корзинки булочку. — Хватайте, парни.

Мы принялись за еду.

Через вращающуюся кухонную дверь, пошатываясь под тяжестью нагруженного подноса, вошла Мод: лицо красное от жара плиты, натуги

и выпитого джина, она без успеха сдувала прядь волос, падавшую ей на глаза. Бастьен галантно подскочил, чтобы помочь ей. (То есть он собирался подскочить, но только подтащил себя к ней и, подшаркивая и трясясь, пришел на выручку.) Вместе они донесли поднос до буфета и разложили там накрытые крышками блюда — барашка под карри, рис, чечевицу — и разнообразные приправы.

— Это мисс Мориарти, не так ли? — радостно приветствовал ее Мак-Гонал. (Он, должно быть, научился этой светскости у какого-нибудь премьер-министра: «Покажите, что вы помните имя человека. Проявите внимание и интерес».)

— Да, епископ. Мод Мориарти.

— Я надеялся, Мод, что вы присоединитесь к нам. Здесь только мужчины почтенного возраста, и нам не хватает благотворного женского присутствия. Помню, несколько лет назад мы с вами вели оживленную дискуссию о ваших проблемах. — Он заговорщицки подмигнул.

— Да, мы тогда хорошо поговорили. Но в последнее время люди не хотят работать сверхурочно. Вот почему мне приходится самой управляться на кухне. Вы не возражаете, если основное блюдо я оставлю на буфете? Возьмите, пожалуйста,

сами. — Она прохромала к столу и начала собирать закусочные тарелки. — Вам не понравилось суши, епископ?

— Я его обожаю. Моя любимая еда. Но доктор Кронин не позволяет. «Никакой сырой рыбы, Мак-Гонал, дорогой мой!» Держит меня на редко встречающейся желудочной диете.

Мод оставила нас, и каждый взял с буфета что хотел. Мак-Гонал обошелся слегка пригоревшим рисом и приправами.

Бастьен откупорил «Кастелло Армани», с презрением обнюхал пробку и стал наливать. Тумбли прикрыл ладонью свою рюмку.

— Я сохраню верность газированной воде, — сказал он сухо.

— Не пей больше шипучку, — посоветовал я ему, — глотни немного вина, пожалей свой желудок.

— Тимофей 5:23[141] — радостно отозвался Мак-Гонал. — Это было любимое место моего папочки. Я часто его слышал.

— О чем поговорим? — спросил У.К., успевший нагрузиться. — Туринская плащаница? Помощь Ватикана бежавшим нацистам? Воскрешение

---

[141] Примечания: 141

«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов».

Лазаря? Педерастия архиепископа Терпина из Уигена?

На бледных щеках Тумбли появился лихорадочный румянец, он с отвращением взглянул на У.К., потом в ярости воззрился на потолок.

— Епископ, простите ему, ибо не ведает, что говорит.

— Какого такого совершенства вы достигли, отец Тумбли, — съязвил У.К., — что получили право изрекать как Христос? В вашем возрасте Христос уже давно умер.

На минуту воцарилось потрясенное молчание.

— Я всегда буду хранить в памяти как сокровище случай из вашего детства, епископ, — сказал Тумбли, многозначительно взглянув на нас с майором. — «Хлеб наш насущный с жиром даждь нам днесь». Поразительно!

Мак-Гонал проигнорировал лесть и повернулся к У.К.:

— Темы, предложенные вами, несомненно, очень интересны. Но все же это разговор не для сегодняшнего вечера, майор. Я бы предпочел поговорить о гольфе. — Он засмеялся, демонстрируя свое дружелюбие. — Вы играете?

— Гольф! — восхищенно воскликнул майор. — Гольф! Да, конечно, я слышал о вашей недавней

«битве при Каллодене»[142] — вы там сражались со стихиями, и знаю о чуде, которое сопутствовало вашей игре. Да ведь вы, мой дорогой епископ, бессмертный! Дважды быть пораженным молнией и все-таки упорно добиваться лучшего результата за всю историю площадки! Вам нужен поэт, мой дорогой сэр, Робби Бернс, не меньше. Ваши подвиги превзошли деяния самого Беовульфа.

— Вы слишком любезны.

— Я слышал вас по беспроводному радио.

— Вот как.

— Кто теперь усомнится в том, что Господь предназначил вам особую миссию?

— Таково было мое понимание этого чуда. И я сказал об этом тогда.

— Значит, вам было явлено чудо?

— По моему мнению, да, — Мак-Гонал тепло улыбнулся, выпрашивая улыбкой нашу снисходительность. — Конечно, я имею в виду чудо в общепринятом смысле этого слова.

— Рад, что вы это сказали, — обрадовался майор, втягивая носом воздух, как собака, поймавшая слабый запах добычи. — Напрашивается вопрос о так называемых чудесах в католической Церкви.

---

[142] Примечания: 142

Битва при Каллодене 1746 года, когда было разгромлено якобитское восстание.

Однако Мак-Гонал был хитрой лисой:

— Вы говорите, что слышали меня по беспроводному радио. Просто удивительно! «Беспроводное»! Сегодня подобные слова преследуют нас на каждом шагу, вы замечали? Молодежь, скорее всего, понятия не имеет о том, к чему это может привести. Слово «беспроводное» в наши дни — просто последний писк моды, еще одна победа американского духа, не правда ли? — Он повернулся к Тумбли. — Что останется от нашего бедного языка, когда янки окончательно добьют его?

Тумбли расцвел от счастья, что может помочь Мак-Гоналу сбить с мысли У.К., и бросился зарабатывать очки:

— Но что касается нас, это несправедливо. Мы выступаем там как хранители языка, епископ, бережно сохраняем слова, и целые фразы, и старые значения слов, которые исчезают здесь. Кстати, о слове «беспроводной» — в последнее время оно снова появилось на моей стороне Атлантики и используется, я полагаю, в радиотелефонии. Но взять, к примеру, выражение «собственной персоной»…

И он занудил — в своей обычной назидательной манере.

Бедный У.К. — ветер перестал дуть в его паруса! Подбородок упал ему на грудь, он умиротворился, войдя, так сказать, в полосу штиля. Тумбли говорил и говорил, утомительно и многословно, совершенно уверенный, что мы с интересом слушаем его, он даже смотрел не на нас, а на картину Хогарта «Собака Баусер миссис Петигру» на стене напротив. Глаза Мак-Гонала начали стекленеть. Бастьен, ревностно отправляя какое-то воображаемое богослужение, перекрестил сначала солонку, потом перечницу, после чего переключился на свою десертную ложку, за ней — на масленку и кольцо для салфетки. Мак-Гонал вынул массивные золотые часы из жилетного кармана и уточнил время, для вида покрутив колесико. Бастьен нацелил крестное знамение на люстру над нашими головами. Изо рта У.К. доносился приглушенный храп. А Тумбли продолжал:

— Когда предлог «вверх» добавляется, так сказать, адвербиально к глаголу «ударить», в американском английском появляется значение, расходящееся с…

Однако хватит рассказывать об этом «неаппетитном» блюде. Как кончается все на свете, хорошее и плохое, в конце концов закончилось

и это. В десять тридцать за майором пришла Билинда Скудамур — старина У.К. проспал пудинг, портвейн и кофе. На этом все завершилось. К счастью, к счастью.

Прежде чем оставить компанию, Мак-Гонал сказал мне, что хотел бы уехать рано утром, — он клятвенно обещал, за свои грехи, играть в гольф на страшной площадке возле Росс-он-Уай, — но есть важный вопрос, который требует его внимания, и он был бы мне очень благодарен, если бы я заглянул во время завтрака — «ну скажем, в шесть часов» — в его комнату. Может быть, я буду настолько добр, что извещу мисс Мориарти о его раннем отъезде. Достаточно обычного английского завтрака: жареное мясо, яйца, тост и чашка чая — она, конечно, помнит его скромный вкус. Отец Фред тоже присоединится к нам. Стоящий за спиной епископа Тумбли тщетно пытался скрыть ухмылку.

К ЭТОМУ ЗАВТРАКУ и тому, что за ним последовало, я еще вернусь. Сейчас мне хочется сказать несколько слов о том странном состоянии, которое нашло на меня во время обеда. Осмелюсь сказать, будто опустилось невидимое облако — таким гомеровский бог окутывал смертного, которому покровительствовал, защищая от

меткого удара копьем. Не то чтобы я ощутил себя неуязвимым — будучи, как заметил подлый Мак-Гонал, «букетом несовместимостей», — но меня вдруг отпустила тревога. Я огляделся и спросил себя: как случилось, что я оказался здесь? Нет, я не имею в виду, что испытывал обычное чувство отчуждения, полагаю, хорошо знакомое большинству интровертов: «При чем тут все они, Элфи?», как однажды говорил известный лирический поэт, или «Что меня сюда занесло?». Конечно, то, что я уже рассказал вам, отчасти и есть попытка объяснить, как я оказался там, где оказался. Но нет, я тогда почувствовал, что-то совершенно иное.

Разумеется, я вполне справлялся с ролью хозяина. Но то была маска, и, скрываясь под ней, я ощущал себя невидимым. Мне отчаянно хотелось уйти отсюда — не только покинуть обеденный стол, но уйти совсем… куда? И я смотрел на всех этих «воронов»: на моего дорогого У.К. (майор тоже был одет в черное — чувство юмора побудило его надеть строгий вечерний костюм), более ортодоксального католика в своем атеизме, чем целое сборище попов, этакого Дон-Кихота, бесстрашно атакующего церковные догмы, которые ни один здравомыслящий человек больше не защищал;

на бойкого и эгоцентричного Мак-Гонала, разъевшегося на своей синекуре; на Тумбли, снедаемого подлой завистью; на беднягу Бастьена, скверно пахнущего, славного, жалостливого и почти слабоумного; и даже на Мод, которая долго любила меня и сейчас — я почти уверен — своим телом защитила бы от пули. Так вот, я смотрел и видел, что они мне чужие. Я был другой породы. Что общего у меня с этими людьми? Я чувствовал непреодолимое желание сорвать с себя ошейник, уничтожить свидетельства моего отступничества. Ну вот я и признался. И на мгновенье испытал потрясение: еврей по рождению, католический священник по воле обстоятельств, — обе мои ипостаси смущенно умолкли.

СОЛОМОН ФОЛШ, тогда еще не Баал Шем из Ладлоу, тоже пил и ел с христианами. Он утверждал, что из каббалистического анализа Книги Левит вывел серию чисел, которые, будучи выложенными в форме звезды Давида, открывают чудодейственное благословение. (В древнееврейском языке, как, может быть, вы знаете, числа изображаются буквами.) Во всяком случае, ему достаточно было произнести это благословение над любой запретной едой, — да, даже над свининой! — и она сразу становилась пищей, угодной

Господу. Его изыскания принесли и другие полезные плоды. Например, он открыл длинную цепочку чисел, которые, если их выложить в форме печати царя Соломона, обнаруживают благословение, которое делает ногти на пальцах ног убедительной заменой крайней плоти как знака Завета, заключенного Богом со Своим избранным народом. Неудивительно, что, наделенный личным магнетизмом, Фолш сделал своими приверженцами немало новообращенных из числа христиан — возможно, даже более убежденными, чем его последователи из иудеев.

Принцип, который вдохновлял его многочисленные нововведения в традиционный иудаизм, как он на разные лады объяснял своим последователям и как не раз упоминает в своей «Застольной беседе», заключался в благочестивом желании «освятить порочное», «отмыть нечистое», «открыть небесную искру Сотворения мира, лежащую в сердцевине даже неподатливой глины». Всемогущий, благословен Он, в Своем бесконечном великодушии, в Своей неизреченной мудрости сотворил человека по Своему собственному образу, но Он создал его из праха, из глины. После шести дней трудов, когда Всемогущий, благословен Он, отдыхал от

дел Своих, Божественное вдохновение вдыхалось во все вещи, оставляя следы Его полета по всему мирозданию. Сотворенная природа, согласно Божественной воле, сменилась Творящей природой, и вид увековечил вид. Однако во всех сменяющихся видах жизни и материи сохранилась первоначальная небесная искра Сотворения мира, даже в обыкновеннейшем комке земли. Почему же тогда лучше святить Имя, чем славить парадокс, обнаруживая искру добра в сердце зла, дозволенного в центре запрещенного? «Ты не должен…» — этот запрет оказался не таким простым, каким виделся прежде.

Фолш прибыл в Ладлоу в 1758 году, после того, как девять лет прожил в Бамберге. Там он женился вторично, на этот раз, кажется, скорее из-за денег, чем по любви, на женщине, вошедшей в историю как Безобразная Сара, вдове Джекоба Грейтца, бывшего ростовщиком епископа и мелкопоместных лордов. К 1756 году Фолш еще раз оказался вдовцом. Безобразная Сара умерла от обжорства в праздник Пурим: она ела без остановки — с шести вечера до следующего утра — и упала лицом в крыжовенный пирог. Фолш позднее утверждал, что случай с Безобразной Сарой вдохновил его изучить преимущества воздер-

жанной диеты, после чего он написал «Трактат о пищеварении». Фолш прибыл в Ладлоу в почтовой карете, позвякивая золотыми в кармане, и остановился в гостинице «Ангел». Он сразу же отправил посыльного в Бил-Холл — сообщить сэру Персивалю о своем местонахождении, и потом, выпив чаю, предпринял осмотр города. То, что он увидел, очень ему понравилось.

Следующим утром прибыл сам сэр Персиваль, преисполненный сердечной радости, разбрасывая с седла мальчишкам в гостиничном дворе фартинги и полупенсовики — примерно на шиллинг, по некоторым свидетельствам. Он настаивал, чтобы Фолш перебрался в Холл, который он может считать собственным домом до тех пор, пока не найдет подходящее жилье здесь, в городе, или за городом.

— Ни слова больше, сэр! Я требую, сэр, я настаиваю!

«Ангел» очень хорошая, даже прекрасная гостиница, — сэр Персиваль никогда не слышал о ней дурного слова, — но человеку столь высоких достоинств и такой редкой учености, как Фолш, жить здесь не подобает, совсем не подобает.

И Фолш на несколько месяцев поселился в Холле. За это время он приготовил финтук или два

заветного средства для сэра Персиваля и сумел держать победу над болезнью леди Элис, чью красоту так искусно передал Гейнсборо на портрете, висящем сейчас в Длинной галерее. Он победил ее недуг настолько успешно, что возникает вопрос, не был ли отъезд Фолша из Холла вызван опасениями сэра Персиваля за супружескую верность леди Элис. Далее нам известно, что в марте 1759 года Фолш арендовал дом в двух шагах от Олд-стрит, если идти вверх от переулка Вэкхаус и приюта. Он открыл свое дело и начал с торговли разными средствами, «чтобы усилить красоту прекрасных дам». На щите перед его домом были изображены Елена на зубчатых стенах Трои, а под стенами — Парис с Менелаем, скрестившие мечи в смертельном поединке. Как говорит Мод, его косметические средства наверняка были еще бесполезнее тех, что рекламируют сегодня по ящику, и, хотя я думаю, она иронизирует, возможно, имеет смысл привести здесь пару рецептур Фолша, что привлекали в Ладлоу знатных леди, живших в радиусе семидесяти пяти миль.

Как избавиться от красных угрей

Хорошенько взбить два яйца, добавить столько же сока лимона и столько же

сулемы; выдержать на солнце и тогда использовать.

Как устранить дурное отправление (sic) подмышек

Растолочь в пудру порошок золота или серебра и кипятить в уксусе; если вы хорошо вымоете полученным раствором некоторые части тела, то надолго сохраните их свежими, и лучшего средства нет.

К 1760 году Фолш расширил ассортимент своих услуг, давая объявления в «Вестнике Ладлоу», что берется научить «доподлинному языку, на котором Иисус сказал Нагорную проповедь». Вскоре после этого, возможно, окончательно уяснив, чего не хватает в Ладлоу, Фолш поместил объявления в «Вестнике» и «Горне», обещая обучить языку, на котором Адам и Ева, «первые в мире и самые совершенные любовники», общались в Эдеме. Усовершенствуй мышеловку, говорят американцы, и мир протопчет дорогу к твоим дверям. Фолш, очевидно, шел по следу. Он принюхивался к воздуху и обнаруживал насущную, но неудовлетворенную потребность. Он добивался успеха. Но, что гораздо важнее, Фолш был на пути

к тому, чтобы сделаться Баал Шемом из Ладлоу.

Я ПОСТУЧАЛ В ДВЕРЬ Касингтонской комнаты ровно в шесть утра. Тумбли, я был в этом уверен, там не было. Внизу, в коридоре, американские настенные часы (тонкой работы Джереми Уайлберфоса в футляре из полированного вишневого дерева, Бостон, 1841) пробили шесть.

— Войдите. А, это вы, голубчик. Доброго, доброго вам утра. — Епископ, глядевший в окно, театрально повернулся ко мне и гостеприимно помахал рукой. — Я восхищаюсь видом. Вон там дворец Ладлоу — одна из башен. Величественный вид на фоне неба, превосходный. Взгляните, похоже, пойдет дождь, да, конечно, черные облака на горизонте. Ну ничего, не беда.

Епископ был одет в твидовые брюки-гольф, туго обтягивающие его округлости, торс облегал зеленоватый шерстяной свитер с витым орнаментом и высоким воротом, похожим на шею черепахи, да и сам он напоминал стоящую на задних лапах черепаху.

В комнате остро пахло едой, и мой рот тотчас наполнился слюной, поскольку я еще не завтракал. На столе перед окном лежали остатки «скромного» завтрака Мак-Гонала — Мод, очевидно, удалось управиться вовремя. На буфете стоял

большой серебряный кофейник и пара чашек с блюдцами. Мак-Гонал приглашающе махнул рукой:

— Берите сами, голубчик. Не церемоньтесь.

Я налил кофе. Мак-Гонал тем временем, сжимая в руке зонт, как клюшку для гольфа, отрабатывал удар. Свиш! Свиш!

Я прихлебывал кофе слишком шумно, и тем самым помешал воображаемому мячу упасть в лунку. Епископ взглянул на меня с мягким укором.

— Простите, епископ, что напоминаю, но вы собирались уехать рано утром. И, кажется, был некий важный вопрос, который вы желали обсудить со мной до отъезда. Может быть, начнем?

Несколько подчеркнутая официальность, с которой я к нему обратился, выдавала мою нервозность. Мак-Гонал посмотрел на часы.

— Где, черт побери, Тумбли? — спросил он. — Давайте дадим ему еще пять минут. — Он снова взмахнул зонтом, но его сердце, кажется, больше не поспевало за ним. — Строго между вами, мною и фонарным столбом, его начальство за океаном видит в нем нечто вроде наказания. Он склонен терять душевное равновесие, обнаружив малейшую провинность: например, дежурный

мальчик-хорист не сумел как следует отполировать ciborium[143] или что-то в этом роде. В наказание тот назначил бы пятьдесят ударов хлыстом, если бы мог. Истинный последователь Торквемады, согласны? Тем не менее он утверждает, что обнаружил серьезный беспорядок в делах вашего ведомства. Наверное, пустяки. Обычно так и бывает у парней вроде него. И все же надо посмотреть. На мне ответственность, в конце концов. Он ваш друг?

— Я знаю Фреда Тумбли с наших аспирантских времен. Мы вместе изучали английскую литературу.

Мак-Гонал хмыкнул:

— Хороший ответ. Однако не думаю, что у него на ваш счет добрые намерения. На вашем месте, я бы поостерегся.

Больше всего на свете Мак-Гоналу хотелось жить спокойно и приятно, не раскачивая лодку. Я начал понимать, что эта черта его характера мне на руку. Я мог бы в конце концов проникнуться к нему симпатией из-за его отношения к Тумбли. Конечно, не нужно большой проницательности, чтобы раскусить лицемерие моего давнего вра-

---

[143] Примечания: 143
Дароносица (лат.).

га. Однако многие люди, помудрее Мак-Гонала, поддаются на обольщения лицемера: хорошо известно — льстец восхваляет в них то, что, по их мнению, и правда достойно хвалы. Но в Мак-Гонале что-то противилось. Родство душ? Или, как сказал в эпиграмме Марциал: «*Non te amo, Sabidi*… Я не люблю тебя, Сабидий, и сам не знаю почему…» В любом случае новость была хорошая — раз Мак-Гонал так решительно прикрывает свою внушительную задницу от возможных нападок церковного управления, — он может оказаться где угодно, только не на стороне Тумбли.

Раздался стук в дверь, и влетел Тумбли — небритый, седые волосы (вернее, то, что от них осталось) в полном беспорядке, воротник той самой куртки, на которую плюнул Его Святейшество, неряшливо поднят. К груди он прижимал папку.

— Простите, что опоздал, епископ, ничего не могу понять. Обычно я сама пунктуальность. Спросите Эдмона.

Мак-Гонал с недовольным видом посмотрел на часы.

— Ладно, у меня мало времени. Я должен скоро уехать. Как все нескладно! Вон там кофе, если хотите. Я скажу, когда мне будет пора.

— Но я поставил будильник на пять утра. Часы отстали на час, как я только теперь понял. Когда я проснулся, они показывали четыре пятьдесят пять; к счастью, я взглянул на ручные часы — на них было пять пятьдесят пять. Я торопился, как только мог. Не представляю, что случилось с будильником.

А с часами случилось вот что: я отключил электричество в старых конюшнях на час, с 2 до 3 ночи. Сработала моя вторая линия обороны. Первой был названный Фредом лимон на столе в Музыкальной комнате, который я проткнул и разрезал на куски новым ножом для разрезания бумаги — подарок от ордена Колумба из Джолиет, Иллинойс, — ножом, который я заточил поздно ночью при свете месяца. Конечно, я верил Фолшу, но подумал, что не помешает и запасной вариант.

— Да, да, — нетерпеливо сказал Мак-Гонал, — переходите к делу.

— Тотчас же, епископ, сию минуту. — Тумбли вытащил из своей папки лист бумаги и протянул Мак-Гоналу. Это была, насколько я мог видеть, страница из каталога Попеску, та самая, копию которой Тумбли прислал мне, разукрасив красными вопросительными и восклицательными

знаками. Тумбли посмотрел на меня и ухмыльнулся. — Обратите внимание на пункт, который я отметил, епископ. «Библиотека Бил-Холла». Книга сонетов, предположительно Уильяма Шекспира, и в издании, до сих пор неизвестном науке. Ее ценность неизмерима, она стоит миллионы — фунтов, долларов, чего угодно, будь книга здесь, в Бил-Холле, она прославила бы библиотеку, подняв до уровня Хантингтона и Фолджера. — Тумбли ханжески поджал губы.

— А если У.Ш. — не Уильям Шекспир?

— Ну, конечно, это несколько уменьшит ее стоимость. Но все равно речь идет о целой куче баксов, епископ. Это уникальное издание. Ее нет ни в одной библиотеке мира. Ни один библиограф даже не слышал о ней. Но готов держать пари на что угодно — это Шекспир.

— На что угодно, Фред? — спросил я. — Не на свою ли бессмертную душу?

— Это всего лишь фигура речи. Мне нет нужды тревожиться о моей бессмертной душе.

— Разве это не священная обязанность каждого истинно верующего?

— Джентльмены, джентльмены, мы давно оставили школьную площадку для игр. Вы действительно видели эту книгу, отец Тумбли?

— Только запись о ней на странице каталога.

— Вот на этой странице, значит? — с сомнением повторил Мак-Гонал.

— Пусть вас не вводит в заблуждение шрифт, епископ. Это претенциозность торгового дома, французского торгового дома, довольно известного в книжном мире. Его владелец — парень с сомнительной репутацией, Аристид Попеску, полное ничтожество, выскочка. Я не был близко с ним знаком, но, если Шекспир из Бил-Холла есть в его каталоге, скорее всего, он купил его легально и готов по первому требованию предъявить купчую. Попеску, между прочим, старый друг Эдмона. Вот. Но, видит бог, я ни на что не намекаю.

— Но все же скажите, вы видели эту книгу?

— Нет, саму книгу — нет. Как я уже сказал, только ее название в каталоге.

— Так, может, она вообще не существует?

— Наверняка существует! Попеску не валял дурака.

— Выходит, вы его хорошо знаете?

— По крайней мере, Фред знает Аристида ровно столько, сколько знаю я. Фред недавно обедал с ним в Нью-Йорке, — я решил вмешаться в разговор.

— Вы друзья?

— Черт, конечно нет, — возмутился Тумбли. — Мы встретились случайно. Я не видел его целую вечность, с наших аспирантских дней в Париже. Уже тогда, уверяю вас, он был, как говорят французы, *mal de type*, беспутный.

— Благодарю за перевод, — саркастически заметил Мак-Гонал.

Тумбли никак не попадал в нужный тон:

— О'кей. Как бы там ни было, он сказал, что ему одиноко в Нью-Йорке. Он попросил меня составить ему компанию за обедом. Я счел это своим христианским долгом. Сам Господь наш, — добавил он чопорно, — вкушал пищу с грешниками.

Это было слишком даже для Мак-Гонала — он не смог проглотить эту тираду без насмешливого хмыканья.

— За обедом он и показал мне лист из каталога.

— Отец Мюзик, — Мак-Гонал нетерпеливо посмотрел на часы, — что вы можете сказать об этом неприятном деле?

— Мне едва ли есть что сказать, епископ. Книга, если она существует, не была обнаружена ни в одной из наших библиотечных описей и ни в одной из регистраций библиотечных приобретений или продаж. Нет ссылок на нее и в бумагах

семьи Бил. Как только я получил тревожное известие от отца Тумбли, я незамедлительно начал тщательное расследование. Конечно, каталог библиотечных поступлений, заведенный еще до меня, бессистемен и далеко не полон. Но работа ведется. Я надеюсь завершить каталогизацию коллекции рукописей, прежде чем умру, — последний, так сказать, редут, и тогда моя миссия здесь будет выполнена. Дальше. Я ездил в Париж, полный решимости встретиться лично с Аристидом Попеску. Он, я уверен, представил бы мне «документы», полученные из Бил-Холла, подтверждающие законность записи в его каталоге. Но я не смог найти Попеску. Он куда-то уехал, как сказал его сын, партнер в их семейной фирме, — возможно, в Будапешт. Сын утверждал, что ничего не знает ни об этой книге, ни о каталоге.

— Это верно, — подтвердил Тумбли. — Сын дал мне тот же обтекаемый ответ. Попеску-père[144] куда-то исчез.

— Короче говоря, — решил подвести черту епископ, — ничего нельзя сделать, пока этот иностранец, этот… попинджей?..[145] не всплывет

---

[144] Примечания: 144
Отец (фр.).

[145] Примечания: 145
Хлыщ (англ.).

на поверхность. Кстати, отец Мюзик, полагают, тогда хотели вас убить? Я припоминаю какой-то переполох. Там оказались не вы, в вашей машине сидел какой-то бедняга. Вы были в Париже, верно?

— Все так, епископ. Я был в Париже. А теперь здесь расхлебываю нехорошую историю с этой книгой. Но, как вы сами сказали, пока я не переговорю с Попеску, я ничего не могу сделать.

— Я понял. — Мак-Гонал вернул Тумбли лист из каталога, довольный тем, что развязался с ним. — Кто угодно на старой пишущей машинке состряпает такой список. Очень может быть, вам просто морочат голову, отец Тумбли.

— Вот как? — взвизгнул Тумбли, приходя в смятение. — Конец истории? Нечего расследовать? — И добавил в отчаянии: — Знаете, я не хотел упоминать об этом, но Эдмон тут обзавелся новой машиной, «ровером». Кожаные сиденья и прочее. Цена этой модели должна быть как минимум сорок пять тысяч фунтов. Это куча денег в сравнении с жалованьем священника, даже если этот священник — директор Института. Что вы на это скажете, а?

— На это — ничего, — ответил мой герой, славный епископ Мак-Гонал, скорее всего защищая

собственную лужайку. — Источник частных средств нашего директора — его личное дело. Внутренние поступления, — добавил он, хихикнув, чтобы смягчить свою категоричность. — Кроме того, машина может принадлежать Бил-Холлу.

— Нет, она моя, — вмешался я. — Собственно, «ровер» — это подарок. Я крайне нуждался в машине после того, как разбился мой старый «моррис».

— Подарок? — съязвил Тумбли. — Очень милый подарок, ничего не скажешь. Нельзя ли спросить — от кого? Может, от Мод Мориарти?

Его голос сочился кислотой. Он, конечно, считал, что я лгу. Но у него не было фактов, чтобы уличить меня.

— Это подарок моего отца, — ляпнул я, поскольку правду сказать не мог.

— Вашего отца? — развеселился Мак-Гонал. — Он, должно быть, древнее Мафусаила.

— Нет, нет, — сказал я. — Он давно умер. Но после войны он снова занялся бизнесом, заработал кое-какие деньги и оставил мне скромное наследство.

— Ну конечно… — не удержался Тумбли.

— Ладно, мне пора, — сказал Мак-Гонал. Он

надел куртку под пару брюкам-гольф, натянул на голову твидовую кепку. — Ну, как я выгляжу?

— Как будущий победитель, — ответил я.

— У вашего друга майора странное чувство юмора, не правда ли? — вспомнил Мак-Гонал. — Славный малый и все такое, но…

— Майор Кэчпоул сражается со своей верой, он старый солдат. Это битва, в которой он не может победить. По правде говоря, не думаю, что он хочет победить. Мы должны быть терпимы к нему.

— Должны быть? — гаденьким тоном переспросил Тумбли. — Я вспоминаю о хлысте, когда слышу такое.

— Не стоит, отец Тумбли, — остановил его Мак-Гонал. — Но майор и правда проявил вчера весьма дурной вкус за обеденным столом. — Он улыбнулся. — Не имел в виду каламбурить, а? — Он осмотрелся вокруг. — Так, а где мой зонтик?

Я подал ему зонт.

— Хорошо, спасибо. Держите меня в курсе, отец Мюзик. Найдите этого попинджея, если сможете.

— Вот как? — повторил свой вопрос Тумбли, но уже явно смирившись.

— Да, вот так, — ответил Мак-Гонал, направляясь к двери. — Мюзик, пошлите кого-нибудь, пусть вынесут мои вещи. Наслаждайтесь пребы-

ванием здесь, отец Тумбли. «Пишите, пишите, пишите», так?

И он вышел.

Я СНОВА УВИДЕЛ МОЕГО ОТЦА в 1975 году, ровно двенадцать лет спустя после той ужасной первой встречи. В Бил-Холл пришла телеграмма, — да, телеграмма! — адресованная «Мюзику, священнику» и подписанная «Мама». Моя мачеха отыскала меня, как я позднее узнал, остановив монахиню-кармелитку на мощенной булыжником улице в Яффе и спросив ее о моем местонахождении. Пораженная монахиня направила «маму» в местную библиотеку ордена. Так сказать, «доберись до монахинь» — и все узнаешь. В соответствующем справочнике нашелся мой адрес. Что касается телеграммы, то это был образец лаконизма: «Эдмон. Приезжайте посмотреть на вашего сумасшедшего папу. Приезжайте быстрее».

Как я узнал, много всего случилось с тех пор, как мы расстались. Семья хлебнула лиха. Бенджамен, мой сводный брат, взлетел на воздух — новобранцем попал на Синай в войну Судного дня. Что-то наскребли, чтобы похоронить героя. Дафна, моя сводная сестра, на похоронах с криком бросилась в его могилу. Позже она стала прогули-

ваться (и в 1975 году все еще прогуливалась) по морской набережной перед отелем «Дан», желая лишь одного — угодить своему сутенеру, родом из России, хулигану, по словам моей мачехи (которая, кстати, была на семь восьмых нееврейка). «Мама» сама оказалась в таких обстоятельствах, что грех было бросить в нее камень. Жизнь семьи Мюзичей напоминала теперь серию жанровых картин кисти Хогарта.

Мюзичи переселились из вполне приличного, как я теперь понял, района в северном Тель-Авиве в блошиные трущобы неподалеку от центрального автовокзала. В воздухе висело зловоние от прогнивших овощей и дизельного топлива. Открывшая мне дверь мачеха выглядела давно не мывшейся женщиной в драном домашнем халате. Ее косметика причудливо расплылась от пота, лицо казалось нездоровым, жидкие волосы в беспорядке.

— *Сию минуту*, вам все же пришлось приехать?

Позади нее в комнате, похожей на спальню, араб в дешевом рабочем костюме поправлял на голове куфию. Он посмотрел в зеркало и разгладил свои тонкие усики. Когда он направился к двери, я отступил в сторону, давая ему дорогу.

— Сегодня ты был удивительный, малыш, — сказала она ему вслед с безнадежной тоской, сверкнув золотыми коронками. — Сегодня ты был просто бык.

Он сердито нахмурился.

— Заткнись, — сказал он, протискиваясь мимо меня.

— Завтра, малыш? Я не могу долго ждать.

— Заткнись, слышала! Сказал же — заткнись! Хочешь, чтоб я тебе накостылял, этого ты хочешь? — Он поднял руку, чтобы скрыть от меня лицо, и выскочил на многолюдную улицу.

Она улыбнулась усталой циничной улыбкой.

— Он на воздухе, ваш папа, в саду. Идите и поговорите с ним. — Она провела меня через грязную квартиру. Истрепанная сальная занавеска висела над стеклянной дверью, ведущей в сад. — Я приготовлю чай.

«Сад» оказался запущенным клочком земли, где две жилистые курицы тупо дергались под белым раскаленным небом: они замирали, стоя на одной ноге, минуту настороженно осматривались вокруг, опускали клюв в пыль и поднимали другую ногу. Выцветший тент, натянутый между двумя деревянными жердями разной высоты и задней стеной дома, создавал подобие тени. Под

тентом, в ярком садовом кресле из алюминия и переплетенных пластиковых лент, сидел мой отец. Рядом с ним стоял небольшой перевернутый ящик из-под продуктов, служивший столом.

— Возьмите стул! — крикнула моя мачеха из дома. — Он там, у стены. Возьмите два, один для меня. Устраивайтесь поудобней.

Я перенес два стула в тень и поставил их около ящика.

— Привет, отец, — сказал я.

Если он и удивился, увидев меня, то не подал виду, только хитро посмотрел и показал на кур.

— Ти хи, — произнес он. — Ти хи.

Мой отец опять стал костлявым, каким был сто лет назад в Орлеане. Мокрая от пота одежда болталась на нем, ему давно нужно было побриться. По ногам, обутым в сандалии, безмятежно ползали черные насекомые. Я чувствовал прокисший запах его тела, однако выглядел он довольно хорошо, хоть и сошел с ума. Кожа его уже не была бледной — покрывшись средиземноморским загаром, стала смуглой, как у жены.

— Ну, что вы думаете о нем, о вашем папе?

Моя мачеха вынесла на подносе два дымящихся стакана чая, несколько кружочков лимона, небольшой кувшинчик с медом и несколько па-

лочек корицы. Она очень осторожно поставила поднос на перевернутый ящик и села рядом с мужем.

— Он не хочет чаю, — объяснила она. — Он ничего не хочет. Все, чего он хочет, это смотреть на кур.

— Ти хи хи, — хитро сказал мой отец.

— У него от этого кресла язвы на заднице, похожие на кроссворд-пазл, правда, малыш? — И она сопроводила свои слова безжалостным тычком отцу под ребра, так что у него выступили слезы. — Он ничего не чувствует, он ничего не делает, он ничего не говорит. Он только сидит и посмеивается над курами.

Она подняла камень с земли и бросила в кур. Выражение тревоги промелькнуло на лице моего отца.

— Что с ним случилось?

— Выпейте чаю. Вот с этим. — Она опустила кружочек лимона в стакан, влила немного меда и помешала чай палочкой корицы. — Вот так, пейте. — Она передала мне стакан и приготовила другой для себя. — Что с ним случилось? С ним случилось вот что: однажды он открыл, что проклят Богом. А раз он открыл это, то решил, что нет вообще никакого смысла что-нибудь делать. Так

он и сидит. — Она маленькими глоточками пила чай. — Вы видите отпечаток большого пальца Бога на его лбу? Нет? А он видит.

— Но почему он считает себя про́клятым?

— Давайте рассуждать. Возможно, потому, что его первая жена — ваша любимая мама — была лесбиянка, что вызывало у него понятное отвращение? Нет, не это. Или потому, что он оставил жену и ребенка нацистам? Опять нет. А может, потому, что его старший сын, вы, ваше преподобие, стал священником, и это — оскорбление для бессчетного числа мучеников, которых зверски уничтожила ваша Церковь? Или потому, что от его второго сына, моего прекрасного Бенни, остались одни кровавые ошметки на Синае? Или потому, что его дочь, моя Дафна, раздвигает ноги для любого, у кого есть десятифунтовая банкнота, двадцатидолларовый счет? Нет, нет и нет.

Красноречие этой женщины, говорившей на иврите, удивило меня. К моему стыду, я представлял ее себе невежественной, суеверно примитивной, недалеко ушедшей от родной лачуги в североафриканской пустыне. Сегодня мое присутствие уже не вызывало у нее желания прибегнуть к помощи амулета, чтобы отвести порчу. Может за прошедшие годы жизни с моим

отцом она узнала, что дурной глаз не так легко отвести. Дух как-никак дышит где хочет.

— Ваш папа понял, что проклят, потому что свалился с лестницы и сломал ногу.

Мой отец перевел взгляд с жены на меня и неожиданно бодро кивнул.

Она подобрала с земли другой камень и со злостью бросила в кур, попав одной из них по задранной кверху гузке. Та подпрыгнула, громко кудахча.

— В десятку! — радостно сказала она и ткнула моего загоревавшего отца под ребра. — Вас так увлек рассказ, Эдмон? — обратилась она ко мне. — Вы забыли про чай.

Я из вежливости сделал маленький глоток.

— Да, это было вот уже скоро почти пять лет назад. Он строил сукку[146] в саду. Не здесь, не в этой грязи, а в нашем старом доме. Вы помните, Эдмон? Вы видели собственными глазами, какой замечательный был у нас тогда дом. Ну ладно, он поднялся по лестнице забить кое-куда гвозди, и тут — мы и ахнуть не успели — кувыркнулся вниз — трах! бац! Что вы думаете, он сломал себе ногу! И еще ухитрился шарахнуться головой о

---

[146] Примечания: 146

Сукка — шалаш из жердей и пальмовых (или еловых) веток, который сооружают в праздник Кущей (иврит).

молоток и получил вмятину вон там, у левого виска. Посмотрите, еще видно, где этот идиот получил вмятину. Так что, не считая сломанной ноги, он был весь в крови. «Я умираю! — вопит он, этот герой. — Спаси меня, Нурит!» Ну, сломанную ногу они могут срастить. Разбитую в кровь голову могут зашить и забинтовать. Но с его идиотством они ничего сделать не могут. Пока он лежит в постели, ожидая, когда заживут раны, у него есть время думать. Простите меня, Эдмон, но голова вашего папы не устроена для того, чтобы думать. И вот что он думает: «Я полез на лестницу строить сукку. Другими словами, я исполнял мицву, заповедь, творил доброе дело. И тогда Всемогущий, благословен Он, швырнул меня на землю и проделал дыру в моей голове. Почему Он так поступил? Чтобы показать мне, что я проклят, показать, что ни одно из моих добрых дел не угодно Ему». Логично, не так ли, малыш? — Еще один свирепый тычок мужу под ребра. — *Тогда зачем же*, делает вывод этот венгерский Эйнштейн, вообще что-то делать? Вот почему мы здесь, в этой дерьмовой дыре, вот почему он сидит здесь, хихикая над своими курами, вот почему Фуад приходит сюда три или четыре раза в неделю.

Она указала на мой чай. Я отпил еще глоток.

— Фуад не такой уж плохой. Потом, он мне платит. Кроме того, женщина нуждается в некоторой стимуляции, даже в моем возрасте. Ваш папа был не Самсон, даже в те дни, когда вдруг проявлял интерес. Фуад требует немного труда, нужно чуточку заботливого внимания, чтобы у него заладилось, но потом он кончает, он кончает, и так всегда. Беда в том, что ему нравится моя задница, а это бывает больно. У меня ведь нет стыда. Я все вам рассказываю. Кроме того, вы священник. Вы, должно быть, слышали много исповедей. Осмелюсь предположить, нет ничего, что может удивить вас. Я говорю моим соседям, что Фуад бывает здесь для деловых переговоров с вашим папой. Верят ли они мне? Кто знает? Связавшись с арабом, мы можем нарваться на серьезные неприятности. Ортодоксальные евреи начнут орать. У моих соседей хватает забот — им нужно сунуть корку хлеба в рот своим детям. Чужие дела им ни к чему. Лучше посмотреть на них с другой стороны. Знаете, среди бедных есть какое-то братство. Все-таки смешно, как подумаешь обо всем этом. Он проклят Богом, но посмотрите на него: он счастлив со своими курами! Теперь взгляните на меня. — Она в сердцах запахнула халат на приоткрывшейся груди. — Он полный

ноль, и меня воротит от его идиотства. Вы знаете историю про Иова? Простите, конечно вы знаете. Чтобы испытать Иова, Бог сделал ужасные вещи с его семьей. Но чем провинились они, чтобы так страдать? Ведь не их испытывали. Значит, у Бога не было ни сочувствия к ним, ни любви, и Он думать не думал о страданиях жены Иова, детей Иова? Ладно, мы знаем ответ на эти вопросы, ведь так?

Я ничем не мог ее утешить и не хотел обижать, щеголяя банальными фразами, подходящими скорее для похорон. Но она и не искала у меня утешения, понимая, что обречена быть несчастной.

— Не знаю, почему я просила вас приехать. Он на моей ответственности, не на вашей. Но он ваш папочка. Я думала, вам нужно знать, что с ним случилось. Как долго он сможет протянуть? Его мышцы усыхают, его ум угасает. Он продолжает худеть. Я думаю, ему хочется умереть.

Я вернулся в Англию через Швейцарию, где зашел в банк и распорядился о ежемесячном денежном содержании, которое должно выплачиваться Нурит Мюзич в Тель-Авиве. Я больше не получал от нее вестей. И никогда больше не видел моего отца. В конце 1989 года банк известил меня, что получатель умер.

Часть пятая

Когда нас щекочут, разве мы не смеемся? Когда нас отравляют, разве мы не умираем? А когда нас оскорбляют, разве мы не должны мстить?

***«Венецианский купец», 3.1.63*[147]**

Я никогда не даю советов в вопросах религии и супружества, потому что не хочу чувствовать вину за чьи-то мучения ни в этой жизни, ни в будущей.

Лорд Честерфилд. «Письма», 1765

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после отъезда Мак-Гонала Тумбли, превращенный на моих глазах в ходячее посмешище, тоже уехал на неделю для «подлинно научных изысканий» в местах шекспировской юности, не только в Стратфорде, но и в окружающих его городках Снитерфилде, Шотери, Уилмкоуте, Эстон-Кентлоу, Тидингтоне и Элвистоне. Он пошел по следу Уильяма Шекхефта, которым, как он считал, был сам поэт, вынужденный слегка изменить фамилию из-за

---

[147] Примечания: 147
Перевод И. Мандельштама.

своего нонконформизма и на недолгое время стать учителем в Ланкашире среди приверженцев старой веры[148].

— Почему бы тебе не съездить и в Ланкашир? — спросил я с надеждой.

— Конечно поеду, — ответил Тумбли. Но прежде чем я успел облегченно вздохнуть, он добавил: — В этом году не получится, возможно, в следующем.

— Что ж, прекрасно, — сказал я. — С Шекспхефтом интересный вариант, согласен. Но ты когда-нибудь думал, что, изменив фамилию своего толстяка рыцаря Олдкасла[149] на Фальстаф, он остроумно обыграл собственную — «shake-spear» и «fall-staff»[150], — а потом с сожалением должен был признать, что, если будет продолжать подобную игру и с другими историческими персонажами, у него будут неприятности?

На пару минут я купил его. Он вынул из кармана записную книжку и ручку и стал быстро

---

[148] Примечания: 148

Старая вера — католицизм.

[149] Примечания: 149

Олдкасл — реальное историческое лицо, прототип Фальстафа.

[150] Примечания: 150

Здесь игра слов: «потрясающий копьем» (англ.) — Шекспир; «роняющий дубинку» (англ.) — Фальстаф.

записывать. Но наконец до него дошло, какую чушь я ему выдал. Он со злостью сунул все обратно.

— Очень смешно, ТИ, — сказал он гаденьким тоном. — Знаешь что? Тебе надо было пойти на сцену. Ей-богу. Ты смешнее бочки обезьян.

— Кучи, — поправил я. — Ты хотел сказать — «кучи обезьян».

Вот так я получил передышку и смог заняться другими неотложными делами. Я подумывал о новой поездке в Париж, но, прозондировав ситуацию по телефону, понял, что сейчас это не имеет смысла. Я разговаривал с мадам Попеску-младшей, теперь женщиной средних лет, но парижанкой с головы до ног, сохранившей великолепную форму. «Бедная малышка Иветта», как она себя называла, временно управляла делами фирмы, и ее смех по телефону звучал довольно нервозно. Оказалось, что Попеску-fils поехал в Будапешт на поиски Попеску-père, но сумел узнать только, что ее «непослушный, непослушный свекор» — «ах, какая досада!» — отбыл из Будапешта в Москву, или это был Санкт-Петербург?

— С ним все в порядке, Иветта? Вы можете быть со мной откровенны.

— Конечно, конечно. А вы о чем подумали? Вы

же знаете Аристида Попеску. Он, должно быть, учуял запах какого-то редкого издания, понюхал воздух — «нюх-нюх» — и погнался за этим запахом с пылом Казановы, пустившегося покорять еще одно сердце. А мой Гейби разве лучше?

Она намекала на историю их брака.

— В таком случае не стану вас больше беспокоить, — сказал я. — Когда Аристид вернется, пожалуйста, скажите ему, что мне нужно срочно с ним поговорить.

— Вам и сотне других. — Она больше не могла сдерживать рыдания. — Помолитесь за него, отец. Помолитесь за них обоих! — И она положила трубку.

Было ясно, что Аристид с сыном попали в какую-то переделку. Ну, Аристид всегда ходил довольно скользкими путями. Я надеялся на помощь человека, который, кажется, сам нуждался в ней.

Я знаю о «Любовных и других сонетах» У.Ш. гораздо больше, чем признавался до сих пор, — например, как эта книга оказалась в библиотеке Бил-Холла. И то, что я знаю о ней, заставляет меня сомневаться в ее подлинности. Сэр Персиваль приобрел книгу у Соломона Фолша в обмен на «Агаду», напечатанную в Дунахарасти на иврите

в 1609 году. Это в значительной степени подтверждается личными бумагами Фолша, которые я держу под замком, а ключ — в моем столе в Музыкальной комнате. (Он писал на многих языках, этот Фолш: иврит, латынь, немецкий, французский, итальянский, английский, голландский, венгерский — ими он пользовался чаще всего. Если не считать те его труды, которые теперь опубликованы, обычно даже в коротких записках он использовал смешение языков, эдакую сборную солянку, чтобы выразить тонкие смысловые нюансы. Однако записи, которые Фолш желал уберечь от чужих глаз, он вел на английском, но хитроумно записанном древнееврейскими буквами. Поразительно, насколько удобным может быть этот несложный шифр. Я тоже стал пользоваться им, придумав и собственное маленькое усовершенствование: Фолш писал справа налево — характерный для иврита способ письма, я же пишу слева направо.)

Восемнадцатый век был веком поклонения Шекспиру, и в некоторых отношениях даже в большей степени, чем век двадцатый. Как же сильно западный мир, особенно британцы, — все-таки соотечественники! — жаждал найти неизвестные рукописи Шекспира, или докумен-

ты, или хоть что-нибудь — лишь бы это имело отношение к Барду, к его жизни, его творчеству, его гениальной личности! Действительно удалось добыть несколько крупинок золота и пролить новый свет на жизнь человека, почитаемого сегодня как бога, кто стремился, хотя и безуспешно, получить дворянское звание и оставил свой след, хотя и туманный, в судебных архивах Англии. Однако ни того золота, ни света не хватило, чтобы незамедлительно сделать его кумиром Англии. И все же, разве не величайший английский актер, Дэвид Гаррик, в 1769 году открыл в Стратфорде — увы, спустя пять лет после двухсотлетнего юбилея! — первый шекспировский праздник? Именно он. И кто как не сэр Персиваль Бил подхватил эту национальную лихорадку? Конечно он.

Сэр Персиваль был человеком разносторонним и подходил под определение, которое предпочитал он сам, — «натурфилософ». Страстный астроном, ботаник и математик, он интересовался и многими другими науками. Конечно, сэр Персиваль был дилетантом, но жил он в те времена, когда джентльмены-любители работали серьезнее, чем университетские ученые. Почетный член Королевского общества, он

опубликовал много статей в «Трудах» этого августейшего общества. Его переписка с такими коллегами, как Кавендиш, Барингтон, Франклин, Эйлер, Линней и Монтескье, являет нам образчик прелестной эклектической любознательности (многое из этой переписки можно найти в трехтомнике, подготовленном к печати и частным образом изданном в 1902 году его потомком сэром Коридоном Билом, изобретателем самоочищающегося ночного горшка).

Католицизм сэра Персиваля не мешал ему в поисках научной истины. Босуэлл[151] приписывает ему остроту: «Ньютону — Ньютоново, а Богу...» и так далее. В своей «Sapientia Rustici»[152] (1783) сэр Персиваль писал:

> «Это опасная вещь — затрагивать авторитет Священного Писания в тех диспутах, где Мир Природы противопоставляется Разуму. Как бы Время, которое на все проливает свой Свет, не выявило очевидное неправдоподобие того, что в Священном Писании мы считаем истин-

---

[151] Примечания: 151
Босуэлл Джеймс (1740–1795) — английский писатель и мемуарист.

[152] Примечания: 152
«Деревенская премудрость» (лат.).

ным».

Тем не менее, прожив долгую Жизнь, сэр Персиваль оставался твердым в своей вере католиком. Страшно даже предположить, что бы он мог сказать о Дарвине.

Как вам уже известно, сэр Персиваль был великий путешественник и собиратель редкостей. Сэр Джон Соун, архитектор, рассказывал лорду Гревилю, что именно сэр Персиваль первым пробудил в нем страсть коллекционера: «старый джентльмен» подарил сэру Джону, тогда еще мальчику, несколько черепков римской керамики и разбитую шестидюймовую глиняную фигурку египетского бога Тота. Это был, сказал сэр Джон, «самый мягкий, самый благородный и самый обязательный из всех людей».

«Агада» из Дунахарасти — чудо книжного искусства. Эта книга тоже хранится здесь, запертая на ключ в моем столе. Сэр Персиваль приобрел ее в 1765 году у монастыря в Ватра-Нимте, приютившегося высоко в Карпатских горах, среди проносящихся в небе облаков. Баронет держал путь к Бургасскому заливу на Черном море, где, по его словам, хотел отыскать кое-какие интересные римские развалины, и остановился в

монастыре, чтобы хоть ненадолго укрыться от сильного и резкого ветра, который дул целыми днями, чтобы дать отдых себе, своим ослам и своему проводнику (именно в таком порядке) и спастись от кровожадных бандитов, появление которых заметил проводник у самого перевала.

Непонятно, как «Агада» попала в этот труднодоступный монастырь, к аббату, совсем недавно ставшему настоятелем, и сэр Персиваль — как он записал в своем дневнике — не хотел спрашивать об этом, чтобы не показаться несведущим людям более низкого звания. Баронет несколько дней отдыхал в Ватра-Нимте, и все это время его, как магнитом, тянуло к «Агаде». Он горячо желал ее. В день отъезда сэр Персиваль, оставляя аббата в этом диком орлином гнезде в Карпатах, дал ему пять золотых соверенов, что по тем временам было необычайной щедростью, и просил молиться за гостя-грешника. Аббат же, в свою очередь, настоял, чтобы сэр Персиваль взял с собой «Агаду» из Дунахарасти, так как он, кажется, заинтересовался ею, а в монастыре она совершенно бесполезна, поскольку никто в Ватра-Нимте не может разобрать в ней ни одной буквы. Во всяком случае, так сам сэр Персиваль после возвращения в Англию описал Фолшу историю своего нового

приобретения.

Впрочем, он мог и просто так положить книгу в карман.

Я думаю, что тот момент, когда Соломон Фолш увидел «Агаду» из Дунахарасти в библиотеке Бил-Холла, стал переломным в его жизни, вызвав такое потрясение, которое обратило его к истинному благочестию. Ибо Фолш узнал «Агаду». Маленьким мальчиком, дрожа от благоговения, он держал ее в руках: он удостоился такой великой чести за то, что задал умный вопрос об исходе из Египта за пасхальным столом Мейерберов. Фолш уже не мог вспомнить свой вопрос, но все еще помнил гордость во взгляде отца, когда старый Мейербер позвал мальчика во главу стола и пригласил его подержать книгу, перевернуть страницы, посмотреть картинки; он помнил, как пылали его пухлые щеки, когда старик ласково ущипнул его.

К тому времени, когда сэр Персиваль приобрел «Агаду», ей было уже гораздо больше ста лет. Глава общины ребе Ройвен Мейербер заказал ее в начале семнадцатого века Гершему Шаеру, пражскому художнику. То, что Фолш видел мальчиком и что теперь увидел снова, когда сэр Персиваль вернулся из своего путешествия, был

рисунок, изображающий деревянную синагогу в Дунахараст и крошечные фигурки людей, направляющихся к ней через площадь. Рисунок помещался на титульном листе в центре под словами [illegible], «Пасхальная Агада». Титул был также украшен готическим декоративным обрамлением с фигурами Адама и Евы, Самсона, держащего на своих плечах городские ворота Газы, и Юдифи с головой Олоферна. Одно из самых прекрасных первопечатных изданий иллюстрированной «Агады» дошло до наших дней в этом единственном экземпляре, и оно хранится в Бил-Холле.

Можно себе представить, что почувствовал Фолш, увидев книгу. Уютно устроившись вместе со своим покровителем в изящной овальной библиотеке со стаканом рейнвейна с содовой, поглядывая из окна на башенки дворца Ладлоу, едва видные за окультуренными до мыслимого совершенства землями поместья, Фолш, должно быть, неожиданно почувствовал себя перенесшимся назад, в давно забытое детство. Возможно, книга напомнила ему об утраченной чистоте, о непреклонной вере его народа, о тепле семейного очага, о стряпне его матери, о ее лице, залитом таинственным светом, когда она зажигала свечи,

встречая субботу. Как эта «Агада» попала в отдаленный монастырь в Карпатах? Что ее появление там могло поведать о судьбе семьи Мейербера в Дунахарасти? То, что она снова возникла в жизни Фолша, поразило его и даровало безотлагательную цель. Чтобы книга, рассуждал Фолш, ушла из еврейских рук, должна была — и это несомненно — пролиться еврейская кровь. Что ж, он освободит «Агаду», вырвет ее из запятнанных кровью лап goyim. Почерком, неразборчивость которого свидетельствует о сильнейшем душевном волнении, Фолш записывает, что твердо намерен вернуть эту книгу евреям — честным путем или бесчестным. С готовностью и страстью он берется за эту задачу, которую почитает своим «святым долгом».

Дальнейшее описание событий вполне можно назвать «воображаемой реконструкцией», хотя она целиком основана на письменных свидетельствах — записях Фолша и случайных, разрозненных заметках, найденных мною среди бумаг сэра Персиваля.

Фолш начал с хитрости. Повстречав однажды далеко за полдень той же весной сэра Персиваля, не совсем твердой походкой выходившего из дворца наслаждений Пэг Сампэ на Пэй-Лейн,

Фолш дружески приветствовал своего покровителя:

— Ого, сэр Персиваль! Как поживаете? А как поживает миледи? Прошу вас, передайте ей мои самые сердечные пожелания здоровья и благополучия. Ну, как вы, дорогой сэр? Надеюсь, все в порядке? — Я представляю себе Фолша, многозначительно кивающего на полированную дверь заведения Пэг Сампэ. — Готов ручаться, что нет никаких рецидивов прежних проблем.

— Нет, благодарю вас. А вы, сэр, как вы поживаете? — Сэра Персиваля слегка качнуло, и Фолш поддержал его под локоток. — Проклятье, чертовы булыжники! — ругнулся сэр Персиваль. — Прогуляетесь со мной? Мой конь остался у Джорджа.

— А я думал, вы его оставили у Пэг Сампэ. — При этом Фолш, скорее всего, подмигнул.

Сэр Персиваль рассмеялся:

— Ах вы, шалун! Мой конь норовист.

— Медон, разве он норовистый? — Можно подумать, Фолш умел отличать одну лошадь от другой.

— Нет, это Амикус. Медон натер холку. — Сэр Персиваль всех своих лошадей называл в честь знаменитых кентавров.

— Вот, значит, как, — участливо заметил Фолш, хотя слова «натер холку» он слышал впервые и не знал, что они означают. — Пусть ваш конюх натрет немного моркови, превратив ее в мягкую кашицу, и потом, протерев через сито в ведро Медона и смешав с водой, даст ему выпить. Не сомневаюсь, он быстро поправится. Морковь если не поможет, то в любом случае не повредит.

Они повернули за угол на Олд-стрит.

— «Вы тем путем идите, — сказал сэр Персиваль, — а я — этим»[153].

Однако Фолш был не так хорошо знаком с творчеством Барда и не понял аллюзии. Скоро он очень хорошо узнает его. Но продолжим:

— Не хотите ли выпить чаю в моем скромном жилище, сэр Персиваль? Вы окажете мне большую честь.

— Почему бы и нет, — ответил сэр Персиваль. — Премного вам обязан, я не так твердо стою на ногах, как хотелось бы. — Он рыгнул и нервно помахал кружевным платочком у себя перед носом. — А ваша прелестная экономка, Полли, у нее найдутся для меня горячие лепешки со смородиной? И ее крыжовенный джем?

---

[153] Примечания: 153
«Король Лир». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

— Будьте уверены, все найдется.

— Ах, прелестная Полли! — похотливо произнес сэр Персиваль.

Полли Плам[154] исполнилось в то время семнадцать. У нее были распутные глаза, тонкая талия и торчащие груди.

— Теперь ее зовут Сара, — сообщил Фолш. — Я обратил ее в иудаизм, как и всех в моем доме. Но ее лепешки и джем остались прежними.

— А-а-а… — Разочарование в голосе сэра Персиваля было очевидным. Сделавшись иудейкой, Полли стала для него чем-то вроде монахини.

Устроив сэра Персиваля в уютной задней комнате, выходящей в сад, и подав ему освежающие напитки и закуски, Фолш начал разговор на тему, совершенно завладевшую им, но начал с полной беспечностью, словно делясь праздной мыслью, рассеянно бродившей в его голове и лишь случайно попавшей на кончик языка:

— Эта древнееврейская книга, которую вы привезли из… где это было? Монастырь в Карпатах?

— Ватра-Нимт. Самый лучший крыжовенный джем во всем графстве. — Сэр Персиваль отправил в рот маленький кусочек лепешки с джемом

---

[154] Примечания: 154
Plum (англ.) — лакомый кусочек.

и похлопал по своему животу липкими пальцами. — Лучше любого, который я едал в Лондоне, не говоря уже о Бил-Холле. Так что насчет книги?

— Я пошлю с Сарой — бывшей Полли — побольше джема в Бил-Холл. Нет, нет, я настаиваю, для меня это удовольствие. Книга недостойна такой выдающейся библиотеки, как ваша.

— Это почему же?

— Ваше приобретение — нечто вроде поваренной книги, ее место на кухне, да и там она была бы полезна лишь в том случае, если бы ваш повар умел читать на иврите. Мое пренебрежение вызвано ее заурядностью. Европа наводнена этой книгой. На континенте ее можно увидеть в любом еврейском доме.

— В колофоне[155] на моем экземпляре стоит тысяча шестьсот девятый год. Кроме того, это не только старинная, но еще и очень красивая книга.

— Да что вы, сэр Персиваль, — небрежно рассмеялся Фолш, — насколько мне известно, она была отпечатана не более двенадцати лет назад. У еврейских печатников при переизданиях

---

[155] Примечания: 155

Колофон — текст на последней странице в рукописных и старопечатных книгах, содержащий название книги, сведения об авторе, место и год переписки или печатания и т. д.

книги принято выставлять для своих читателей год первого издания. Я думал, вы знаете. Это характерно для евреев. Не обращайте внимания на колофон. — И он снова рассмеялся. Выдумки легко слетали с его языка.

— Но книга *выглядит* очень старинной. Ей-богу, она должна быть старинной!

Фолш пожал плечами и улыбнулся.

— Позвольте мне помочь вам выйти из затруднения, сэр Персиваль. Эта книга может пригодиться в моем домашнем хозяйстве, поскольку я обучаю Сару ивриту. Бедное дитя, она выросла в крайнем невежестве и не умеет читать по-английски.

— Иллюстрации очень красивые.

— Ну, скажем, один шиллинг? Нет, два! Я дам вам за нее флорин!

Теперь настал черед рассмеяться сэру Персивалю. Он замахал рукой.

— Вы много запрашиваете, сэр Персиваль. Хорошо, я предлагаю одну гинею, и это последняя цена.

— Я ничего не запрашиваю, Фолш. Проклятье, я не лавочник! Вы забываетесь! — В голосе сэра Персиваля зазвучал металл и изрядная доля отвращения. Он поднялся, смахнув крошки с

жилета.

— Прошу вас, садитесь, — встревожился, вскакивая, Фолш. — Я пошутил. Простите меня. Послушайте, сейчас придет Сара, принесет свежий чай, горячие лепешки и еще крыжовенного джема, провалиться мне на этом месте.

И она вошла с тяжелым подносом и заменила блюда с остатками еды новыми, наполненными до краев. Она и вправду была прелестна. Сэр Персиваль имел все основания восхищаться ею. Иудейка Сара сохранила озорной взгляд и кокетливую порывистость движений некогда неуловимой для баронета методистки Полли. При виде гостя у нее появились ямочки на щеках, она присела перед ним в реверансе. Сэр Персиваль уселся на место.

— Хм, — произнес он.

Фолш вздохнул с облегчением.

Сара вышла из комнаты, унося поднос и опять пробудив вожделение в сэре Персивале.

— Так вы говорите, теперь она иудейка?

— Да, сэр.

— Так, так.

Этот натурфилософ мог воображать Сару монахиней или — сэр Персиваль был поклонником классического стиля — почти весталкой, и все

это только щекотало в нем нерв сексуального упрямства. Оказавшись запретным плодом, она стала еще желанней. И наверняка уже проникла в царство его тайных фантазий: «Ах, если бы я вдруг встретил ее у Пэг Сампэ!» И тому подобное.

Фолш, который знал людей, понял, отчего так блестят глаза его покровителя. Да и шишка в штанах сэра Персиваля подтверждала догадку. Это обстоятельство должно было навести Фолша на мысль, что с помощью Сары можно заполучить «Агаду» из Дунахарасти. Если такая мысль и была, Фолш не поддался ей. Как мы увидим, у него были другие планы.

— Очаровательная девушка. — Слово «девушка» прозвучало в устах сэра Персиваля почти как «душка».

— Если бы можно было каким-то образом приобрести для нее поваренную книгу, не обижая великодушного джентльмена, перед которым у меня такой величайший долг благодарности… — Подобострастие Фолша должно было заставить баронета назвать хоть какую-то цену.

Сэр Персиваль понимающе хмыкнул.

— Что, несмотря даже на ее никчемность?

— Она никчемна для вас, сэр Персиваль. Посудите сами: вилы имеют большую ценность для

фермера и никакой — для вас; обычная поваренная книга имеет ценность для повара — для Сары, которая готовит такой превосходный крыжовенный джем. Я осмелюсь предположить, что и вилы, и обычная поваренная книга будут только компрометировать вашу блестящую библиотеку.

— «Плут слишком много возражает, мне кажется»[156], — сказал сэр Персиваль как бы самому себе, но достаточно внятно, чтобы Фолш мог услышать, — еще одна цитата из Барда, которая не произвела впечатления.

— Значит, вы не хотите расстаться с книгой?

— Только не я, — ответил сэр Персиваль. — Весь ваш вздор лишь убедил меня в ее необычайно высоких достоинствах. — Он встал. — Кажется, я оставил мою пятнистую трость у Пэг Сампэ. — Он подмигнул. — Придется, увы, зайти туда еще раз на обратном пути в Холл.

Они распрощались вполне дружески. Фолш проглотил свое разочарование. Ему придется сделать новую попытку, но он пойдет другим путем.

МНЕ КАЖЕТСЯ, я до некоторой степени понимаю отношение Фолша к «Агаде» из Дунахарасти и его решение вырвать книгу из христианской

---

[156] Примечания: 156
«Гамлет». Перевод М. Лозинского.

тюрьмы, поскольку нечто подобное сам пережил много-много лет назад в Риме. Если помните, меня вызвал туда главный библиотекарь Ватиканской библиотеки, и я получил предложение стать помощником хранителя древнееврейского фонда. Я говорю «предложение», но подразумеваю «подкуп». Идея высокого начальства заключалась в том, чтобы, выманив меня из Бил-Холла, уничтожить ключевой пункт в дарственной Кики. Отец Рокко Мариначчи даже сулил почетный титул «монсеньор». Но я уже рассказывал об этом, не так ли? Старики имеют склонность повторяться, а я, увы, стар. Прошу прощения. «Не введи меня во искушение», — вот что я должен был сказать ему тогда со всей возможной твердостью, слова, пришедшие мне в голову, когда было уже слишком поздно. (Честно говоря, пришли-то они вовремя, но я не мог произнести их. Будучи всего лишь попиком, я не отважился бы на это в штаб-квартире Церкви. Я не гожусь в герои.)

Так или иначе, но мне была устроена блицэкскурсия по громадной, совершенно секретной и, безусловно, самой богатой в мире коллекции — она гораздо богаче той, что занесена в открытые каталоги Британской библиотеки и выставлена или доступна для изучения в ее музее. Мы

задерживались только у заслуживающих особого внимания сокровищ — самых, так сказать, ярких. Свитки Торы, восходящие к средним векам; святейшие из книг, набожно переписанные писцами, буква в букву; экземпляры полного Талмуда как до изобретения книгопечатания, так и после; примечания и комментарии сотен еврейских мудрецов. А что касается «Агады», то самая ранняя, какую я помню, была двенадцатого века из Южной Германии — с умышленно деформированными лицами на иллюстрациях, чтобы не нарушить библейского запрета на сотворение кумиров. Но в той коллекции хранились экземпляры «Агады», созданные в каждом столетии, от рукописных до печатных, с иллюстрациями, расписанными вручную, сверкающими яркими красками и сусальным золотом, или с изысканными гравюрами. Казалось, библейский народ жертвовал своими жизнями для того, чтобы составить эту библиотеку. (Жертвовал в горчайшем смысле этого слова.) Но там были и другие сокровища, из серебра и золота тончайшей работы. Сияющие цилиндры Торы, золотые и серебряные рукоятки с чеканкой или перламутровой инкрустацией, искусной работы ящички для благовоний, изящные подставки, в которых вы-

ставляли мацу на пасхальный стол, настоящий рог изобилия сакральных и светских артефактов. Коллекция, как мне показалось, занимала огромное пространство. Мой гид, молодой французский священник, розовощекий с ясными голубыми глазами (он ничего не знал обо мне, но его позиция по все еще животрепещущему «делу Дрейфуса» не вызывала сомнений), с гордостью сообщил, что здесь, в Ватикане, собрано гораздо больше, чем все жиды Нью-Йорка, Лондона, Буэнос-Айреса и Тель-Авива могли даже надеяться собрать. «Pas mal, hein?»[157]

Я был священником и собирался им оставаться, но с трудом превозмогал нравственную тошноту. У меня было такое чувство, что меня изнасиловали или, говоря проще, будто я вернулся домой и увидел, что ограблен, лишен всего самого дорогого. Но почему потом я забыл обо всем этом? Если бы тогда я мог организовать что-нибудь вроде рейда на Энтеббе[158], чтобы забрать всю ватиканскую коллекцию и отдать ее Израилю, я

---

[157] Примечания: 157

Недурно, а? (фр.)

[158] Примечания: 158

Энтеббе — город в Уганде, где в 1976 году произошла знаменитая операция по освобождению заложников — пассажиров израильского самолета, угнанного палестинскими террористами.

бы это сделал. Впрочем, то были одни лишь фантазии. Большая часть коллекции — кто может сказать — сколько? 90 процентов? 95? 99? — была украдена, и грабеж длился века, сопровождаясь массовыми убийствами евреев. В хранилище почти не было предметов, приобретенных у еврейских торговцев на рынке. В лучшем случае Ватикан просто принимал подарки — от тех, кто присваивал имущество, убивая евреев, — приобретая, так сказать, по случаю. Но это, как я сказал, был лучший вариант.

Я думаю, что чувство отчуждения от моих единоверцев восходит именно к тому ватиканскому переживанию, которое я осознал лишь недавно. И неделю назад, за обедом с епископом Мак-Гоналом, это ощущение обрушилось на меня с такой силой, что походило на откровение, если не на настоящее прозрение — в джойсовском понимании этого слова. Экскурсия по древнееврейскому хранилищу Ватикана пробудила много лет назад своего рода атавистическое чувство в моей душе, разбередила, так сказать, еврейские гены. Как раз тогда я купил биретту.

(Правда, прошло так много лет, что я уже не помню, действительно ли мне рассказали, что большая часть коллекции украдена у евреев и

потому ее наличие в Ватикане отрицается, или я вывел это, основываясь на слухах. Нет, нет, мне действительно *рассказали. Наверняка* рассказали. Иначе почему воспоминание об этом дне во всех его подробностях все еще так мучительно?)

О чем из своего визита в Рим я никогда не рассказывал — ни единой душе, даже Мод, и, конечно, не У.К., — так это о ночном споре с моим старым другом Кастиньяком и моим гидом по ватиканскому древнееврейскому хранилищу, молодым священником-антисемитом. Его имя, давно забытое, вдруг мгновенно всплыло в моей памяти, прорвавшись, как пузырьки газа сквозь болотную трясину: Доминик Помье!

Мы зашли в ресторан на площади Св. Марии в Трастевере, где долго и шумно спорили и пили крепкое vino da pasta[159], пожалуй, слишком долго сидели и слишком много выпили. Потом, пошатываясь, отправились на улицу Эмилии, недалеко от Виллы Боргезе, где у кочующих по земному шару родителей Помье была квартира, которой он пользовался. Там Помье угостил нас вином получше — vino da bottiglia[160]. Мы

---

[159] Примечания: 159
Столовое вино (ит.).

[160] Примечания: 160
Бутылочное вино (ит.).

сидели, развалясь в креслах, и разговаривали, как и все молодые люди о сексе. Да, кровь горячо пульсировала в наших жилах, и мы подвергали сомнению отрицание секса, идущее от святого Августина, и разумность целибата, как неофиты мы перечеркивали освященные веками избитые аргументы. Мы с Кастиньяком признавались в нашей сексуальной неразборчивости, но как джентльмены не упоминали имен. Помье, со своей стороны, заявил о принадлежности к другому сексуальному клубу, почетными членами которого были Сократ, Оскар Уайльд и Андре Жид.

— Да, джентльмены, нас легион, и так было на протяжении всей человеческой истории.

Мы с Кастиньяком обменялись взглядами.

— Что касается меня, — продолжал Помье, глотая от возбуждения слова, — я предпочитаю мальчиков — уже не детей, но еще не юношей. Я хочу любоваться пушком — не волосами! — на верхней губе и вокруг «непосвященного» члена. Я хочу видеть розовые губы на моих губах и пунцовый анус, страстно желающий принять меня.

Даже упившиеся до чертиков, мы с Кастиньяком в ужасе вскрикнули.

— Вы что, против? — удивился Помье. — Живи согласно природе, говорит философ.

— Какой, ко всем чертям, философ? Это же дети, — возмутился Кастиньяк. — Думаешь, они мальчики, значит, все в порядке? Не важно, мальчики они или девочки, — это гнусное совращение малолетних.

— Подумай, как скажется такая травма, когда ребенок станет взрослым, — добавил я. — Не может быть никаких оправданий тому, кто воспользовался невинностью.

— Невинностью! — засмеялся Помье. — Вот как ты думаешь о собственном детстве? Такой опыт травмирует только в том случае, если взрослые считают, что он травмирует. Вспомни об обычаях народностей самбия и этоpo в Новой Гвинее. У них мальчики в возрасте от семи до десяти лет, двигаясь к половому созреванию, мастурбируют и отсасывают у старших мужчин, глотая их истечения. Почему? Да эти народы верят, что иначе им не стать мужчинами. Для них это то же, что вскармливание младенца грудью, — питание для растущего ребенка. Было бы гнусной жестокостью отказывать мальчикам! — Он подмигнул нам.

— Но мы живем не в Новой Гвинее, — возразил Кастиньяк. — Вполне возможно, что отношение к сексу у разных народов имеет свои особенности.

Может, и не существует абсолютных понятий. Но наше общество — заметь, я ничего не говорю о нашей вере, — запрещает такое поведение, и запрещает недвусмысленно. Совращение малолетних — это не только сам половой акт, но в гораздо большей степени — его психологическое воздействие на ребенка и последствия, которые могут проявиться во взрослом человеке.

— Ерунда! Они это любят.

— Это тебе так хочется думать, — ответил Кастиньяк. — Все, что ты говоришь, есть на самом деле проблема власти: кто-то приказывает, а кто-то подчиняется.

— Ты прав, — поддержал я. — То же самое происходит и в Ватикане: нам хочется верить, что наше первосвященство руководствуется духовностью, однако у нас есть факты, — и их больше чем достаточно! — что оно руководствуется властью.

— Поосторожней, ты далеко заходишь, — предостерег Помье. — Ты говоришь сомнительные вещи, кое-кто даже сказал бы — еретические.

Так наш пьяный спор переключился с обсуждения злоупотреблений в сексе на конфликт в Риме между царством земным и небесным. Мы, похоже, считали себя самыми искушенными и готовыми на любые дерзости.

Однако почему всякий раз, думая сегодня о Тумбли, я вспоминаю о том глупом пьяном споре?

БАСТЬЕН СКАЗАЛ МНЕ, что Тумбли уже три дня как вернулся в Бил-Холл. Итак, моя передышка окончена. Неужели и правда прошло две недели с тех пор, как он отправился на поиски Шекспхефта? Время сейчас идет быстро, очень быстро. Тумбли меня вроде бы избегает, хотя пока не могу понять почему. Может, сконфужен неудачей. Он производил раскопки в поле, каждый дюйм которого копан-перекопан с помощью более совершенных, чем у него, инструментов. Еще Бастьен сообщил, что Тумбли отсиживается в своей квартире, избегает коллег-ученых, в гостиной появляется только рано утром, когда там никого нет, и вкушает пищу в одиночестве. Он мрачный, сказал Бастьен, а может, больной. Он совсем желтый. Вполне может быть желтуха, радостно добавил Бастьен.

Вот и ладно, через неделю мой старый враг уже будет на обратном пути в Иллинойс — впрочем, это вовсе не значит, что тогда он оставит меня в покое: «Любовные и другие сонеты» — кость, которую этот пес не так легко выпустит из зубов. Но по крайней мере он не будет подстерегать меня за углом. Я собираюсь предложить ему

перед отъездом отправиться на следующий год прямо в Ланкашир, хотя нам и будет недоставать его, и не терять даром ни минуты в поисках Шексхефта. Какой все же удачный ход для нашей стороны, если он, Тумбли, продемонстрирует изумленному миру, что Шекспир был чем-то вроде католика-марана[161], преданного своей вере, но благоразумно исповедующего ее втайне. Может быть, симпатия, которую Шекспир проявляет к презираемому Шейлоку и оскорбляемому Отелло (представляю, как говорил бы это Тумбли!), раскрывает личное понимание Бардом того, что значит быть Другим. Да, Шекспир, конечно, знал из собственного опыта тайного католика, каково это — чувствовать себя тайным иудеем. Уильям Шекспир, ТИ. Это слишком хороший аргумент, чтобы упустить его.

ХОТЕЛ БЫ Я ЗНАТЬ, что побудило Аристида внести «Любовные и другие сонеты» в его несчастный каталог теперь, после полувекового благоразумного молчания? Может, ему неожиданно понадобились деньги? Неужели он забыл,

[161] Примечания: 161

Католики-мараны — евреи в средневековой Испании и Португалии в XIV–XV веках, которые, исполняя требование инквизиции, официально принимали христианство, но втайне продолжали практиковать иудаизм.

кого ставит под удар? Я почти уверен, что ни одна из перечисленных в каталоге книг не предназначалась для продажи. Каждая из них, скорее всего, была приобретена сомнительными, темными путями. В конце концов, Аристид мог напечатать каталог просто для собственной утехи, как информацию о «личном фонде» или желая вызвать зависть у других книготорговцев и частных коллекционеров, его старинных клиентов. И показал каталог Тумбли в их злополучную встречу в Нью-Йорке, просто расслабившись от обильных возлияний, а не по злому умыслу. Аристид постарел, как и мы с Тумбли. Он, видимо, не так сообразителен, утратил бдительность и, кажется, страдает забывчивостью.

ФОЛШ ВЫЖДАЛ ПЯТЬ ЛЕТ, прежде чем снова завести с сэром Персивалем разговор об «Агаде» из Дунахарасти. Правда, три года из этих пяти сэр Персиваль провел в Индии, в основном в обществе Роберта Клайва[162], «чертовски приличный парень, позвольте вас заверить», и он, этот натурфилософ, этот джентльмен, презиравший вульгарную торговлю, вернулся со множеством

[162] Примечания: 162

Роберт Клайв (1725–1774) — английский колониальный деятель, губернатор Бенгалии.

сокровищ (злые языки сказали бы — награбленных), — о чем так наглядно свидетельствует комната Пондишери[163] в Бил-Холле. Однако Фолш, в любом случае, определил себе пятилетний срок ожидания, поскольку пять — число вершин на Соломоновой печати, пентаграмма, не имеющая, подобно кругу, ни начала, ни конца. Число пять вызывало у него много других ассоциаций: пятое из семи небес, пятое царство, где, как говорят, ангелы, совершающие Божественное служение, по ночам поют осанны, а днем хранят молчание во славу Израиля. Во славу же Израиля Фолш и хотел дать убежище «Агаде» из Дунахарасти.

Они обменялись книгами через пять лет. Сэр Персиваль лишился своей правой руки по вине тигра, вернее, не столько тигра, ужасно искалечившего ее, сколько по вине хирурга, состоявшего при Клайве, «пьянствовавшего ночами и орудовавшего вслепую днем», который отпилил ему руку. Сэр Персиваль щеголял своим отпугивающим увечьем: рукав его пальто всегда был элегантно приколот, но он признался Фолшу как своему доктору (тот исторически

---

[163] Примечания: 163
Пондишери — город в Индии.

действительно им был), что леди Элис в ужасе бежала из супружеской спальни, когда в самый ответственный момент он потерял равновесие и его культя ударила ее в грудь. После этого она отказалась выполнять супружеские обязанности, а он был не тот человек, чтобы принуждать ее. Большую часть года леди Элис теперь проводила на Джемин-стрит в Лондоне, в доме, который ее покойный отец отписал ей как часть приданого. К огорчению сэра Персиваля, до него дошли слухи, что на Джемин-стрит часто видят молодого лорда Алсуотера, пользующегося дурной славой повесу, и многих других молодых щеголей. Нет ли у Фолша каких-нибудь снадобий, которые могли бы заставить вернуться леди Элис?

Сэр Персиваль, конечно, всегда мог найти утешение в заведении Пэг Сампэ, однако, не имея наследника, он опасался, что Холл перейдет к его брату, гнусному Хэмфри и его невежественному выводку. Сэр Персиваль призывал на помощь весь свой классический стоицизм, но толку было мало. Радость ушла из его жизни, он стал мрачным — это слово лучше всего описывает его тогдашнее состояние.

В то же время Саломон Фолш никогда не чувствовал себя лучше. Пять лет назад он оказался

на распутье и сделал свой героический выбор. Он не раскаивался в уловках, к которым прибегал в прошлом, и не извинялся за них. Он просто шел по своему новому пути все решительнее и радостнее. Той части своего бизнеса, которую сегодня можно найти в санитарно-гигиенических и косметических рядах супермаркетов и аптек, Фолш позволил тихо исчезнуть, продолжая готовить безобидные смеси для немногих верных клиентов, по большей части — почтенных дам, которые еще чувствовали зуд в крови. Но он не искал новых клиентов и не требовал вознаграждения от тех, кого продолжал обслуживать. Он также перестал рекламировать свои «особенные средства» в газетах Ладлоу и в рыночные дни больше не открывал лавку на Дворцовой площади.

Что касается его школы, то она стала настоящим бейт-мидраш — центром серьезных религиозных исследований. Тех мужчин, которых он однажды «иудаизировал» — используя свое, так сказать, неортодоксальное нумерологическое оправдание, — методом обрезания ногтей на пальцах ног, Фолш не лишал иллюзий, считая подобное бессердечное просвещение большим грехом, жестокостью, более неугодной Господу, благословен Он, чем первородный грех. Он рас-

суждал так: если человек считает, что он иудей, то какой синедрион имеет право сказать ему «нет»? За внесением изменений в обряд обрезания последовало нумерологическое смягчение диетических правил. То, что Фолш смог здесь сделать, изменило его жизнь и подарило надежду воздействовать собственным примером на ближайший круг последователей в Англии. Хотя это и дает возможность обойти законы, говорил он им, но иудаизм высшего порядка твердо их придерживается. Тем не менее немногие были тогда готовы идти по пути перемен. И даже в лучшую пору прозелитизма Фолша среди новообращенных больше всего было женщин.

Но вернемся к Саре, в прошлом — Полли Плам. Примерно в то время, когда Фолш предпринял первую попытку выманить у сэра Персиваля «Агаду» из Дунахарасти, он уже подумывал определить девушку, явно наделенную живым умом, на должность экономки. Среди его домочадцев кроме Сары тогда были: Авраам, он же Артур Бам, — он ухаживал за садом, делал всякую тяжелую работу по дому, а отмывшись, причесавшись и опрятно одевшись, прислуживал, хотя и неуклюже, в качестве лакея; и Лия, она же Бесс Трумен, — в ее обязанности входило топить печь,

таскать воду, мести полы и выполнять другие дела, которые ей поручались. Что же касается Сары, хорошенькой, пухленькой, свежей и душистой с головы до ног, почему бы ей как экономке, думал Фолш, не делить с ним постель. Вскоре после его неудачи с сэром Персивалем, но до того как оказаться на распутье, Фолш предложил Саре новую должность и одновременно позволил вознести себя к неизведанным вершинам блаженства.

Однажды избрав свой путь, Фолш начал с того, что заново обдумал 613 заповедей, налагавших запреты на него и его единоверцев. Он просто разделил все установления трехвековой мудрости на 365 запретов, соответствующих числу ежегодных астрономических суток, и на 248 предписаний, соответствующих числу «лимбов», как исчисляли в древнем мире, то есть частей человеческого тела. Фолш увидел ценность традиционного простого деления на предписывающие и запрещающие заповеди, он восхищался изощренным распределением заповедей по рубрикам декалога[164] и высоко оценил попытки Маймонида и его школы применить Аристотелеву логику к классификации заповедей. Чего хотелось Фолшу,

[164] Примечания: 164
Декалог — десять ветхозаветных заповедей.

так это создать новую классификацию, которая вводила бы заповеди в современный мир, принимая во внимание определенные факты, многие из которых весьма прискорбны. Например, как еврею смотреть на то, что храм, который должен был существовать во все времена, разрушен, — и совсем недавно, в 70 году нашей эры? Как, скажем, левит мог совершать в нем свое священнослужение? Как прокаженный после очищения мог приносить жертвоприношение в храм, которого больше нет? И это лишь часть несоответствий, касающихся храма. В 613 заповедях их было намного, намного больше.

Когда Фолш вносил изменения в заповеди, пользуясь собственной, весьма оригинальной, но так и не опубликованной классификацией, — хотя здесь, в Бил-Холле, в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века рукопись вызвала горячие споры, — он обратил особое внимание на заповедь, по традиции числящуюся под номером 218: тот, кто посягнет на девственницу, должен жениться на ней и никогда с ней не разводиться. Сара, прежняя Полли Плам, точно подходила под это предписание. По правде говоря, Фолш был более чем счастлив предложить ей руку и сердце, а Сара с застенчивой радостью приняла

это предложение.

Мысленно я вижу его в день свадьбы, одетого во все белое: белый шелковый сюртук и белые шелковые панталоны, белые шелковые чулки и белые кожаные туфли, на голове шляпа из белого горностая. Я вижу его стоящим под свадебным пологом в саду, он держит за руку невесту. Она тоже во всем белом: белое кружевное платье, усеянное жемчугом, белые парчовые туфли выглядывают из-под подола, ее чело обрамляет веночек из белых цветов, в роскошные волосы вплетен жемчуг. Румянец счастья заливает ее щеки, и скромно опущены глаза ее.

— Смотри! — говорит Фолш. — Смотри, ты обручена мне согласно закону Моисея и Израиля! — Он торжественно произносит эти слова, сначала на иврите, потом по-английски. — «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, — продолжает Фолш. — Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало…»[165]

Сара не может сдержать счастливого смеха, в ее глазах вспыхивает огонь. Если бы она была современной спортсменкой, выигравшей золотую

---

[165] Примечания: 165
Песнь Песней.

медаль, она бы завопила, выбросив вверх кулак в победном жесте.

— Есть! — закричала бы она. — Есть!

Она с легкостью обвивает руками шею мужа, поскольку они одного роста, и запечатлевает долгий поцелуй на его устах.

«Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!»[166] — говорит Фолш, когда она отпускает его.

Гости аплодируют и смеются, потом кричат:

— Мазл тов! Будьте счастливы! — Майское солнце освещает ярким светом этот брачный союз.

На самом деле я не имею ни малейшего представления о том, шел ли дождь или светило солнце (а может, и то и другое) в день свадьбы Фолша, происходила ли церемония в саду или в другом месте. Я не знаю, цитировал ли он Песнь Песней, поцеловала ли его храбро Сара под пологом. Все это, так сказать, поэтическая вольность. Но я думаю, она передает дух события, счастье, которым, как можно предположить, наслаждались новобрачные, — по крайней мере, об этом свидетельствуют нескромные признания Фолша во вступительной главе к его (неизданному)

---

[166] Примечания: 166
Песнь Песней.

«Трактату о супружестве».

Но что я знаю достоверно, так это во что они были одеты. Фолш заказал свой костюм у еврейского портного в Лондоне на Петикоут-Лейн. Согласно записям в конторской книге, он обошелся ему в 5 фунтов 7 шиллингов и 8 3/4 пенса. Его туфли от Николаса Смарта, первого сапожника в Ладлоу, стоили 2 фунта 18 шиллингов и 1/4 пенса, шляпа, сделанная по его собственному эскизу у Джеймса Джемисона из Эдинбурга, «Шляпные мастера двора Шлезвиг-Холстенов», влетела ему в 4 фунта 19 шиллингов и 11 1/2 пенса. Видно, что денег он не экономил. Что касается Сары, то ее платье, туфли и жемчуг, вплетенный в волосы, принадлежали леди Элис, которая, отбросив чопорность, одолжила их на этот торжественный случай, — настаивая, даже напрашиваясь: «Ну, доставь мне удовольствие, дорогая Сарочка, пожалуйста, порадуй меня. Нет-нет, не огорчай меня». Мне кажется, что леди Элис очень хотелось, чтобы Фолш благополучно женился. Только тогда, согласно странным обычаям ее круга и века, она могла надеяться, не теряя чести, наслаждаться любовной связью с ним. Отсюда личное присутствие ее милости на свадьбе — факт, письменно зафиксированный Фолшем.

Я также знаю, что там был свадебный полог, удерживаемый за углы четырьмя мужчинами, обращенными женихом в иудаизм, каждый из них получил за труды по 2 шиллинга 6 пенсов. Знаю также, что среди гостей на свадьбе, кроме леди Элис, были: лорд Парфит, ее дальний родственник, который в отсутствие сэра Персиваля частенько посещал Бил-Холл, его друг сэр Джос Тенбул, который заверил Фолша, что он сию же минуту сделался бы иудеем, если бы Питт Старший[167] остался лордом-хранителем малой королевской печати; студенты бейт-мидраша, оказавшие честь и наслаждавшиеся праздничной едой, Авраам и Лия, домочадцы Фолша, и — чудо из чудес — три истинных ученых, бледных и бородатых, один из Лондона и двое из Амстердама.

В то время когда сэр Персиваль разыскивал с Клайвом редкости в Индии, бейт-мидраш начал процветать. Сюда приезжали студенты не только из всех британских общин, но мало-помалу и из Европы. Фолш стал издавать собственные комментарии к Библии, ученые интересовались его мнением по многим теологическим вопро-

[167] Примечания: 167

Питт Старший Уильям, граф Чатам (1708–1778) — государственный деятель Великобритании.

сам; использование им принципа рассечения гордиева узла в разрешении многочисленных талмудических проблем привлекло к Фолшу серьезное внимание, порой неодобрительное, широких еврейских кругов. Его попытка примирить замкнутую традицию иудаизма с открытым характером эпохи Просвещения наделала много шуму, завоевывая ему друзей и создавая врагов. Он мог бы сказать, что счастьем для него в то время было остаться в живых. Некоторые из самых преданных его учеников уже называли его Пишем, по крайней мере между собой.

И сейчас скорее Пиш, чем Соломон Фолш, пришел к сэру Персивалю, которого он не видел пять лет, в том числе целый год после возвращения баронета из Индии. Сэр Персиваль не обнаружил никакой перемены в своем старом знакомце, за исключением, пожалуй, костюма, который стал скорее скучным, если не сказать — тоскливым: пожалуй, он походил на тот, который предпочитал священник одной из подстрекательских протестантских сект, столь любимый, столь опасно любимый простым народом.

Конечно, баронет знал, что Фолш женился, леди Элис написала ему забавное письмо, подробно повествуя о странных обрядах, чему она, кузен лорд

Парфит и его друг сэр Джос Тенбул имели удовольствие быть свидетелями. «*Будь* вы здесь, мой дорогой супруг, вы, я *не сомневаюсь*, смеялись бы sanz intervallum[168] и набрались бы анекдотов на целый *год* вперед». Письмо пришло в тот момент, когда сэр Персиваль, опустошив бутылку бренди, жестоко страдал от потери жизненно важной конечности, которую, как я уже говорил, варварски отпилил хирург-мясник, нагрузившийся еще больше, чем его пациент. Так что письмо не особенно позабавило сэра Персиваля.

Читатели романов Мод могут найти в ее бестселлере «Верный рогоносец» целые эпизоды и многие диалоги, являющиеся плагиатом. Я не оправдываю воровство, даже если его допускаю. Значительную часть материала для своей книги — я твердо убежден в этом — она извлекла из разговоров на подушке, когда я посвящал ее в первые результаты моих изысканий. История вымышленного сэра Дигби Сэвайла очень похожа на реальную историю сэра Персиваля Била. Бедняга сэр Дигби страдал от ужасного пулевого ранения в пах, полученного из французского мушкета, когда он служил под командованием генерала

---

[168] Примечания: 168
Не останавливаясь (лат.).

Вулфа при завоевании Квебека. Мод, я считаю, целомудреннее, чем следовало, посвятила читателя в точный характер ранения. Сэр Дигби, по-видимому, еще способен был функционировать сексуально, но вид его «мужских достоинств», хоть и заживших ко времени возвращения из Канады, был столь ужасен, что его супруга, леди Шарлотта, в первую же ночь сбежала из их спальни, а позже и из Белтравена, «родового гнезда» сэра Дигби. В Лондоне леди Шарлотта быстро стала гвоздем сезона, но по пятам за ее славой упорно следовали скандальные истории. Сэр Дигби в Белтравене замкнулся в себе и глубоко опечалился. И в этот мрачный период его жизни, когда фортуна отвернулась от него, сэра Дигби навестил старый добрый наставник Эбенизер Стамп, человек с большим жизненным опытом, который воскресил его дельным советом. Я не думаю, что сильно погрешу против истины, если облеку, так сказать, плотью некоторые имеющиеся в моем распоряжении и достойные сожаления факты, в противовес бьющему на эффект, но далекому от реальных событий роману Мод.

Можно ли усомниться в том, что сэр Персиваль испытывал зависть к судьбе Фолша? За прошедший год он частенько думал о Саре, оставшейся

для него Полли Плам. Положив перед собой раскрытую книгу Клеланда[169], он мысленно раздевал Полли, поглаживая уцелевшей рукой свой неохотно набухающий член. Когда он последний раз видел ее, Полли было не больше восемнадцати. Он видел ее лицо, заливающееся краской от смущения и такое сладкое, ее созревшие, округлившиеся груди, такие твердые, что они держались сами, без корсета, он видел розовые соски, глядящие в разные стороны, его взгляд скользил вниз и следовал по восхитительной линии ее живота к едва различимой ложбинке, которая, казалось, застенчиво перемещалась книзу, в поисках приюта между двумя полненькими, налитыми бедрами — к трещине или щели, укрытой спереди густыми вьющимися волосами, этаким роскошнейшим в мире собольим мехом.

Но прежде чем сэр Персиваль смог, так сказать, вполне насладиться фантазией, он испытал оргазм, вяловатый член испустил струю жидкой кашицы на его живот. Почему этот иудей обладает ею, когда он, баронет, не может заняться любовью даже с собственной женой?

---

[169] Примечания: 169

Клеланд Джон (1709–1789) — английский писатель, автор романа «Мемуары Фанни Хилл» («Мемуары женщины для утех»), который считается образцом порнографической литературы.

Однако, подобно большинству здравомыслящих людей, сэр Персиваль умел отличать игру воображения от реальной жизни. Для фантазий лучше всего подходила Пэг Сампэ и ей подобные. А реальная его жизнь сделалась жалкой из-за отвращения жены и ее отъезда в Лондон.

Сэр Персиваль был слегка задет тем, что Фолш не зашел повидаться с ним после его возвращения из Индии. Вот как евреи проявляют благодарность? Но делать первый шаг было, разумеется, ниже его достоинства. В конце концов, что позволительно в Египте, не следует делать в Англии. Фолш сам должен прийти к нему. И вот он пришел — после пятилетнего перерыва.

— Как приятно видеть вас, дорогой мой! Как поживает женатый Бенедикт?[170] — Сэр Персиваль впустую потратил и эту аллюзию.

— Я искренне сожалел, узнав о вашем несчастье. — Пиш кивнул на аккуратно пришпиленный пустой рукав сэра Персиваля.

— Однако вам потребовалось немало времени, чтобы сказать мне это. Нет, нет, ни слова. Отлично понимаю. Молодожен, да к тому же женатый на таком лакомом кусочке, как наша пухленькая

---

[170] Примечания: 170

Бенедикт — герой комедии Шекспира «Много шума из ничего», убежденный холостяк.

Полли, — ох, простите, я хотел сказать — Сара, — превосходно знает, где его самые вожделенные интересы. Что? Где? — Сэр Персиваль подмигнул и указал на свою промежность.

Пиш поморщился.

Тут же натурфилософ поведал Пишу, которого считал своим доктором, несчастную историю своих супружеских скорбей и умолял дать ему снадобье, которое могло бы победить отвращение леди Элис к его увечью, заставить ее отказаться от тех шалопаев и распутников, которые сейчас окружают ее, и вернуть, полную страстного желания, в его постель. От грубого сквернословия по адресу лондонского окружения леди Элис до безысходной жалости к самому себе всего за минуту — так выражались страдания сэра Персиваля, разрывавшегося между неподдельной привязанностью к жене и все возраставшей тревогой за свои мужские достоинства: amour propre[171] часто берет верх над просто amour[172]. Его мысли были далеки от холодных и строгих научных исследований в Королевском обществе; горячие и темные, они лопались, как зловонные

---

[171] Примечания: 171
Самолюбие (фр.).

[172] Примечания: 172
Любовь (фр.).

маслянистые пузыри в мутном море секса. Слезы катились по его щекам.

Прежнему Фолшу не составило бы труда воспользоваться очевидной уязвимостью своего покровителя, порыться в книгах древних рецептов, состряпать безобидное зелье из корешков и трав и предложить его в обмен на «Агаду» из Дунахарасти. Но теперешний Пиш не хотел предлагать средства, в эффективность которых не верил.

— Существуют травяные средства, талисманы и амулеты, — сказал он. — Есть слова, которые можно повторять под луной в ее последнюю четверть, или духи, которых можно вызвать, чтобы они выли из преисподней. Все это описано древними, о чем свидетельствуют многие книги вашей великолепной библиотеки. Но мы причисляем себя к людям нового времени, сэр Пи, и в соревновании древности и современности знаем, на чьей мы стороне. Не вы ли прежде, подобно яркой свече, подобно ясному небесному светилу, проливали свет истин натурфилософии на суеверный мир? Разве не вы — почетный член Королевского общества? Да, именно вы. Как и сэр Френсис Бэкон, которого мы почитаем великим основоположником, мы отдаем должное

древним. Они были титанами, говорил он, мы — всего лишь пигмеи. Однако если мы, пигмеи, потрудимся стать на плечи этих титанов, то сможем увидеть дальше них.

К тому же большая часть языческих рецептов предназначена для приворота мужчины женщиной. О чем рассказывает легенда о Цирцее, как не об этом? Что мы узнаем из мифа о рабском служении Геракла Омфале? Или, если перейти от языческих мифов к истории, что Всевышний, благословен Он, хотел, чтобы мы поняли из судьбы Самсона, оказавшегося в руках Далилы? И не является ли его ослепление знаком и символом, так сказать, его слепоты? Нет, сэр Пи, как люди нового времени, мы должны признать очевидную истину: женщины в избытке наделены природными чарами, которые усиливают и превосходят действие любых чудесных средств, приобретаемых у шарлатана лекаря. А у нас, мужчин, увы, какие природные чары есть у нас?

— Значит, для меня нет надежды? — Сэр Персиваль вытащил из кармана сюртука грязный платок, больше похожий на тряпку, приложил к глазам, потом высморкался.

— Почему, неужели вы забыли ваше собственное кредо, мой дорогой сэр? Простите меня, не

мое дело напоминать вам о трех ваших добродетелях — вере, надежде и любви, — из которых самой восхитительной, по вашему мнению (и моему тоже), является любовь. Однако остаться без надежды — значит остаться без спасения.

Сэр Персиваль улыбнулся, несмотря на свои страдания.

— Вот-вот, «умеет черт сослаться на Писанье, священные слова произносить»[173].

Приближалось время, когда любой намек на Барда не останется без внимания Пиша. Но тогда оно еще не наступило.

— Надеюсь, вы не считаете меня чертом. И что еще кроме вашего блага может быть моей целью?

— «Только малый бесенок, а совсем не черт»[174], — ответил сэр Персиваль с коротким смешком. — Фолш, Фолш, что вы можете знать об истинной вере? Мы, христиане, конечно, должны надеяться на спасение. Ради этого наш Спаситель и претерпел муки на Кресте. Вспомните, за что в конце концов был проклят Фауст — за утрату надежды.

Сэр Персиваль имел в виду пьесу Кристофера

---

[173] Примечания: 173
«Венецианский купец». Перевод И. Мандельштама.

[174] Примечания: 174
«Ричард III». Перевод А. Дружинина.

Марло[175], неизвестную Пишу. Пиш, в свою очередь, узнал легенду о докторе Фаусте, когда жил в Германии.

— Ребенок может надеяться — продолжал сэр Персиваль, — добраться до Луны. Человека не осудят, если на старости лет он потеряет эту надежду. Вера и разум не всегда не согласны между собой. Потеря надежды на возвращение леди Элис не кажется мне неразумной и, конечно, не заслуживает осуждения. Вы были моей надеждой, Фолш, и вот вы говорите, что не можете мне помочь.

И баронет, к смущению Фолша, зарыдал в свою грязную тряпку.

— Ну же, сэр, довольно, будьте мужчиной! Надежда есть, мой дорогой сэр Пи, но она не в магии, черной или белой. У вас есть два возможных пути — конечно, исключая применение силы и скандал — для отстаивания ваших прав. Можно попробовать вернуть леди Элис, вызвав ее ревность, для чего вам следует приехать в Лондон и продефилировать с дамой или двумя, скажем, в Воксхолл-парке или в ложе «Друри-

[175] Примечания: 175

Марло Кристофер (1564–1593) — английский драматург, автор «Трагической истории доктора Фауста», предполагаемый соавтор ранних пьес Шекспира.

Лейн». Дайте понять, что ее отсутствие совсем не беспокоит вас, нет, даже радует. Либо вы можете снова начать ухаживать за ней, льстить ей, забросать billets— doux[176], преследовать ее со всем присущим вам пылом. Те клятвы, что сделали вас мужем и женой, священны, напомните ей о них, но осторожно. Из двух путей более мудро выбрать второй. Встряхнитесь же, дорогой сэр Пи, и поторопитесь.

— Боже мой, так я и сделаю!

Глаза сэра Персиваля покраснели от слез, но он ухитрился улыбнуться, и так широко, что Фолш увидел, насколько жестокие страдания, перенесенные баронетом в Индии, обломали, пошатнули и разрушили и его зубы, и его моральные устои.

— «Трусливое сердце не знает победы»[177], et cetera, et cetera. — Сэр Персиваль вскочил с кресла, запихнул отвратительную мокрую тряпку в карман и дернул за шнурок на стене. — О, я верну ее, мою дорогую Элис. Ах, я это чувствую — здесь, в глубине моего сердца. — Он снова потянул за шнурок. — Где этот проклятый малый? Я оторву

---

[176] Примечания: 176
Любовные записки (фр.).

[177] Примечания: 177
«Генрих IV». Часть 2. Перевод под ред. А. Смирнова.

ему яйца, если они у него есть. Чантер! Чантер!

— Я здесь, сэр, к вашим услугам. — Совершенно бесшумно вошел нарумяненный лакей в парике и низко склонился перед сэром Персивалем, так низко, что его поклон граничил с дерзостью. (Чантер — прототип зловещего лакея Беллоуза в «Верном рогоносце».)

— А, вот и ты, хорошо. Уложи мои чемоданы, Чантер. Мы отправляемся в Лондон.

— Да, сэр. Позвольте узнать, надолго ли мы едем?

— Тебе-то что?

— Чтобы знать, сколько вещей брать с собой, сэр. — Чантер самодовольно ухмыльнулся.

— Хмм. Как вы думаете, Фолш, сколько времени мне понадобится?

— Трудно сказать. Я думаю, вам следует взять побольше вещей. Если ваше пребывание там, по счастью, окажется кратким, распакованные вещи можно без труда уложить снова.

— Пакуй все, дуралей, пакуй все.

Чантер поклонился и удалился.

— Вы подали мне надежду, Фолш. Боже мой, вы подали мне надежду. Как я смогу отблагодарить вас? — Сэр Персиваль был полон энтузиазма и радостно смеялся.

— Возвращение леди Элис было бы достаточным вознаграждением, мне довольно даже того, что я понадобился вам. Но признаюсь, сэр Пи, я пришел сегодня, чтобы еще раз просить вас о той книге, которую вы привезли с собой из вашего путешествия в Карпаты.

Сэр Персиваль, словно по волшебству, обратился в камень.

— Ваш народец никогда не сдается, не так ли?

Пиш проигнорировал оскорбление. Во всяком случае, он ничего не ответил.

— Признаюсь, я не знаю, имеет ли эта книга большую или малую цену на рынке. Для меня ее ценность неизмерима. Вы, сэр Пи, баронет, и рынок не для вас. Я понимаю ваше благородное отвращение, уверяю вас. Но скажите мне, есть ли что-нибудь, что бы вы хотели получить взамен? Если я смогу приобрести это для вас, тогда мы оба порадуемся. Подумайте, сэр Пи, пожалуйста, подумайте.

У сэра Персиваля не было желания думать. Единственное, чего он хотел в этот момент, — избавиться от алчного пронырливого еврея. И это в награду за оказанные им бесчисленные услуги?

Однако же, с другой стороны, Фолш несомненно искусен, как доказал не раз, и особенно удачно

— в Александрии. К тому же он настойчив, о чем свидетельствует и настоящий случай. Его единоверцы закидывали свои сети по всему миру и любыми способами вытаскивали ту рыбу, которая была им нужна. Почему бы в таком случае не поставить ему задачу, которая, если она будет выполнена, в тысячу раз перевесит потерю любой книги, не говоря уже о той, что, не надеясь прочитать, приобрел невзначай, по счастливому случаю, как смиренный бродяга поднимает фартинг с булыжной мостовой.

— Согласен, Фолш. Я обменяю ее на какую-нибудь новую вещь Барда, какую-нибудь подлинную вещь: например, рукопись, написанную его рукой и имеющую его подпись, или до сих пор не известную пьесу, или такое издание его произведения, которого нет ни в одной библиотеке. Найдите мне что-нибудь в этом роде, и так называемая «поваренная книга» — ваша.

— Я сделаю это, — тотчас отозвался Пиш. — Какого барда вы имеете в виду?

— Какого Барда? — Сэр Персиваль презрительно рассмеялся. — Если вы задаете подобный вопрос, у вас мало надежды на успех. Барда с большой буквы, сэр. Божественного гения Англии можно смело ставить против любого гения классиче-

ской Греции или Рима. Уильям Шекспир, Бард с берегов Эйвона. Слыхали о таком, Фолш?

Пиш был человеком широкой культуры и в своей мятежной юности очень увлекался классической литературой. В цитировании на греческом и латыни он легко мог бы победить не только сэра Персиваля, но, возможно, и многих профессоров из Оксфорда. По совести, он сомневался, что самонадеянное утверждение его покровителя соответствует действительности. Пиш, конечно, знал о Шекспире, впервые он услышал о нем в Германии, где многие им восхищались. За те годы, что он жил в Англии, годы, когда культ Шекспира, быстро распространялся по миру, Пишу надо было быть глухим, чтобы не слышать о нем. Он даже видел посредственное представление «Юлия Цезаря» в театре на Милл-стрит — новоиспеченный жених повел туда Сару, стремясь доставить ей удовольствие, — скоро он, конечно, отучит ее от любви к подобного рода вульгарным и неуместным зрелищам. (Любопытно, что Пиш, сам явно превосходный актер, проявлял так мало интереса к театру.) Но Сара упросила его позволить ей посмотреть миссис Вартон в ролях Кальпурнии и Порции — исполнение ею двух ролей в одной пьесе имело оглушительный успех в течение

всех предыдущих сезонов в Лондоне. В своих записях Пиш отмечает, что в пьесе есть «хорошие стихи», но они «неудачно прозвучали», актеры «принимают позы, более подобающие статуям в Римском форуме, чем обычным людям». Что касается миссис Вартон, «я бы дал два десятка таких, как она, за мою Сару». И добавил брюзгливо: «Спектакль слишком затянулся. Это задержало нас и испортило ужин, поскольку мы вернулись домой не раньше половины двенадцатого». Однако Сара отблагодарила его за снисходительность способом, доставившим наслаждение им обоим.

— Мне нужно будет заложить основы для моих разысканий, сэр Пи. Могу ли я в ваше отсутствие воспользоваться библиотекой Бил-Холла?

— Я отдам приказание слугам. Начните с доктора Джонсона[178], позвольте ему руководить вами. Оставайтесь здесь, в Холле, если пожелаете, вы и Сара. Я распоряжусь. Ах да, Фолш, я хотел вам сказать: впредь будьте более великодушны в отмеривании слогов. Меня везде знают как сэра Персиваля, а не как сэра Пи.

— Как вам будет угодно, сэр. Простите, прошу вас, мою непозволительную бесцеремонность. —

---

[178] Примечания: 178

Джонсон Сэмюэл (1709–1804) — английский писатель, автор жизнеописаний выдающихся английских поэтов.

Пиш заискивающе улыбнулся. В конце концов, упрек баронета не мог уязвить его, ибо Пиш мысленно уже держал в своих руках «Агаду» из Дунахарасти.

Так Пиш начал расследование, которое, вместе с богословскими трудами, доставляло ему радость до конца дней.

МАЙОР КЭЧПОУЛ, мой дорогой старина У.К., умер, и я оплакиваю его. Он был старым и болезненным и в последнее время чувствовал себя не очень хорошо, но он не должен был умереть так скоро. Это Фред Тумбли убил его. Самого доброго, самого порядочного из друзей больше нет, и виновен в том, что разорвалось это великодушное сердце, преступный негодяй, посетивший майора перед отъездом в Джолиет.

— Майор ушел туда, где гораздо лучше, — сказала Мод, не зная точно, куда именно. Но это избитое выражение утешает ее, а значит, как она полагает, должно утешить и меня.

Подобно многим трагедиям, эта тоже выросла из комедии — фактически комедии ошибок, некоторые сюжетные повороты которой порадовали бы У.К., вооружив его свежим боезапасом для продолжения военных действий против Церкви. Он чувствовал себя слегка нездоровым, неболь-

шая дрожь в коленях заставила его отказаться от любимой прогулки в лес Тетли со своей «второй половиной», она же Билинда Скудамур, и даже отговориться от нашей еженедельной шахматной игры. «Нет настроения, — сказал он, — прихворнул». Билинда попросила доктора Твичера зайти в Бенгази. Доктор нашел легкое недомогание, которое, однако, могло иметь тяжелые последствия, И рекомендовал постельный режим, аспирин и обильное питье. Он также обратил внимание на немного увеличенные гланды и, вероятно для большей безопасности, выписал рецепт на антибиотик универсального действия, который следовало получить в аптеке на Тауэр-стрит.

Постельный режим был именно тем, в чем нуждался У.К., ослабевший от болезни. Но, поскольку он продолжал думать о себе как о проворном парне, он разволновался. Билинда делала все возможное, чтобы отвлечь его. Зная, что майору нравится смотреть на ее пышные груди, она расстегивала верхние пуговки блузки и часто наклонялась над ним, якобы для того, чтобы поправить подушки, распространяя вокруг запах своих духов. Зная, что он, если удавалось, украдкой заглядывал ей под юбку, она надевала самые короткие и сидела, закинув ногу на ногу

или скрестив ноги, на подходящей дистанции от его постели и читала статьи из гневной «Индепендент» или язвительной «Гардиан». Билинда хорошая девушка. Но У.К. не проявлял к ней прежнего интереса — не потому, что исчезло обаяние Билинды, а от собственной слабости.

Как еще она могла развлечь его? Билинда нашла в шкафу под лестницей огромную картонную коробку с фотографиями, как оказалось, принадлежавшими его жене Имоджин, оставившей их здесь вместе с серебряным колокольчиком и парой других случайных предметов, когда сбежала со своим любовником, который прикидывался испано-португальцем. Большая их часть совсем не заинтересовала майора, но среди них он обнаружил пачку фотографий, перетянутых тонкой резинкой — которая порвалась, как только к ней прикоснулись, — сделанных в 1930-х годах в Париже, в квартале Марэ. Майор знал, что Имоджин как раз в то десятилетие проводила летние каникулы во Франции, совершенствуя свой французский. Но он сомневался, что она могла сделать их своим фотоаппаратом «Брауни», так как это были не моментальные снимки, а фотографии, не лишенные даже и художественного достоинства. Поработал явно одаренный фотожурналист,

который, возможно, имел ученую степень по антропологии или социологии: он запечатлел евреев и их жизнь благожелательно, но остроумно и с галльским изяществом. Снимки заинтересовали У.К. по одной причине — он подумал, что среди множества еврейских лиц (никто не позировал и не подозревал о съемке) могли оказаться мои родители. А с одной из фотографий смотрел пухлый малыш, которым, как он полагал, мог быть я. Он сказал об этом Билинде, добавив, что «отец Мюзик должен их увидеть».

Когда из аптеки явился мальчишка-посыльный с лекарством, У.К. велел Билинде привести его в спальню.

— Как тебя зовут, молодой человек?

— Брайан, — ответил тот с вызовом и потрогал прыщ на подбородке. — Брайан Тростл.

— Хорошо, Брайан Тростл, — важно сказал У.К., — хочешь заработать фунт?

— Соверен? Вы, должно быть, шутите. Ой, сейчас хлопнусь в обморок, ей-богу.

— Почему бы просто не позвонить в Холл? — спросила Билинда, стоя в дверях спальни. — Зачем нам посыльный?

— Ладно, получишь пять фунтов, так и быть.

— Нет проблем, — насмешливо ответил Брай-

ан. — Кого вы хотите, чтобы я убил? — Он подмигнул Билинде, которая в ответ подняла два пальца.

— Ты знаешь Бит-Холл? — спросил У.К.

— А то! — оскорбился Брайан.

— Молодец, — продолжил У.К. — Пойдешь туда и попросишь отца Мюзика прийти в Бенгази, когда у него будет свободная минута. Скажи ему, что у майора Кэчпоула есть для него кое-что интересное. Справишься, Брайан?

— А то!

Брайан, придя в Холл, сказал, что старый чудак в Бенгази лежит больной и хочет священника.

Как на грех — или на горе, — мы с Мод отправились в Лондон, чтобы она проконсультировалась у хирурга-остеопата, мистера Адриана Спрот-Уимиса с Харли-стрит (я бродил в окрестностях, поджидая ее). Поэтому Брайан передал послание майора пожилому священнику, которого встретил, когда тот выходил из арки, направляясь к старым конюшням. Это был Фред Тумбли.

Тумбли уверял потом, что он разыскивал меня, прежде чем взять дело в свои руки. «Нельзя было терять время, пойми меня, Эдмон». Но это была возможность, за которую он ухватился, возблагодарив Пресвятую Троицу и всех святых

угодников. О, Сила и Слава! Он выполнит одну из духовных треб! О, какое это наслаждение, какое счастье! Будучи преподавателем, который вот-вот окажется на пенсии, Тумбли редко имел возможность совершать духовные таинства. А последнее миропомазание — самое лучшее и самое нужное из всех, дающее умирающему последний шанс уладить свои проблемы с Небесами!

Он бросился в свою комнату, собрал все необходимое — что-то вроде походной сумки священника — и поспешил в Бенгази. Билинда, стоя на лестнице позади коттеджа, обрезала увядшие розы с куста, который вился до крыши, поэтому не заметила его появления. Она оставила открытой входную дверь, проветривая нижний этаж, где все еще пахло индийским карри, который Бочонок принес с собой прошлой ночью, когда сменился с дежурства. Через окно спальни она видела дремлющего майора, его губы подергивались, как будто кто-то забавлял его своей глупостью. Тем временем Тумбли, уже войдя в дом, чуть задержался в прихожей, чтобы снарядиться, и украдкой бросил одобрительный взгляд на свое отражение в зеркале. Он поднялся по лестнице, полный достоинства от осознания величия своей миссии, неся перед собой крест,

молитвенник и небольшой дорожный сосуд с елеем. В комнату больного Тумбли вошел, произнося нараспев латинский текст. Билинда, увидев его в окно, вскрикнула от удивления.

Крик разбудил У.К., который увидел священника, устремившегося к нему с крестом в поднятой руке. Побагровев, майор в ярости повернулся к нему.

— Как вы посмели! Вон! Вон отсюда! — Он с усилием поднялся в постели и указал дрожащим пальцем на дверь. — Убирайтесь!

— Но ведь вы посылали за священником…

— Вы что, с ума сошли? — закричал У.К. — Вон из моего дома, вы, тупоголовый мерзавец, идиот. Вы, вы…

Внезапно он ухватился за постель, хилое тело забилось в конвульсиях, гримаса исказила его лицо, глаза закатились, и он упал на подушки без движения.

Билинда сразу примчалась в спальню и в дверях стала свидетельницей тяжелого удара.

— Что вы наделали? — завопила она. Подбежав к постели, она попыталась нащупать пульс. — Он умер. Вы убили его.

Лицо Тумбли стало мертвенно-бледным от страха. Он сморщился, рассказывала потом Билинда,

как злая ведьма из волшебной сказки. И как же он поступил? Он, конечно, стал оправдываться.

— Успокойтесь, барышня, успокойтесь сейчас же. Вы разговариваете со священником. За мной посылали. Мальчик увидел, что он умирает.

— Майор не умирал, во всяком случае, не больше вас, — всхлипывала Билинда. — Доктор смотрел его сегодня утром, у него был грипп, вот и все. И он, конечно же, посылал не за вами. Он говорил, что вы «слюнявый придурок». — Видимо, цитирование У.К. немного ободряло Билинду. — Он говорил, что вы «вынюхивающая надутая задница».

Лицо Тумбли покрылось пятнами.

— Мальчик из аптеки сказал, что майор просил священника. Можете позвонить и проверить.

— Майор хотел видеть отца Мюзика, но как друга, а не как священника. Он хотел кое-что показать ему.

— Ну, я не ясновидящий. И я не собираюсь стоять здесь и выслушивать оскорбления. Вы не католичка, я полагаю.

— Больше нет, не католичка. — Она вспомнила инвективы майора: — Он сказал, что вы «занудный ханжа» и «лизатель задниц».

— Он был католик, пусть даже и вероотступ-

ник. Я должен помолиться за его душу. Он хотел бы этого. — Тумбли выставил вперед сосуд с освященным маслом. — И я могу еще совершить миропомазание. Это не помешает. Елей освятил в Джолиете епископ Фарли перед тем, как я отправился в Англию, и из предосторожности я попросил епископа Мак-Гонала освятить его еще раз на прошлой неделе, когда он посетил Бил-Холл.

— Вам мало того, что вы уже сделали? Он хотел, чтобы вы пошли вон из его дома. Вы сами слышали. — Слезы ручьем текли по ее лицу. — Почему вы не проявляете к нему уважения? Сию же минуту уходите. Понятно?

— Вам следует позвонить доктору, а не спорить с лицом духовного звания, исполняющим свой священный долг. — Тумбли повернулся и хотел с достоинством уйти со сцены, но уронил крест, а пытаясь поднять его, уронил молитвенник. От этого тяжелого испытания он едва стоял на ногах. Слово «засранец!» летело ему вслед, пока он спускался по лестнице.

Как я уже сказал, она хорошая девушка, Билинда.

СРЕДИ «РАССКАЗОВ БААЛ ШЕМАИЗ ЛАДЛОУ» есть один о визите к Пишу ученого раввина

Исаака Шпигельмана, Гаона из Криклвуда. Пиш оказал своему гостю радушный прием, они проговорили до ночи, сидя за столом, изобилующим напитками и угощением. Но примерно через час после того, как они пошли спать, Пиша разбудили стоны, доносившиеся из комнаты Гаона. Он стремительно открыл дверь и ворвался в комнату. Там, у изголовья кровати, на которой лежал раввин Шпигельман, стояла смерть.

— Что за наглость! — вскричал Пиш. — Как ты посмела! Что ты здесь делаешь? Кто тебя звал? Этот человек — мой гость! Он под моей защитой! Какое бесстыдство! — Пиш так сурово бранил ангела смерти, что тот, смутившись, сложил свои черные крылья над головой и улетел прочь. После этого Пиш положил правую руку на лоб раввина, и тот исцелился. Однако, чтобы ангел смерти, упаси боже, не вернулся в его отсутствие, Пиш остался у постели раввина, пока не наступило утро.

Позже Пиш объяснил, что в заурядном случае он не мешал бы ангелу смерти выполнять его законную обязанность.

— В конце концов, у него своя работа, у меня своя. Возможно, я немного погорячился от неожиданности, столкнувшись лицом к лицу с ангелом

смерти: ведь перед этим он не подавал никаких признаков своего присутствия. Поэтому я и вмешался, сказав от огорчения: *«Слова мудрых — как иглы и как вбитые гвозди»* (Екклесиаст, 12:11).

ВОПРОС, КОТОРЫЙ НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЯ, — не вломись к нему Тумбли, незваный и нежданный, под видом предвестника смерти и не доведи он У.К. до смерти; проживи майор весь отведенный ему срок, который так или иначе приближался к концу, короче говоря, если бы он имел хоть легкое подозрение, что конец теперь и в самом деле близок, так вот, попросил бы он, находясь на смертном одре, последнего утешения, примирился бы с Церковью, чьи основополагающие истины он долго старался утвердить (или так предполагал я), атакуя ее явные нелепости и грубое лицемерие? Если так, то Церковь в лице отца Тумбли, приблизив конец, отказала майору в такой смерти — при том что Церковь, вероятно, желала бы, чтобы грешник У.К., раскаявшись в своих грехах и примирившись с нею, сделался достойным вечного спасения.

Мне хочется, чтобы он был жив, я скучаю по нему. Какое удовольствие он получал бы, пересказывая и тщательно отделывая историю своей последней встречи с Тумбли!

— И вот еще что, — слышу я его голос, — зачем этот придурок освящал свой убийственный елей второй раз? Что-то из первого освящения испарилось с тех пор, как он оставил Америку? Или он просто его подзаряжал? А может, пытался приготовить обогащенный продукт двойного действия, что-то вроде американской «новой улучшенной версии»?

Нет, живой У.К. приветствовал бы смерть в пылу такого сражения, высоко держа в руках свой Меч истины и оставаясь до конца героем, а не захваченным в плен солдатом, умоляющим о пощаде, удивляясь, зачем он вообще воевал. И я благодарен ему за это.

Часть шестая

Нет гадюки настолько малой, чтобы у нее не было яда.

***Томас Фуллер*[179].**
«Гномология», 1732

Если у Филиппа [II Испанского] и была хоть одна добродетель, то она ускользнула от добросовестных поисков автора этих строк. Если и существуют пороки, которых он — что вполне возможно — был лишен, то потому, что человеческой природе не дозволено достигать совершенства даже во зле.

***Джон Лотроп Мотли*[180].**
«История Соединенных Провинций Нидерландов», 1868

ПРОКЛЯТЫЙ ТУМБЛИ НЕ ВЕРНУЛСЯ, как уверял, в Джолиет, он поехал сначала в Париж, а оттуда — в Санкт-Петербург, и все это с явным намере-

---

[179] Примечания: 179

Фуллер Томас (1608–1661) — английский ученый и проповедник.

[180] Примечания: 180

Мотли Джон Лотроп (1814–1877) — американский историк и дипломат.

нием изобличить меня. Но кто же оплатил эти его дорогостоящие разъезды? Не орден Колумба, который уже внес свою лепту, не его нищий колледж и (я *почти* уверен) не Церковь. Тогда кто? Тумбли, должно быть, залез в собственные скромные сбережения: никели и даймы, которые он копил в течение всей своей скудной ханжеской жизни и держал, скорее всего, на счете в почтовом отделении; деньги, вырученные от продажи собственности его матери, по крайней мере той ее части, которую он получил после раздела между семью алчными братьями и сестрами; и тому подобное. Его поиски нелепы и только подтверждают его одержимость.

В Париже Тумбли узнал, что Попеску попался при попытке тайком вывезти за пределы России национальные сокровища и сейчас сидит в тюрьме в Санкт-Петербурге. Сын отправился туда, чтобы освободить отца, и его тоже задержали — как возможного сообщника.

Тумбли ворвался в офис Попеску, как Великий инквизитор. Там он застал мадам Попеску-младшую, временно управляющую фирмой. Он атаковал ее шквальным огнем вопросов и в два счета довел бедную женщину до слез.

— Du calme, madame, du calme. Soyez tranquille,

je vous en prie[181], — повторял Тумбли на своем отвратительном французском. Он налил ей стакан воды из графина, стоявшего на столе, и с раздражением ждал, пока стихнут всхлипывания. — Теперь начнем с самого начала.

Ее муж, сообщила она, велел ей никому ничего не говорить о положении, в которое попал его отец. Репутация фирмы, доброе имя отца — всем этим нельзя рисковать. Его освобождением осторожно займутся друзья в правительстве и дипломатическом корпусе. А тем временем сын покинул Париж, чтобы хоть чем-то помочь отцу.

— И какого ужасного результата он добился, вы теперь знаете, père.

Мадам Попеску не находила себе места от тревоги. Перекрестившись, она упала на колени перед Тумбли, прося его вознести вместе с ней молитву о заступничестве св. Иоанну, покровителю книготорговцев. После совместной молитвы Тумбли не дал ей подняться с колен.

— Я хочу увидеть ваши регистрационные документы, мадам. Я разыскиваю одну купчую.

— Но мой муж приказал мне, пока он в отъезде, держать документы под замком. Его слова для

---

[181] Примечания: 181
Спокойно, мадам, спокойно. Успокойтесь, прошу вас (фр.).

меня святы. Я не могу ослушаться.

— Его положение может стать еще хуже, если вы этого не сделаете, — пригрозил Тумбли. — Я служитель Господа и приехал по Его делу.

— Все равно, père.

— Очень хорошо. Тогда я вынужден просить вас показать мне одну очень редкую книгу английских стихов, по поводу которой может быть оспорено право собственности.

Мадам Попеску протянула руку, и Тумбли помог ей подняться. Она улыбнулась, подошла к столу и подняла телефонную трубку:

— Клер? Пожалуйста, попросите мсье Бушерона зайти ко мне на минутку.

Тумбли все еще стоял на коленях, склонив самодовольно ухмыляющуюся физиономию к своим сплетенным рукам: видно, решил еще раз помолиться.

После вежливого стука дверь отворилась. Мсье Бушерон оказался привратником гигантского телосложения, бывшим борцом, его торс выпирал из униформы цвета свежего гусиного дерьма, которую оживляли золотые пуговицы и отделка золотым же галуном.

— Мадам?

— Мсье Бушерон, его преподобие уходит. По-

жалуйста, проводите святого отца вниз и, если понадобится, покажите дорогу в его отель.

Тумбли, не вставая с колен, уставился на нее с нескрываемой злобой. Но добился он только одного — его позвоночник совсем одеревенел.

Мсье Бушерон, подождав немного, ухватил Тумбли под локти, поднял и, прежде чем его ноги коснулись пола, вынес из офиса.

— Au revoir, père[182], — нежно проворковала мадам Попеску, закрывая за ними дверь.

— Ну и что? — сказал мне Тумбли, позвонив из Парижа день или два спустя. — Это ничего не меняет. Придумай мне повод поехать в Санкт-Петербург. Всегда мечтал пройтись маршрутом Раскольникова. Посмотрим, смягчился ли хоть немного Попеску после нескольких месяцев русской тюрьмы.

— Я уверен, ты сделаешь все, чтобы ему помочь.

Тумбли хихикнул.

— Может быть. Но не волнуйся, Эдмон, что бы ни случилось, я доберусь до сути этой шекспировской головоломки. Так что подожди — и увидишь.

---

[182] Примечания: 182
До свидания, отец (фр.).

ЗАПАНИКОВАВ, Я РЕШИЛ было отправиться вслед за Тумбли в Санкт-Петербург, а может, даже приехать туда раньше него и… и что? В том-то и дело… У меня не было ни собственного плана, ни времени, чтобы его обдумать, мне просто нужно было сорвать его замыслы. Но как? Разоблачить как шпиона и отдать КГБ? Для этого не нужно путешествовать дальше телефона. Достаточно анонимного намека русскому посольству в Лондоне. По крайней мере, если судить по романам, где речь идет о шпионаже времен «холодной войны», этого вполне достаточно. Но я не стукач. Да, я могу наложить экзотическое проклятье, могу смешать компоненты для «волшебной» мази, — чтение бумаг Фолша породило во мне что-то вроде полуверы в языческие ритуалы. Но это вовсе не значит, что я готов пойти на сознательную подлость.

Кроме того, в последнее время я был очень озабочен делами Мод: предстоящей операцией и вызывающим тревогу рецидивом ее религиозности. После визита епископа у Мод проявились симптомы, которые я предпочитал игнорировать либо искал им оправдание. Впрочем, следует признать, — их спровоцировал не Мак-Гонал.

Его визит просто стал terminus a quo[183] моих наблюдений. Это случилось тем вечером, когда я так остро пережил чувство отчуждения от католической веры и всех ее адептов, фанатиков и здравомыслящих: после того, как Мак-Гонал и Тумбли отправились спать, мы с Бастьеном нашли Мод на кухонном полу лежащей на спине в луже собственной блевотины. Она громко храпела, зажав в руке пустую бутылку из-под джина, еще одна пустая покоилась на вызывающем непристойные мысли месте. Она вызывала отвращение. Бастьен, встав на колени, вымыл Мод, баюкая ее голову на своей руке, вытер чистыми полотенцами, бормоча слова утешения, когда она стонала. Он хорош в таких делах. Потом мы вдвоем, два слабых старика, все-таки сумели поставить грузное тело Мод на ноги. Тут выяснилось, что она не совладала и с мочевым пузырем. Скользя в рвотных массах, перемешанных с мочой на плиточном кухонном полу, мы все же ухитрились дотащить ее до дивана в ее офисе, бывшей кладовке дворецкого. Мы бы никак не справились с лестницей. Бастьен бережно укрыл ее пальто, которое нашел в шкафу, и мы ушли от

[183] Примечания: 183
Исходный пункт (лат.).

зловония и храпа.

Мы с Мод ни разу не обсуждали ее ужасающее поведение; наша сдержанность, как видно, стала еще одним кирпичом в стене отчужденности, выросшей между нами. Но с того вечера она не выпила больше ни капли. Полагаю, Мод дала обет — я имею в виду обет истинной серьезной католички, — стоя на своих старых больных коленях перед одной из статуй в часовне, радуясь боли в бедре как наказанию. То, что на следующее утро после попойки она сумела вовремя подняться и приготовить Мак-Гоналу его «обычный английский завтрак», было чудом (и, может быть, чудом, явившимся вслед за ее обетом и еще больше утвердившим в ней прежнюю веру).

Внезапная смерть У.К. в тот самый момент, когда он бранил священника, скорее всего, пробудила в ней долго подавляемый ужас перед адом. Я до сих пор не знаю, пила ли Мод все эти последние годы, пытаясь заглушить чувство вины и притупить свой страх, либо именно это чувство толкнуло ее к бутылке, и она сознательно разрушала себя, прибегая к такой извращенной форме искупления. Впрочем, я вижу и другие признаки ее возвращения к вере. Она регулярно ходит к ранней мессе в часовню — конечно, не именно

сейчас, поскольку, как я уже сказал, *сейчас* она в больнице. (Мы об этом не говорим, но я знаю, что Мод к тому же ходит и на исповедь — не к Бастьену, которого она наверняка считает человеком, глумящимся над всем святым, но к одному из ученых-клириков, включенных Бастьеном в список «желательных» посетителей. Еще два кирпича в стену!) В ее офисе появился триптих, скорее похожий на зеркало на туалетном столике: в центре — Христос, увенчанный терновым венцом и являющий миру свои раны, его правая рука, проколотая гвоздем, поднята в благословении; на левой створке — Мария, на правой — Иосиф, оба коленопреклоненные, оба с нимбом, оба с молитвенно сложенными руками — они с немым обожанием взирают на солнечное сияние вокруг головы «их» сына. Три свечи — напоминание об обете — стоят перед иконой. Не думаю, что Мод уже зажигала их. Но само присутствие уродливой дешевки в одном из красивейших домов Англии, нафаршированном, так сказать, произведениями искусства, изысканными и божественно прекрасными, доказывает, как далеко зашла Мод в увлечении дрянным, низкопробным папизмом.

Надо, однако, признать, что, несмотря на решение разделить со мной жизнь, Мод никогда не

оставляла Церковь. Она никогда по-настоящему не сомневалась в истинности ее доктрин. По ее мнению, мы оба пытаемся устоять на очень зыбкой почве и однажды — Мод уверена — земля неминуемо разверзнется под нашими ногами и поглотит нас. Мы были обречены, о да, без всякого сомнения, ведь мы воспользовались богоданной свободой воли и избрали путь греха. Положив на одну чашу весов любовь, страсть и наслаждение, а на другую — религиозную убежденность, Мод, как слабая женщина, выбрала первое, склоняя тем не менее голову перед моральным авторитетом Церкви в деле проповеди вечного учения. В молодости мое богохульство Мод считала просто безответственной болтовней бесстыдника. Но она постарела, и любовь съежилась, а плоть раздалась и обвисла, грозя совершенно выйти из-под контроля. Она страдала от боли в бедре и от стыда за свое пьянство. Тогда она решилась лечь под нож хирурга, и перед ней открылось зияющее жерло ада.

— Ты ужасно старомодна, — сделал я попытку поговорить с ней. — Ты все еще обращаешься к прошлому, к Данте и Иерониму Босху. Рим теперь думает иначе. Совсем не так. Ад уже не *место*,

не реально существующий loce[184] бесконечного физического наказания. Осы не будут целую вечность жалить тебя. Тебе не придется вмерзать в лед или гореть в огне. Это все метафора, не более чем поэзия. Ты, конечно, можешь мне не доверять, но Его Святейшество сам бы тебе это подтвердил. Ад — это состояние бытия. То, что проклятый страдает, означает теперь потерю Бога, тотальное отчуждение от всего, что есть доброго и любящего.

— Метафора, вот как? Просто поэзия, вот как? — презрительно отвечала она. — Твои разглагольствования — это отъявленный протестантизм. Протестант может знать уколы совести, католика же пронзают настоящие гвозди.

— Хорошо, тогда почему душа в аду не просит милосердного Бога о прощении?

— Потому что слишком поздно, ты, старый дурак! Если ты проклят, Господь лишает тебя возможности возносить молитву.

— Значит, ты считаешь, что осуждает Господь. Но Церковь говорит иначе. Сам грешник предпочитает отвергнуть Господню милость. Бог не карает, проклятые сами выбирают себе нака-

---

[184] Примечания: 184
Место (лат.).

зание, это последнее проявление их свободной воли.

— Ты гораздо хуже, чем даже был У.К. Я не хочу тебя слушать.

— Почему, как ты думаешь, отказались от Dies Irae?[185] Когда ты в последний раз слышала, чтобы его пели на похоронах? Он ушел из литургии не потому, что это мучительно, но потому, что вызывает неловкость. Муки прóклятого — полный бред в смысле психопатических подробностей.

Однако попытка Ватикана привести Церковь в соответствие с двадцатым веком, как раз когда этот век уходит, не произвела впечатления на Мод. На ее взгляд, замена латыни английским в богослужении, церковном гимне и молитвеннике лишала их подлинности. С ее точки зрения, с католицизмом нельзя играть, даже тем, кто заседает в церковном соборе. Ни от чего нельзя отказываться. Мод знала, какая религия истинная, а какая нет. Не нужно быть священником, чтобы знать это. Истина заключена в букве старого закона, а не в неопределенности, колебаниях и

[185] Примечания: 185

«День Гнева» (лат.), католический гимн, прежде включавшийся в заупокойное литургическое песнопение.

изменчивости Ватикана-II[186].

Ее готовность терпеть меня ради нас почти исчерпалась. Любовь, которая когда-то ярко пылала романтической и сексуальной страстью, давно уже остыла, ее пламя угасло, по существу, она свелась к ставшей привычной раздражительной фамильярности. Неужели она целую вечность будет про́клята за это, за капли любви, которую мы оба пережили? Должно быть, так она думала.

Но разве Христос не умер за нее? Еще не поздно. Она не впадет в величайший из всех грехов, грех отчаяния. Нет, даже в этот одиннадцатый час[187] ее Церковь предложит ей спасение. Она раскаивается, она будет каяться, она еще может спастись.

Сейчас она лежит в больнице, приходя в себя после операции на бедре. Даже на выборе больницы сказалось ее возвращение в лоно Церкви. Она готова идти в частное заведение, сказала она мистеру Спрот-Уимису, ее хирургу с Харли-стрит, — вопрос цены, слава богу, не был

---

[186] Примечания: 186

Ватикан-II — Ватикан после 2-го Ватиканского собора (1962–1965).

[187] Примечания: 187

Имеется в виду евангельская притча о работниках в винограднике, когда пришедшие последними («работники одиннадцатого часа») получили ту же плату, что и пришедшие первыми.

предметом долгих обсуждений, — но она уверена, что ей будет удобнее в католической больнице.

Нет ничего проще, ответил он. Он предложил бы ей больницу у Святых Космы и Дамиана сразу за Лиоуминстером — «прекрасные виды, парк, спускающийся к реке Лаг, величественное здание, дорогая моя мисс Мориарти», — да, у Святых очень хорошо помогают пациентам, вот совсем недавно помогли сэру Патрику Спенсу из Данфермлина[188], потомку католического рода, корни которого восходят аж ко временам норманнского завоевания. Возможно, мисс Мориарти слышала о нем? Что до него самого, то мистер Спрот-Уимис был ярым приверженцем англиканской Церкви, но забрался так высоко по ветвям этого благородного дерева, что находился всего в шаге от признания епископа Рима примасом Англии. Его дорогая мать и любимая сестра были членами англиканского ордена «Сестер Марджери Кемп», их монастырь расположен в живописном месте недалеко от Диса. Наконец, и они были сердечной порукой — если мисс Мориарти позволит ему каламбур, — его bona fides[189].

---

[188] Примечания: 188
Данфермлин — город в Шотландии.

[189] Примечания: 189
Добросердечные намерения (лат.).

Исходя из этих оснований, мистер Спрот-Уимис полагал, что он — и только он — заслуживает права на компетенцию в вопросе о важнейшем значении духовного измерения для физического и (он смеет говорить это?) психического здоровья.

АРИСТИД ПОПЕСКУ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ в тюрьме в Санкт-Петербурге — потому что его агенту из бюро путешествий в Париже не удалось получить русскую выездную визу. Такой пустячный промах и столь тяжкие последствия! Без этого разрешения ему не позволили подняться на борт самолета. Аристид, старый, согбенный, но все еще энергичный, напропалую громил русские порядки: он вопил и грозил кулаком, он топал ногами, он втолковывал хранившей невозмутимость непонятливой чиновнице за столом, в какое место ей прямо сейчас следует засунуть Санкт-Петербург — шпили, Зимний дворец и все прочее. Он поднял такой скандал, что были вызваны два охранника. Они отобрали у него паспорт и увели — «вынесли лягушатника по-лягушачьи», рассказывал потом Тумбли, хихикая над собственным каламбуром, — в камеру для допросов без окон и велели успокоиться. Они дали ему грязный стакан тепловатой мутной во-

ды и маленькую бутылку водки и заперли. Один из них остался за дверью, другой пошел докладывать своему начальнику. Тот пролистал паспорт.

— Француз, — сказал он. — Много разъезжает. Пусть еще пару часиков попользуется нашим гостеприимством. А тем временем загляните-ка в его багаж. Никогда не знаешь, что найдешь.

Между кашемировым свитером и тяжелым шелковым халатом обнаружили тщательно завернутый в гофрированную бумагу пакет, а внутри него — закутанный для отвода глаз в плед темно-зеленый кожаный футляр величиной со стандартную папку для хранения документов. Футляр, слегка потертый от времени, был украшен роскошным золотым тиснением: расположенный в центре щит баронского герба, под ним имя — де Каймовский — в обрамлении мелких звезд. В футляре лежала рукопись «Бориса Годунова», написанная рукой Пушкина. Под титульным листом обнаружилось его же письмо, датированное 7 июня 1824 года, с посвящением Наталье Вагиновой, актрисе, имя которой сохранилось в истории только потому, что Пушкин совсем ненадолго безумно увлекся ею. На обороте каждого листа рукописи стояла гербовая печать: силуэт трехмачтового парусника в окружении

слов «Ленинград: Библиотека Соединенных Пролетариев». Ясно, что Аристид должен был ответить на некоторые серьезные вопросы.

Барон Леопольд де Каймовский, друг Дизраэли[190] и французских Ротшильдов, был сказочно богатым еврейским промышленником и библиофилом. Титул и частица «де» были дарованы ему благодарным французским правительством, когда во время десятилетней франко-прусской войны он один, без посторонней помощи, обеспечил размещение ценных бумаг для оплаты расходов на то, что сегодня называется «техническим обоснованием» проекта по возведению неприступной линии обороны между Францией и Германией. Вернувшись в родной Санкт-Петербург, он построил особняк — Дом де Каймовского, изящное строение, почти дворец, на Английской набережной. Особняк специально предназначался для размещения библиотеки, которую в свое время он собирался подарить народу. События опередили его. В 1919-м, через два года после того, как революционеры штурмовали Зимний дворец, народ завладел его собственностью. Дом де Каймовского оккупировал кавалерийский

[190] Примечания: 190

Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд (1804–1881) — премьер-министр Великобритании и писатель.

эскадрон Красной армии, в цокольном этаже они разместили своих лошадей, а на первом и втором насиловали женщин, которых им удавалось заманить. Канделябры они использовали для учебной стрельбы. Потребовалось личное вмешательство товарища Ленина в 1920 году, чтобы спасти особняк и библиотеку от полного уничтожения. Он арестовал кавалеристов и отправил их походным порядком в леса под Всеволожском, где их построили в ряд и расстреляли. Дом де Каймовского сделался Библиотекой Соединенных Пролетариев.

Директором библиотеки стал некий Никита Кривчун. Это было выгодное место службы, особенно после того, как ему передали прекрасные апартаменты под фальшполом, которые в Англии называют двухэтажной квартирой, хотя в этом случае получилась довольно большая квартира и к тому же с отдельным выходом в превосходный неоклассический сад. (Возможно, вам покажется заманчивым представить себе Кривчуна, по кажущемуся сходству обстоятельств, Эдмоном Мюзиком in piccolo.) Он был директором до распада Советского Союза и оставался им при новом руководстве. Его дни, однако, были сочтены.

Подобно многим руководителям государствен-

ных предприятий при Советах, Никита Кривчун полагал, что с неожиданным поворотом к капитализму то, что он прежде хранил для народа, теперь следует использовать в личных целях. К счастью для Санкт-Петербургской «Малой» библиотеки редких книг и рукописей (прежней Библиотеки Соединенных Пролетариев), он только недавно начал воплощать в жизнь свое превратное представление и успел продать всего несколько единиц хранения. Тем не менее Кривчун категорически отрицал факт продажи чего бы то ни было, даже канцелярской скрепки. Его положение осложнялось тем, что Аристид Попеску, когда его арестовали, имел при себе договор продажи пушкинской рукописи, собственноручно подписанный директором.

— Ложь! Подделка! За этим кроются жиды! — кричал Кривчун.

Тумбли позвонил мне из Петербурга.

— Попал в самую точку, — сказал он.

— Как Аристид? Ты уже видел его?

Он пропустил мои вопросы мимо ушей.

— Та же схема, что и прежде. — Он презрительно рассмеялся. — Договор о продаже того, что нельзя ни покупать, ни продавать. Попеску любит прикрывать свою задницу. Хотя на сей раз

ему возьмут да и вставят пистон. Может, мы еще увидим, как он взлетит на собственной петарде.

Развивая эту пошлую метафору, он еще сдерживал радость, но под конец разразился откровенным гоготаньем.

В этом деле, продолжал рассказ Тумбли, оказались политические сложности и ответвления. У Кривчуна есть старший брат Дмитрий, который долгое время был и до сих пор остается заместителем министра культуры. Дмитрий Кривчун, как и его брат, сумел удачно преодолеть водораздел между коммунизмом и капитализмом. Более того, он имеет доступ к уху президента, с которым частенько выпивает. Этот заместитель министра обладает властью и влиянием, абсолютно не соответствующими его должности; он знает много тайн, и у него полный чемодан чужих долговых расписок. Но у Дмитрия Кривчуна есть и влиятельные враги. Ходят слухи о его тайных счетах в швейцарском банке и о деньгах, отмытых через остров Мэн[191]. Он тоже обвиняет жидов, которые, как он говорит, боясь в открытую атаковать его, отхаркивают свою спидоносную слизь на его невинного ученого брата, библиофила, всю свою

[191] Примечания: 191
Мэн — остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании.

жизнь посвятившего сохранению национальных сокровищ.

Аристида удерживают в тюрьме, видимо, потому, что некоторые политики хотят заставить его дать показания под присягой против Никиты, чтобы ослабить позиции Дмитрия Кривчуна. Как только будет доказано, что Никита погряз в коррупции, сразу станут возможны и расследования сомнительных финансовых операций за границей Дмитрия Кривчуна. С другой стороны, эти же самые политики должны были подумать и о том, как избежать мести Дмитрия Кривчуна. В результате образовалось что-то вроде политического тупика.

Бедняга Аристид переживает эту тупиковую ситуацию как разновидность дантовского Limbo[192]. Фактически он преступник: как известный европейский торговец редкими книгами и рукописями, человек с полувековым опытом, он не мог сослаться на незнание законов, касающихся национальных сокровищ. Он не мог не знать, что нарушает закон, когда покупал рукопись Пушкина и пытался выехать из страны с драгоценным раритетом, спрятанным в багаже.

---

[192] Примечания: 192
Limbo — чистилище.

И, даже если он ничего не знал, незнание закона не освобождает от ответственности. Однако власти готовы отпустить его, разумеется, после уплаты значительного штрафа и серьезного предупреждения, но только в том случае, если он будет с ними сотрудничать. (Конечно, он хочет сотрудничать, он ждет не дождется, чтобы начать сотрудничать.) Остановка за антикривчунскими силами, которые пока не уверены, что могут атаковать, не подвергая себя риску. Тем временем Аристид изнывает в тюрьме.

— Хорошо, Габриэль уже связался с властями?

— Попеску-fils? Легковесный. Совсем бесполезный, поверь мне.

Габриэля Попеску держат как заложника, чтобы «поощрить» к сотрудничеству его отца. Ему не позволяют уехать из города и сопровождают, куда бы он ни шел. Его контакты с внешним миром контролируют и при необходимости подвергают цензуре. Но ему позволяют посещать отца и его адвокатов, он может свободно ходить везде, где позволено ходить туристам. Лучше же всего то, что у него номер в «Астории», гостинице мирового класса.

— Не то что «Русь», самое лучшее, что могу себе позволить *я*, — с ожесточением сказал

Тумбли. — Если бы я был мелочным мирянином-человеконенавистником, самое страшное, что я пожелал бы моим врагам, — это забронировать номер в «Руси».

Меч, нависший над сыном, — еще одно средство заставить отца быть покладистым.

МНЕ ЗАПРЕТИЛИ НАВЕЩАТЬ МОД. Прошло уже три недели, как ей сделали операцию на бедре, и четыре недели, как она переступила порог больницы. Я приезжал в больницу Святых Космы и Дамиана почти каждый день, чтобы увидеть ее, — пустяк, не заслуживающий внимания, — а первые три самые беспокойные ночи провел в постели и завтракал в Лиоуминстере. А теперь мне запретили!

Мод оставалась в больнице намного дольше, чем обычно лежат пациенты, которым делали такие же операции. Дело в том, что у нее появился необычный волдырь на внутренней стороне бедра, и он не желает рассасываться. Мод показала мне его в мой оказавшийся последним визит.

— Закрой дверь, Эдмон, — сказала она, — подойди и взгляни на это.

Изящным жестом она подняла подол ночной рубашки, заботливо прикрывая ту самую интимную часть тела, которую она когда-то выставляла

передо мной напоказ. Волдырь был слишком отвратительным, чтобы смотреть на него, — примерно девять дюймов в длину и три в ширину, направленный в виде стрелки к ее вагине, трупно-бледный, бледнее белого бедра, на котором он появился.

Я растерялся от неожиданности. И чтобы скрыть отвращение, попытался пошутить.

— Лучше с ним быть начеку, — сказал я. — Он, похоже, соображает, куда продвигается.

Она посмотрела на меня с ненавистью и презрением. И быстро прикрылась.

— Можешь снова открыть дверь.

— Это была шутка.

— Дверь, Эдмон!

— Визиты расстраивают пациентов, — голос мистера Спрот-Уимиса по телефону из его лондонского офиса звучал нежно, как флейта, — а покой так важен для восстановления физических сил. Мы, ученые, склонны признавать, что покой — лучшее лекарство в мире. В больнице у Святых мы делаем все что можем: болеутоляющие средства (когда необходимо), физиотерапия, вкусная еда, бодрая атмосфера, всецело преданный персонал, цветы и фрукты в каждой комнате и так далее, но в конце концов лучше всего исцеляет

душевное равновесие, внутренний покой, гораздо лучше, чем все наши пилюли, — и, конечно, присутствие того, что я называю духовным измерением. Уверен, вы понимаете меня, отец.

— Нет. Совсем не понимаю. Мисс Мориарти и я были сослуживцами в Бил-Холле почти пятьдесят лет, мы более чем сослуживцы, мы давние друзья. Я думаю, прежде чем судить, не зная обстоятельств, вам следовало бы посоветоваться с вашей пациенткой. Если я не смогу подняться к ней, вы быстро узнаете, какой она может быть расстроенной. И если вы так дорожите духовным измерением, нужно ли мне напоминать вам, что я священник?

— Мне больно говорить вам это, — явно наслаждаясь, ответил мистер Спрот-Уимис, — но просьба исходит от мисс Мориарти и только во вторую очередь от меня. — Далее он перешел на шутливый тон, что-то вроде того, что все-мы-люди. — Нам с вами, хотя и в разном профессиональном качестве, доводилось встречаться с дамами определенного возраста, никогда не бывшими замужем, которые высказывают своеобразные идеи. Это своего рода психические миазмы, порожденные сексуальной разочарованностью, которые отравляют мозг.

— Вы имеете в виду мисс Мориарти? — холодно спросил я.

— Ни в коем случае, ни в коем случае, отец! — Мистер Спрот-Уимис спешно отступил. — Нет, поверьте мне. *Я имею в виду*, что сейчас, во времена ее тяжких испытаний, мы должны прощать ей маленькие капризы, не правда ли? Вы заберете ее назад в Бил-Холл самое большее через три недели, и она будет как новенькая. Ее бедро хорошо починили, она успешно проходит курс упражнений, и мы занимаемся ее волдырем. Теперь нам нужно будет сосредоточиться на ее психическом здоровье. А вы тем временем можете звонить к Святым и получать ежедневный отчет о ходе дел. Только, пожалуйста, не самой пациентке. Отнеситесь с уважением к ее пожеланиям. Опытный врач подтвердит вам, что иногда пациент сам знает, что для него лучше. Думаю, вы найдете подтверждение этому и в вашей практике.

— Только не в *моей* практике, ответил я, но он уже положил трубку.

Ладно, мне все ясно и без его намеков. Мои всегдашние католические шуточки, которые прежде доставляли удовольствие Мод или слегка возмущали ее, теперь раздражают. Ее выводит из терпения мой цинизм, и она видит сарказм

там, где я просто ироничен. Она говорит, что будет молиться Святому Иуде Тадеушу о моей вере — Иуде, святому покровителю безнадежных больных и проигранных дел. Когда-то подобная перспектива могла стать предметом шутливой пикировки между нами; теперь, боюсь, она относится к этому всерьез. И я знаю, что очень расстроил ее в мой последний визит. Не той дурацкой шуточкой, которая при виде отвратительного волдыря сорвалась у меня с языка. Нет, в моей неудачной попытке развлечь ее я рассказал один анекдот, который слышал очень давно на верхней площадке автобуса, анекдот о вздорной доктрине папской непогрешимости. Я надеялся вызвать улыбку на ее губах, поскольку она выглядела более чем «немного больной».

Но, конечно, я должен был понять, что ее комната у Святых не место для подобных шуток. На стене над ее головой на своем Кресте корчился Христос и отражался в зеркале на противоположной стене, так что она могла видеть его. На ее прикроватном столике лежали и молитвенник, и набор того, что выглядело похожим на развернутую веером руку с игральными картами, но при ближайшем рассмотрении оказалось молитвами на все случаи жизни. Монахини то и дело впархи-

вали в комнату с таблетками или термометрами, с журналами или чашками чая и с бисквитами на двоих, только что не приседая в реверансе при виде моего ошейника. За окном виднелись покатые, очень ухоженные лужайки и скульптура, воспроизводящая «Пьету» Микеланджело в духе Джейкоба Эпстайна[193]. Короче говоря, она обласкана католицизмом. И на эту гладкую поверхность я неуклюже бросил камень.

— Не забывай, Эдмон, когда Папа наставляет в делах веры и нравственности, Святой Дух хранит его от заблуждений.

— Разумеется, ты хотела бы, чтобы я не придавал значения всеми признанным заблуждениям, — сказал я, и возможно, в моем голосе была капля сарказма. Кто-кто, а Мод хорошо знает, как я отношусь к подобного рода темам. — Вероятно, самое лучшее — забыть о таких непогрешимостях, подверженных заблуждениям, как использование пыток для подавления ересей, вводящая в соблазн защита рабства, внушающее ужас учение о евреях и иудаизме, или доктрина насчет того, что «нет спасения вне Церкви», или запрет на ссуду денег под проценты, или отказ верить

[193] Примечания: 193

Эпстайн Джейкоб (1880–1959) — американский и английский скульптор.

в то, что Земля вращается вокруг Солнца, — мне продолжать?

— Ты нечестивый и злой человек, — сказала она. — Каждым своим словом ты снова пронзаешь измученное тело нашего Господа. Как и майор, ты будешь гореть за это в аду. Я больше не хочу тебя слушать.

Она была очень серьезна. И в глазах у нее стояли слезы.

— Мод, прости. Я совсем не хотел тебя обидеть.

Она приняла таблетку и взяла четки.

— Я устала, Эдмон. Думаю, мне лучше поспать. А ты иди. — Она начала беззвучно говорить со своей Пресвятой Девой Марией.

Конечно, я ушел.

ТУМБЛИ СУМЕЛ УВИДЕТЬСЯ С АРИСТИДОМ. Адвокаты Попеску-сына и отца добились успеха, убедив власти дать заключенному послабление и допускать к нему, ограничив время посещения, его «духовного пастыря». Аристид сидел в Крестах, мрачном тюремном комплексе из темно-красного кирпича на восточной окраине Петербурга. Он был построен в начале прошлого века, чтобы держать там нескончаемый поток врагов царя, а в героическую эпоху сталинских чисток плавно перешел в ранг тюрьмы особого

режима для политических диссидентов, временно оставленных для сохранения равновесия на промежуточной станции по пути в ГУЛАГ. Караульные вышки, вооруженные до зубов охранники и свирепые собаки не смягчили облик Крестов в новое время. Совсем рядом располагается здание КГБ с его четырьмя подвальными этажами пыточных камер.

— Самая хорошая новость — это вид, открывающийся из тюрьмы, — сообщил Тумбли по телефону из Санкт-Петербурга, оплата разговора — за мой счет. Он уже в который раз опустился до этой низости. — Ты знал, Эдмон, что Kresti по-русски означает «кресты»? Может, это объясняется формой здания? Оно в форме креста? Но вот ирония: напротив, на той стороне Невы находится превосходный Смольный монастырь. Если Попеску придвинет свою койку к узкой щели окна и встанет на цыпочки, он вполне сможет увидеть его. Черт возьми, это сногсшибательный кафедральный собор, Эдмон! Эти четыре устремленных вверх купола! И золоченые шары, венчающие их! Класс! Если бы я был твоим другом Попеску, то проводил бы все время, выглядывая из окна. Я так и сказал этому адвокату, который сопровождал меня в тюрьму: «На этой стороне реки лучше бы

держать добровольных узников, а подневольных отправлять на тот берег». Я вспомнил «Монахини не волнуются», Эдмон, кажется, это Вордсворт? Так или иначе, этот адвокат сказал мне, что большинство «монахинь» — это разведенные женщины, и не только в Смольном! Таково, видно, русское православие.

Тюрьма Кресты, как я понял из описания Тумбли, пропитанного откровенным Schadenfreude[194], это нечто вроде ада, гораздо более страшного и безнадежного, чем все, что придумал Данте, — вероятно, потому, что он реален, осязаем и зрим, не метафора и не символ чего-то, не воображаемое место, где поэт мог сполна расплатиться по старым счетам со своими врагами, назначив каждому место мучений. Камера в Крестах не больше шестнадцати квадратных метров — в ней сорок обитателей и несчетное число тараканов. Заключенные должны спать посменно, так как на всех не хватает коек. Содомия здесь дело обычное, хоть и запрещенное, вопли по ночам могут исходить как от сумасшедшего, так и от жертвы изнасилования. И такое зловоние, что способно вызвать тошноту

---

[194] Примечания: 194
Злорадство (нем.).

у человека с самым крепким желудком. В разные дни за тюремными стенами стоят группки женщин: это жены, матери, сестры, подружки, проводящие бесконечные часы в надежде хоть на мгновение увидеть дорогого человека, его лицо в окне.

Конечно, положение Аристида не такое отчаянное, как у обычного заключенного. Он, конечно, не обычный арестант — пока нет. Он лишь задержан, а не арестован: жизненно важное, а не только семантическое, различие. Ведь его дело еще не рассматривалось в суде. И тем, что застрял в Крестах, он, вне всяких сомнений, обязан прискорбной бюрократической путанице и интригам политических врагов Дмитрия Кривчуна. Фактически адвокаты Попеску заняты лишь тем, чтобы помочь ему получить денежный перевод, желательно еще до судебного разбирательства, и перебраться в более здоровое помещение.

— С богатыми все иначе, чем с остальными, Эдмон, — сказал Тумбли с такой яростью и фанатичной убежденностью, будто его посетило откровение.

У Аристида своя камера, четыре метра на четыре, и его сын получил позволение присовокупить к прогнувшейся тюремной койке военного об-

разца новый матрац и чистое постельное белье. Аристиду в его камеру три раза в день доставляют еду из «Мулен Руж», дорогущего новомодного петербургского ресторана. Не считая койки, камера может похвастать маленьким столиком, колченогим табуретом и ведром для нечистот, кроме того, в углу на полке топорной работы стоит бадья для питьевой воды и помятая ржавая жестяная кружка. На потолке все время горит тусклая лампочка, забранная решеткой. Каждое утро один из заслуживших доверие арестантов заходит в камеру и опорожняет ведро. Власти задарили Аристида и другими милостями — например, у него есть две книги: одна из них — «Холодный дом»[195] на испанском языке, другая — путеводитель по Парижу на русском. И к нему допускают посетителей: его адвокатов, сына и вот теперь — «духовного пастыря». Его запирают в камере и разрешают покидать ее только на сорок минут в день, выводя на прогулку: он в одиночестве ходит по узкому кругу в одном из дворов, замирая от страха при виде рычащих, рвущихся с цепи собак, в то время как их остроумные хозяева делают вид, что не могут с ними справиться. Правда, в его

[195] Примечания: 195
«Холодный дом» — роман Ч. Диккенса.

камере, как и во всех других, полно тараканов, а зловоние такое, что у любого посетителя делается бледный вид.

— Но в сравнении с другими, — радостно сообщил Тумбли, — этот парень живет просто в роскошных апартаментах. Серьезно.

Аристид утратил прежние самоуверенность и элегантность. За два месяца его тюремного заключения — два месяца в этом чудовищном месте! — он, говоря подлыми словами Тумбли, «совсем опустился». Его когда-то изящная одежда теперь висит на усохшем теле. Он постарел, вернее, возраст вдруг догнал его. Он нечесан, у него черные изломанные ногти, кожа жирная и липко-желтоватая, сквозь ее поры сочится страх. Его глаза постоянно мечутся, как будто опасность может появиться в любой момент и с любой стороны.

Когда Тумбли впустили в камеру, Аристид не поднялся, чтобы приветствовать его. Он остался сидеть по-турецки на полу напротив двери, опираясь спиной о стену.

— Ты пришел спасти меня, Фред? — тихо засмеялся он. Его взгляд тревожно бродил по камере.

— Я пришел, чтобы молиться с тобой, — с обычной напыщенностью ответил Тумбли. Он

подошел к Аристиду и встал перед ним на колени. — Давай! — приказал он.

Он схватил Аристида за локоть и помог ему встать на колени. Аристид взял в руки крест, который свисал с шеи Тумбли, и погладил его, словно это была лампа Аладдина. Он нервно огляделся вокруг и прошептал:

— У тебя есть для меня новости?

— Новости? Я принес тебе поклоны от твоей невестки с улицы Фобур-Сент-Оноре и от твоего сына Габриэля из гостиницы «Астория».

— Пожалуйста, прошу тебя, не шути со мной, Фред. Когда мы были молодыми, то не очень любили друг друга, это так, но, надеюсь, все забыто. Я сейчас в отчаянном положении. Ты не можешь даже представить себе, что значит сидеть здесь взаперти, не знаешь, что мне приходится выносить. Ты видел скульптуру на той стороне реки? Взгляни на нее. Она поможет тебе понять. Так что, прошу тебя, скажи мне, какие новости из Парижа. Правительство уже подключилось? Консул здесь? Эти русские адвокаты, которых мне предложили, хуже, чем бесполезны. Они, наверное, работают на моих врагов. Они давно должны были вытащить меня отсюда. Потрогай мои щеки — смотри, они мокрые от слез, ты видишь? Только потрогай.

А что *делает* все это время мой сын? Он забыл про меня? Он не был здесь два дня, целых два дня! Ради Христа, Фред, перестань тянуть время, какие новости ты привез?

Его голос от шепота поднялся до сдавленного крика. Вдруг металлическая оконная решетка на двери камеры с грохотом отворилась, и в ней появилось лицо охранника, молодое лицо, залитое румянцем юности, лицо, еще не знавшее бритвы. Парень грозно взглянул на них: у него были «восхитительно ясные глаза, славянские голубые глаза». В этом месте описание Тумбли сделалось лирическим.

Аристид так возвысил голос, что его посетитель вздрогнул от неожиданности. Оба по-прежнему стояли на коленях, и Аристид вопил в нос Тумбли:

— Да, отец, я очень хорошо себя веду. На меня совсем нет жалоб. Как можно? Тюремный персонал оказывает мне всяческие любезности. — Одновременно он мигал и конвульсивно подергивал головой, чтобы обратить внимание Тумбли на присутствие охранника.

(«Скажу тебе, Эдмон, — сообщил по секрету Тумбли, — что его дыхание мерзко смердило. Сточная канава! Все, что я мог сделать, чтобы

оградить себя, это отвернуться и выказать ему мое отвращение».)

Металлическая решетка с грохотом захлопнулась.

— У меня нет других новостей, кроме Благой вести, Евангелия. Я проехал весь этот путь, чтобы принести тебе духовное утешение, молиться с тобой, помочь тебе найти силы, в которых ты нуждаешься, чтобы пережить время испытаний.

Аристид поднял беспокойные глаза к потолку.

— О Фред, — прохрипел он, — я сойду с ума! — И в ярости повернулся к Тумбли. — Ты дьявол! Ты пришел сюда не для того, чтобы помочь мне, но чтобы мучить меня!

Он схватил крест Тумбли, сорвал с его шеи, разломал цепочку и швырнул все на пол. Потом Аристид стал смеяться: он хлопал в ладоши и хохотал во все горло. Слезы текли по его лицу. Он бил себя кулаком в грудь, рвал на себе волосы, он смеялся и смеялся.

Тумбли поднял крест и поцеловал его. Справившись наконец со своими больными суставами, он встал и направился к двери.

— Я ухожу, — сказал он и постучал в решетку, вызывая охранника. — Отдохни день-два и успокойся. Помни, самый великий грех — отчаяние. А

я тем временем буду молиться за тебя, обещаю.

В ответ он услышал еще более безумный смех.

— Я оставил его немного подергаться, а потом, Эдмон, отправлюсь к нему снова, — с удовольствием рассказывал Тумбли. — Я прихватил его за волоски на лобке, и это истинный факт, как говорят мои студенты. — Тумбли позвонил мне сразу после своего визита в тюрьму и, конечно, за мой счет. — Хотел тебя немедленно проинформировать.

— Ушам своим не верю! «Волоски на лобке»? Ты кто — Фред Тумбли, посвященный в духовный сан в истинной Церкви, смиренный слуга милосердного Спасителя, обладатель Силы и Славы, или ты оборотень, слуга Сатаны? Может ли быть, что отец Фред Тумбли торжествует, потому что держит за яйца нашего старого друга и может, если захочет, сдавить их? Это и есть Сила? Тогда в чем заключается Слава?

— Это всего лишь фигура речи, — раздражаясь, ответил Тумбли. — Слова. Воздух.

— Как и Нагорная проповедь?

— Дай мне сказать, Эдмон! Христа интересуют не наши слова, а то, что мы пишем в наших сердцах.

— Эквивокация[196], Фред?

— Да, и это веками спасало многих из нас во времена тяжких испытаний.

— Совершенно верно. Но эквивокация — это привилегия обвиняемого, а не его судей.

Тумбли даже не пытался скрыть раздражение.

— Мы оба знаем, что Попеску жулик. Ты предпочитаешь смотреть на это сквозь пальцы, но ты это знаешь. Ладно, я первый готов оставить кесарю преступления, совершенные против него, но в делах, касающихся Христа, я адвокат Христа. Этот до сих пор неизвестный шекспировский текст принадлежит Бил-Холлу. Попеску присвоил его, и нельзя допустить, чтобы он нагрел на нем руки. Вот главная установка.

Не было ни малейшего смысла что-то доказывать ему.

— Ты видел скульптуру на той стороне реки?

— Какую скульптуру?

— Ту, о которой говорил Аристид, когда просил, чтобы ты взглянул на нее.

— А, эта, — неприязненно произнес Тумбли. —

---

[196] Примечания: 196

Эквивокация — сознательная логическая ошибка, когда одно и то же слово или выражение употребляется в разных значениях, при этом делается вид, что в него вкладывается один и тот же смысл; в частности, используется для ухода от прямого ответа.

Вообще-то видел. Это довольно невнятная дребедень, сотворенная, как и следовало ожидать, неким евреем, психом, который провел какое-то время в сталинских лагерях. Шумский? Шимпский? Нет, Шемякин. Скульптура представляет собой тюремное окно, забранное решеткой, и ты смотришь в это окно на Кресты с того берега реки. Да, и там еще по обе стороны зарешеченного окна по сфинксу, они как бы смотрят друг на друга. И половина лица каждого сфинкса, обращенная к Крестам, это череп. Вот что я там увидел, да еще мемориальные доски, с цитатами из Сахарова, Ахматовой и других о демократии, терпимости и мире. Пустая болтовня о темных силах и смерти.

— Наверное, скульптура не твой конек, — предположил я саркастически. — Аристиду она что-то говорила. Думаю, он вспоминал ее, разговаривая с тобой. Наверное, мы на Западе действительно получили свободу по воле случая.

— Дай мне сказать. Я хорошо разбираюсь в искусстве, если вижу его. Мой гид сказал, что тот парень живет сейчас в Нью-Йорке. Где ему самое место. Еще одна история еврейского счастья.

Какой смысл с ним говорить?

— Что ты собираешься делать дальше?

Мой вопрос Тумбли счел полной капитуляци-

ей. Вспомните, ведь я единственный, кто ему был нужен, не бедняга Аристид — тот был просто орудием.

— Я собираюсь предложить ему выбор. Или он прикажет своей невестке, чтобы она дала мне экземпляр купчей на книгу Шекспира и фотокопию данной книги, и в этом случае я свяжусь с Ватиканом, чтобы начать переговоры в его поддержку, возможно, подам прошение самому Его Святейшеству. Или же я проинформирую русские власти, что Попеску совершил похожее нарушение закона в Соединенном Королевстве и кто знает сколько таких же преступлений где-нибудь в других местах.

— Но ты не имеешь никакого влияния в Ватикане? — спросил я, изумленный его бесстыдством.

— Правильно. Никакого. Но Попеску не знает об этом. Он ухватится за соломинку.

— У тебя что, совсем нет совести? Неужели ты даже произнесешь имя Его Святейшества, чтобы подкрепить свою ложь? Аристид in extremis[197], парень. Неужели ты присядешь над ним на корточки и насрешь ему на голову?

---

[197] Примечания: 197
В крайности (лат.).

— Избавь меня от моральных оценок, ТИ. Не говоря уж о неаппетитных метафорах. Речь идет о возвращении Церкви католического достояния. Надо сначала сделать это, а уж потом можно будет позволить себе агрессивные дискуссии о том, кто прав.

— Но если Аристид не согласится? Ведь ты не донесешь на него его мучителям? У него хватает бед и без тебя. Ты не добавишь ему страданий.

— Это я-то не добавлю? — хихикнул Тумбли. — Ладно, ладно, может, и не добавлю. Но Попеску не знает этого. Я говорил тебе, Эдмон, что доберусь до сути этой шекспировской головоломки, и рано или поздно, но я сделаю это.

ОДНАКО «ШЕКСПИРОВСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА» и решимость Тумбли разгадать ее были полностью вытеснены из моей головы чрезвычайным и совершенно неожиданным событием в Бил-Холле. С глубокой и безмерной печалью я должен сообщить вам: Бастьен, мой верный осел, мой старейший товарищ, наконец сошел с ума. Он помешался — но, конечно, остался славным Бастьеном и поэтому совершенно безобиден.

Одна из наших уборщиц с подходящим име-

нем — миссис Моп[198] вошла в Грейт-Холл, преисполненная осознанием важности своих обязанностей по наведению блеска, и тут ее взгляд упал на новое произведение искусства, скульптуру Христа в натуральную величину, прикрепленную не к Кресту, но к деревянной панельной обшивке под портретом кардинала Тайтингера кисти Книгге. Приблизившись к статуе, она заметила в ней некоторые странности, которые, разумеется, посчитала свидетельством символического замысла современного художника, но не очень ей понятного. Голова Христа покоилась на его правом плече и была увенчана не терновым венцом, но венком, сплетенным из разноцветных телефонных проводов. В ладонях протянутых рук торчал не безжалостный гвоздь, а темно-фиолетовая слива, надетая на большой палец. Чресла Христа были препоясаны кричаще-ярким кухонным полотенцем — сувениром из лондонского Тауэра. На обычной бечевке, завязанной вокруг шеи, висел штопор. Но самым странным изо всего, что увидела миссис Моп, было тело Христа: это не было тело физически здорового человека, замученного до смерти в

[198] Примечания: 198
Швабра (англ.).

возрасте тридцати трех лет, но человека вдвое старше Спасителя и очень дряхлого. Последним, что заметила уборщица, была «ужасная вонь» от скульптуры.

Миссис Моп задержалась на минутку, изучая произведение искусства и держа наготове метелку из перьев для смахивания пыли, когда Христос открыл один глаз, не торопясь осмотрел ее и подмигнул. Миссис Моп онемела. Но то, что за этим последовало, было гораздо хуже. Христос устремился вперед, протянув к ней руки, как будто собирался обнять ее. Тотчас же несчастная женщина обрела голос и, завизжав, помчалась через комнаты и галереи, через жилье бывших слуг, через кухню и буфетную и, выскочив на улицу через служебный вход, в изнеможении рухнула на скамейку.

Тем временем Христос — вернее, Бастьен — тоже обратился в поспешное бегство, бросившись к боковому входу, расположенному около Большой двери. Пристанывая от боли, он запрыгал по гравию двора — ой! ой! — и потом, сбросив скорость и еще сильнее хромая, повернул к Трафальгарскому холму и колонне Победы. Возле постамента он как подкошенный упал на колени, перевернулся на бок и улегся, тяжело дыша.

«Здесь сокрушил свое сердце вконец / Загнанный в угол славный храбрец». Час спустя его обнаружил один из местных лесников и вызвал ПК[199] Уайтинга, оторвав его от позднего утреннего чая. (Да, он по-прежнему был *ПК* Уайтинг. Бочонок провалил свои экзамены и подумывал оставить полицию.) Распрямить и вывести Бастьена из его эмбриональной позы оказалось невозможно. Они завернули его, как могли, в непромокаемый плащ Бочонка и покатили на тачке назад в Холл.

Я весь день провел в Ладлоу — без определенной цели, просто бездельничая, уклоняясь, должно быть, от бесчисленных мелких обязанностей, которые упали на мои плечи в отсутствие Мод, — и увидел Бастьена только вечером, много часов спустя после отъезда доктора, которого догадался вызвать Бочонок. Он вызвал также Билинду Скудамур, свою «дорогую личную сиделку» (так он, подмигивая, назвал ее), и она ожидала моего возвращения. Как сказал Билинде доктор, у Бастьена нет никаких физических отклонений, конечно с поправкой на возраст. О, у него, разумеется, искривлена бедренная кость, но это все.

— «В чем он нуждается, — докладывала Билин-

---

[199] Примечания: 199
ПК — полицейский констебль.

да, имитируя богатые модуляции докторского голоса, — так это в том, что мы, медики, называем „ловкостью велосипедиста“, понимаете, что я имею в виду?» Он оставил свой телефон на тот случай, если отец Мюзик захочет позвонить ему, чтобы получить направление в больницу. «На вашем месте я бы обтер его мокрой губкой, — сказал доктор в заключение. — И впустите побольше свежего воздуха в его комнату. Он слегка прокис».

Комната Бастьена в перестроенных конюшнях была аскетичной, как монашеская келья, если бы таковая там когда-нибудь появилась. Простой крест на стене над его койкой, скамеечка для ног, жесткий деревянный стул и небольшой сундук, где стояла заключенная в рамку фотография улыбающейся женщины, его сестры Жозефины, с коромыслом на плечах, на котором висят ведра с молоком. Окно было открыто, на подоконнике лежал баллончик освежителя воздуха, без сомнения оставленный Билиндой.

Бастьен не ответил на мой стук. Когда я вошел, он лежал на койке, спиной ко мне. Я прошел, сел рядом и похлопал его по бедру.

— Как делишки, старина?

Он, не оглядываясь, протянул руку и с неожи-

данной силой схватил мое запястье.

— О, Эдмон, мне так стыдно.

— Ничего, ничего.

— Кого я так напугал?

— Одну из уборщиц. Миссис Моп. Я разговаривал с ней. Она понимает.

— Что она может понимать? О, что я наделал, Эдмон! Теперь они упрячут меня. Миссис Моп, говоришь. Знаю ли я миссис Моп? Которая из них? Такая толстая, а когда убирается, всегда надевает шляпку, это она? Ни на одну женщину нельзя надеяться. Что мне теперь делать? На меня точно что-то нашло, Эдмон. Мне зачем-то надо было сделать это.

— Не преувеличивай, дружище. Ты только выразил то, что многим из нас, в том числе и нам, священникам, вбивали в голову с самых ранних дней: «Чем это Распятие было для Него? Представь себе Его муку, Его боль, когда гвозди пронзали Его тело, когда под тяжестью Его тела разрывалась Его плоть». Ну и все такое. Это прямо-таки невезение, что кто-то прервал твой… эксперимент.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Даже не сомневайся.

— Я не помню ничего такого. Наверно, вообра-

жал, что это будет вроде шутки, ну, если я переоденусь Им. — Он засмеялся и тут же мучительно закашлялся. — Не *пере*одевание, а *пере*дряга. Я попал в *пере*дрягу за *раз*девание. Ведь мужчины не носят платье, только священники и женщины, не мужчины. — Он почесал голову, его волосы в беспорядке разметались по подушке. — И кожа так зудит. Я больше не мог ни минуты выносить одежду. Бедная миссис Моп.

— Думаю, ты немного переутомился из-за того, что нет Мод.

— Это счастье, что ее здесь нет! Я не про то, что она в больнице. Счастье, что ее не было здесь, потому что она не увидела моего стыда. Нестерпимо думать об этом. Обещай мне, что не расскажешь ей, обещай, Эдмон.

— Если ты этого хочешь, почему бы и нет, обещаю. Но ведь мы говорим о Мод. Она знакома с тобой ровно столько же, сколько со мной.

В первый раз за все время нашего разговора он повернулся ко мне, все сильнее сжимая мое запястье. Я слишком долго сидел в неудобной позе, спина ныла, рука, которую держал Бастьен, болезненно дрожала.

— Не позволяй им упрятать меня, Эдмон, не отдавай меня Церкви, я не хочу повторить судьбу

бедного Кастиньяка! — Глаза Бастьена покраснели, по щекам текли слезы. — Пошли меня к Жожо, моей сестре. — Он разжал руку и ткнул пальцем в фотографию. Я поднялся. — Позволь ей приехать и забрать меня.

Я дал ему слово.

Он снова отвернулся и вздохнул, его била крупная дрожь.

— Я устал. Думаю, мне лучше поспать.

— Спокойной ночи, дорогой Бастьен.

В ответ раздались рыдания.

Из описанного выше диалога вполне допустимо сделать вывод, что бедняга Бастьен психически нормален (в общем и целом). Он пережил то, что можно было бы назвать неким психологическим «эпизодом», временным отклонением от нормы, кратким приступом, когда забуксовали шестеренки в мозгах. Но теперь вроде бы все вернулось на место. В конце концов, он совершенно ясно понимал, что натворил. Его стыд по поводу случившегося был вполне адекватным. Его страх перед заточением в какое-нибудь католическое заведение для неизлечимо больных был более чем обоснованным: разновидность безумия, овладевшая им, вряд ли понравилась бы Церкви в случае огласки. Но дело в том, что я

опустил важную особенность его речи, а именно непристойности. Почти каждую фразу Бастьен перемежал тремя бранными существительными («сука, член, задница», «гомик, пидор, онанист», «траханье, моча, дерьмо» и так далее), произнося их походя, кротко и без всякого смысла, как некоторые говорят «как бы» или «так сказать», — просто как риторические фиоритуры.

Слыша это, трудно было счесть Бастьена нормальным.

БАРД ОКАЗАЛСЯ НЕУЛОВИМЫМ. Раздобыть подлинные произведения Шекспира, до сих пор неизвестные жаждущей публике, представлялось невозможным. Теперь Пиш уже знал, что за зверя он преследует, и иронизировал над собственными легкомысленными заверениями, которые некогда давал сэру Персивалю. Он забрасывал сети повсюду в течение нескольких лет. Он переписывался с посредниками, книжными торговцами и собирателями по всему миру. Время от времени он чуял запах чего-то многообещающего, но лишь затем, чтобы его надежды разбились в очередной раз. «Находки» оказывались грубыми подделками, за которые хватались только самые невежественные из шекспироманов, позволяя себя дурить. Если же это были не подделки, то

они оказывались бесполезными.

Например, некий Амброзио де Агиляр, происходивший из португальских неохристиан[200], написал ему из Ресифи в Пернамбуку, Бразилия, предложив книгу пьес Аристофана: греческий подлинник «очистил и изменил, чтобы не оскорбить чувства святой Церкви» фра Даниело Донатедли, который и напечатал книгу в Лисабоне в 1563 году в единственном экземпляре — только для библиотеки своих предков, «упокой Господи их души». Де Агиляр, как видно, рассуждал так: пьесы, в конце концов, пьесы и есть, кто бы их ни написал. Кстати, то, что он предлагал, было несомненной редкостью.

Собственно, Пиш купил этого Аристофана в надежде пополнить собранную им небольшую коллекцию библиографических раритетов. Если его затея с Шекспиром потерпит неудачу, может быть, сэр Персиваль решит расстаться с «Агадой» из Дунахарасти ради других заманчивых поступлений в книжную коллекцию Бил-Холла. Но когда через несколько месяцев книга наконец прибыла, она больше не была книгой. Жара и влажность Ресифи вкупе с прожорливостью

---

[200] Примечания: 200
Неохристиане — крещеные евреи.

насекомых превратили книгу в мягкий спрессованный брикет. В ней не оказалось страниц, которые можно было переворачивать.

За это время Пиш стал до некоторой степени экспертом по Шекспиру. Сначала он посвящал час в день изучению его пьес и стихов. Но скоро часа оказалось мало, и он удвоил время, предназначенное для этих мирских занятий.

Затем стал добавлять еще несколько минут, которые ему удавалось оторвать от других своих обязанностей: молитвы и религиозные обряды, ученики и толкование Торы и Талмуда, обширная переписка и многие другие занятия и, конечно, возлюбленная Сара, прекрасная, цветущая и, как прежде, весьма дерзкая на супружеском ложе.

Пиш вдумчиво и обстоятельно изучал не только творчество Шекспира, но и его эпоху. Он познакомился с трудами доктора Джонсона и других достойных доверия авторов, писавших о жизни и творческих открытиях Шекспира. Он прочел все, что мог, из английской истории времен царствования Елизаветы I и Якова I. Читал других поэтов и драматургов этого золотого века: Сидни, Спенсера, Марло, Джонсона, Донна. Со временем Пиш стал записывать и собственные мысли о пьесах и стихах Барда, об их смысле, о психоло-

гических тонкостях, которые они раскрывают. Ему казалось, что гений с таким глубоким пониманием человеческой натуры и в то же время с таким очевидным сочувствием к ближним должен быть евреем, мог быть только евреем. И Пиш проводил, как он сам писал, «многие бесплодные часы», пытаясь отыскать в шекспировских произведениях подтверждение тому, что, как говорила «самая душа» его, должно быть истинным. Изучение творчества Барда и наслаждение радостью, излучаемой его произведениями, стало еще одним, тайным, призванием Пиша, — и сам Бард обеспечил его оправданием: «Не грех для человека следовать своему призванию»[201].

Что же касается усилий Пиша заполучить какое-нибудь неизвестное произведение шекспирианы, то его роковым образом преследовали неудачи. Прошли годы, его борода побелела, пухленькая Сара стала толстой и болтливой, но его поиски по-прежнему оставались тщетными — если, конечно, не считать наградой истинное наслаждение, эстетическое и интеллектуальное, которое дарило ему его «тайное призвание». Должно было пройти немало времени с той поры,

---

[201] Примечания: 201
«Генрих IV». Часть I. Перевод под ред. А. Смирнова.

как он оставил надежду, до того дня, когда впервые взял в руки «Любовные и другие сонеты». И это было, конечно, чудо. Если бы…

Если бы эта книга не являлась, как я полагаю, подделкой, фальсификацией, карикатурой, которую Пиш, отчаявшись возвратить евреям «Агаду» из Дунахарасти, сам произвел на свет. В конце концов, оба они, и Пиш и сэр Персиваль, были уже стариками. Один из них мог умереть, прежде чем будет выкуплена «Агада». Эта угроза должна была все больше и больше терзать Пиша. Не могу ничего утверждать, ведь я так и не видел «Любовные и другие сонеты» в Бил-Холле. Прошло слишком мало времени между тем моментом, когда Аристид обнаружил книгу в библиотеке, и тем, когда Мод продала ее Аристиду. Но мои подозрения, думаю, вполне обоснованны. Во-первых, я нашел среди пестрого собрания бумаг Пиша фрагмент пьесы, с пометкой, что она принадлежит перу Барда, однако написан он рукой Пиша, его легкоузнаваемым почерком на иврите.

Из

Печальной трагедии о принце Исаве, или Все это правда

Уильяма Шекспира

Сцена вторая. Исаак на смертном одре. Полдень.

Исаак

Кто ты, что медлишь на моем пороге?
Войди, откликнись, покажись.
Глаза мои теперь угасли, но прежде они горели ярко
И видел я, как ангел светлый
В тот страшный день явился в небе,
Чтоб властно руку отвести Авраама,
Отца родного моего, когда тот поднял нож,
Готовясь сердце поразить мое.
И громче говори, открой мне, кто ты.
Ведь глух я стал от старости.

Иаков

Да это я, твой сын.

Исаак

Который из двоих?

Иаков

Твой сын Исав с тобою говорит, о, дорогой отец,

Твой первенец. Послушный твоему приказу,

Принес я кушанье любимое твое. Его отведав,

Наберешься сил, что отняла безжалостная старость.

Зовет тебя на трапезу Твой сын Исав.

Исаак

Иди сюда и сядь подле меня.

Иаков

О, мой отец, благословенье не забудь, что обещал ты.

Исаак

В свой срок получишь. Но скажи, Исав,

Как ты сумел так скоро желание мое исполнить?

Иаков

В сегодняшней охоте Господь мне даровал удачу.

На след я вышел быстро и, зверя чистого добыв,

Вернуться поспешил, чтоб приготовить

Любимый острый твой гуляш.

Исаак

Дай Бог, чтоб все так было. Но я страшусь чего-то.

Сядь ближе, чтоб мог, тебя ощупав,

Узнать, мой сын ты или нет.

Иаков приближается к нему.

Этот нежный голос — точно голос Иакова.

Но руки волосатые — Исава.

Подобен я волне: застыв в сомненьи, не знаю,

Двигаться мне к берегу иль отступить.

Но попытаюсь снова. Так подойди по-

ближе

И поцелуй меня, чтоб мог, понюхав я одежду,

Узнать, ты ль мой Исав.

Иаков

Да, это точно я.

Он целует Исаака.

Исаак

Отпали все сомненья, ты пахнешь, как Исав.

Я глух, и слеп, и смерти час уж близок,

Но обонянье мне помогает видеть.

Возможно, Пиш начал писать «пьесу Шекспира» на ветхозаветный сюжет в безрассудной попытке продемонстрировать еврейство своего нового героя; отказался же он от этой затеи, возможно, потому что почувствовал: ему не справиться с задачей. Как бы там ни было, но вскоре он попробовал силы в елизаветинском сонете и нашел себя в жанре короткого лирического стихотворения. Несколько сонетов, сохранившихся в его бумагах, собраны под общим названием «К Сирине», имя, под которым, как я предполагаю,

была поэтически воспета Сара. Один пример может раскрыть меру его дарования (или, если угодно, отсутствие такового):

Бывает, от любви моей терплю насмешек град,
То ножкой топнет на меня, а то нахмурит бровь,
Она впадает в бурный гнев — меня терзает ад,
От поцелуя же ее во мне вскипает кровь.

Но что бы милая моя со мною ни творила,
У женщин, видимо, в лице скрыт мужества исток —
Ведь от красы ее растет моя мужская сила
И от иных укромных мест, что я изведать мог.

Бросает этот парадокс свой вызов здравому уму
И философии, которой не надо этих пустяков.

В душистом гнездышке ее на самом деле я живу

И умираю, а потом я здесь же воскресаю вновь.

Так я живу с одной надеждой — умереть

И, смерть приняв, в любовном пламени гореть.

К этому соображению я могу добавить еще одно замечание, которое делает Пиш совсем в другом контексте в своей «Застольной беседе». Он говорит об английских фамилиях, которые часто казались ему забавными, и предлагает в качестве примера — одного из многих — некоего Гвидо Хонибоуна, печатника, хорошо ему известного, который владел типографией в Бристоле. Хонибоуны были печатниками во многих поколениях.

— Итак, Хонибоун, что это может означать? Несложно ответить — милая женушка!

Однако Пиш на этом не остановился, рассказав, что современный владелец этой фамилии сделал как-то замечательное открытие. Однажды Гвидо Хонибоун, по каким-то своим соображениям, решил пробить стену в домашнем подвале и в углублении за ним, размером шесть на шесть

футов, обнаружил спрятанную печатную машину, а также шрифты и некоторое количество отпечатанных книжных листов, «все отлично сохранилось, все относится к царствованию доброй королевы Бесс[202]». Возможно, Хонибоун, живший во времена Елизаветы I, был протестантским сектантом и оказался вовлечен в конфликты эпохи, полагая, что епископ Джуэл и остальные проявляют недостаточно энтузиазма в очищении англиканской Церкви от примеси католицизма. Может быть, он постарался спастись от властей, заложив кирпичом свою печатную машину.

С этим связана моя последняя улика — непонятный и ничем иным не объяснимый пункт в хозяйственных счетах Пиша: «Г. Хонибоуну, Бристоль, 51 фунт, 10 шиллингов, 0 пенсов». Это была немалая сумма в те времена. Что такого сделал Хонибоун, чтобы заслужить ее?

Я уверен, все эти нити ведут к несложному выводу: Пиш был единственным сочинителем книги «Любовные и другие сонеты». А если так, то книга все же имеет ценность. Это уникальный образец подделки восемнадцатого века. Причем

---

[202] Примечания: 202
Бесс — уменьшительное от Елизаветы.

подделка, совершенная Баал Шемом из Ладлоу, и никем иным. Это книга стихов, которые могут иметь собственные достоинства. Это прекрасный пример пред-романтического культа Шекспира. И так далее. Однако это совсем не такая сильная карта, как полагает Тумбли.

Стоит ли мне громко заявить о своем открытии, прежде чем этот мерзавец снова отправится к Аристиду в Кресты? Но поступить так — значит признаться, что мне известна псевдошекспировская книга, принадлежавшая Бил-Холлу. И может оказаться впутанной Мод. Она, конечно, все скажет, чтобы выгородить меня, но боюсь даже думать, с какими для себя последствиями. Таким образом, я оказался перед невыносимым выбором, так сказать, перед конфликтом интересов. Аристид или Мод? Аристид попал в логово хищников. Он в большой беде. Однако Мод — это Мод. Следовательно, выход один: я должен принести в жертву Аристида из уважения к женщине, с которой сплю уже полвека.

Но, может, мою совесть мучает надуманный конфликт? Отвлеки я изверга Тумбли от его теперешней жертвы и предложи взамен себя, чем почти наверняка подставил бы Мод, сильно бы это помогло Аристиду? Будь какая-то возмож-

ность, я бы и так ему помог. Его, как Лаокоона, душат чудовищные политические змеи, чьи интриги не имеют к нему ровным счетом никакого отношения. Его освобождение если таковое случится — будет результатом торга между различными силами, как национальными, так и интернациональными. Так что моя «исповедь» Тумбли оказалась бы совершенно напрасной.

НУ ВОТ, ЭТА ЖЕНЩИНА, кажется, больше не желает спать со мной. За два дня до того, как я собирался забрать Мод от Святых и привезти домой в моем все еще новеньком и замечательно удобном «ровере», мне позвонила Энджи Маклетвист и сказала, что мисс Мориарти решила «на некоторое время» переехать к ней. Собственно, она уже там.

— За каким чертом?

— Она все еще нуждается в уходе, отец. Ей требуются женские руки… Нужно ли мне еще объяснять?

— Конечно нет! Я найму частную сиделку на двадцать четыре часа в сутки и на столько дней, на сколько потребуется. Я обеспечу ее всем необходимым. Бил-Холл обеспечит, я имею в виду. Мисс Мориарти — наш ценный сотрудник. — Я услышал, как Энджи глубоко вздохнула, и по-

спешно сменил тон: — Это так любезно с вашей стороны, так любезно. Но ведь вам нужно заниматься вашим салоном, благослови вас Бог. Все это потребует от вас слишком много сил. Но одной своей готовностью помочь, могу вас заверить, вы уже обеспечиваете себе место на небесах. Я сейчас заеду и заберу ее, договорились?

— Окружная больница Ладлоу в двух шагах от моего дома, там есть психотерапевты, много врачей-специалистов, «скорая помощь», обученные сестры, они будут менять повязку на ее ноге — на суставе, я имею в виду. Что может быть удобнее, отец?

— Но…

— Не стоит спорить. Уверяю вас, мне это только доставит радость. Мы ведь всегда любили поболтать, мисс Мориарти и я. Как вспомню лестницы в Холле! Элфи, мой племянник, перевез ко мне складную кровать, на которой спит его теща, когда удостаивает их визитом в Пул[203], очень удобно — я имею в виду кровать. Он поставил ее в гостиной, перенес из кухни телевизор, так что у Мод будут все удобства. За ней будет хороший уход, не волнуйтесь.

---

[203] Примечания: 203
Пул — город в Англии.

— Мне бы хотелось поговорить с мисс Мориарти, будьте так любезны, передайте ей трубку.

— Ах, она, бедняжка, только что легла отдохнуть, отец. Небольшой стресс, волнение, поездка в машине «скорой помощи» и все такое.

— И все же я хотел бы услышать мисс Мориарти, если вы не возражаете.

— Попробуйте завтра. Она немного восстановит силы. — И эта ужасная женщина положила трубку.

Ладно, чем снова звонить, отправлюсь-ка я лучше завтра повидаться с Мод, вооружившись большим букетом цветов для выздоравливающей и маленькой жестянкой шоколадного лакричного ассорти для Энджи Маклетвист. Энджи живет в Матэс-Лейн, рукой подать не только от окружной больницы Ладлоу, но также — и, это гораздо важнее, — от католической церкви Святого Креста. Матэс-Лейн — темный переулок с двумя рядами стандартных домов, оштукатуренных каменной крошкой, выстроенных сразу после войны на месте жалких лачуг. На ближайшей платной стоянке автомат был на последнем издыхании, поэтому я вынужден был припарковаться двумя улицами дальше. Дождь начался, когда я выехал из Бил-Холла, мелкий пронизывающий дождь,

больше похожий на изморось, и я быстро промок, не сообразив прихватить зонт. Я шлепал по лужам в кедах, и несчастные натертые шишки причиняли мне адскую боль.

У дверей Энджи под навесом от дождя был устроен источник со святой водой и изображением Святого Сердца, гипсовая луковица, выкрашенная в красный цвет. Мое собственное, человеческое, сердце сжималось от страха, в ожидании трудного сражения.

И все-таки я позвонил в дверь. Открыл священник с усохшим лицом, сморщенным, как печеное яблоко, ростом с заморыша-второклассника.

— Вы, должно быть, отец Мюзик, — сказал он. — Входите, вы совсем промокли. — Рукопожатием, неожиданно сильным, он перетянул меня через порог. — Я отец Фипс, Филип Фипс, к вашим услугам. По прозвищу «Старый Пип-Пип», как меня называют непослушные мальчики и девочки из хора при церкви Святого Креста, храни их Бог. — Он улыбнулся, от улыбки глаза его скрылись в лучиках морщин и на желтых зубах появились пузырьки слюны.

— Я зашел навестить мисс Мориарти.

— Конечно. Как и я. Позвольте мне ваш макинтош. Я повешу его там, на крючок.

Это было целое дело — снять мой макинтош. Мы стояли в крошечной прихожей, где двоим никак не разойтись. Передо мной была лестница на второй этаж, позади нее — короткий тусклый коридор, ведущий, как я полагал, на кухню. Я положил цветы и банку конфет на ступеньку лестницы и позволил коротышке помочь мне раздеться. На полочке под зеркалом в крашеной раме была выставлена пластмассовая статуэтка Девы Марии, основание украшала надпись: «Сувенир из Лурда». Рядом висели разрисованная яркими красками тарелка с изображением мучений Св. Себастьяна и отретушированная фотография Пия XII с тонкой улыбкой на губах. К стене напротив была прикреплена маленькая латунная голова оленя, величиной с кулак, из нее росло несколько крючков, за один из которых Пип-Пип, стоя на цыпочках, как раз и цеплял мой макинтош.

— Это, надеюсь, гостиная? — сказал я, направляясь к двери.

Он остановил меня.

— Мы не можем сейчас войти туда. Мой собственный визит был внезапно прерван. — Он взглянул на свои часы. — Я должен буду уйти через минуту-другую. Нет конца Христовой работе,

которую нужно делать. — Он встал на цыпочки, приложил руку ко рту и зашептал мне в ухо: — Сейчас с ней сестра из окружной больницы. Перевязывает рану Она не хочет заживать. Доктора озадачены. Это что-то вроде стигмата. Попомните мои слова, это гораздо больше присуще нашей Церкви, чем их.

Он нелепо подмигнул, на его желтых зубах снова запузырились слюни. В его дыхании был намек на причастие и полузабытый запах машинного масла, которым в давние времена я смазывал мой велосипед.

Мы стояли в неприятной близости друг к другу, он выжидательно уставился на меня. И тут я испытал непреодолимое искушение похлопать его по голове.

— Странно, что мы никогда не встречались, — сказал он. — Я не раз приезжал в Холл. Но вы, кажется, истинный затворник, погруженный в богословские вопросы. Однако я слушал вас однажды на лекции у кардинала Ньюмена. Вы представляли этого американского парня, отца Тримбли, правильно? Или Трембли? Что-то вроде того. Это было очень, очень давно. Помнится, он говорил о Г.-К. Честертоне. Нет, прости меня, Господи, я соврал. Его лекция была о Хилэре Беллоке,

да, сейчас я вспомнил. Она называлась «Беллок, непризнанный апостол терпимости». Очень интересно, очень.

— Я никогда не посещаю лекций.

— Я часто видел вас и в других местах. Но, приезжая в Холл, имел дело с другим французом, этим вашим «заместителем командующего», отцом Бастьеном. Славный малый, соль земли. Но, между нами, — тут он покрутил указательным пальцем у виска, — не думаю, чтобы его духовное рвение достигало верхнего этажа.

— Отец Бастьен две недели назад ушел на покой. Проблем стало многовато для такого мягкого человека, как он. Вернулся во Францию, живет спокойно на маленькой ферме своей сестры и безмятежно пьет вино из собственного винного погреба.

— Значит, в Холле открылась вакансия? — взволновался он. — Тогда могу ли я просить вас подумать обо мне? Я — рабочая лошадка.

— Сейчас, отец, у нас все смешалось: отец Бастьен уехал, а мисс Мориарти еще болеет. Но их отсутствие помогает мне сосредоточиться. Я обдумал несколько идей организационного порядка — нужно ведь ввести Бил-Холл в новое тысячелетие, пусть и с опозданием. Но я буду иметь вас в

виду, не беспокойтесь. Вы ведь в Святом Кресте, не так ли?

— Увы, грешен… — Пип-Пип хихикнул, брызнув слюной. — Старая шутка, — объяснил он. — Что бы с нами было без капли юмора, не правда ли?

— В Евангелии часто упоминаются слезы Иисуса, но нигде не говорится, что Спаситель смеялся, — ответил я сурово.

Он изумленно посмотрел на меня.

Тут-то я и *похлопал* его по голове.

— Так-то вот, — улыбнулся я. — Всего лишь еще одна старая шутка.

— А, — вздохнул он с облегчением. — Шутка хороша, хотя сразу и не поймешь. Совершенно верно. Он никогда *не смеялся*.

— Ни разу. «Печаль лучше смеха», — гласит Екклесиаст. Скажите, кто сейчас главный в Святом Кресте? Не отец Мэнин?

— Помилуй господи, нет! Он был еще до меня. Я думаю, он уже умер, упокой Господи его душу. После него пришел отец Мак-Брайен, и случился этот постыдный скандал в ризнице, да простят его Небеса. Ныне наш священник, молодой отец Пинфоулд, приехал из Лондона, из прихода в Ист-Энде, и он прав в своей «крутости», если использовать одно из его собственных ультрасо-

временных словечек. Хочет, чтобы все называли его Кевин или, еще лучше, Кев. Трудновато для некоторых благочестивых старых дам, которые вытирают пыль, полируют мебель и расставляют цветы в храме, очень даже непросто. Ему больше нравятся джинсы и футболка, чем духовное облачение. — Пип-Пип внимательно посмотрел на меня, проверяя реакцию. Я только кивнул, что ничего ему не объяснило. — Почему бы и нет? Даже апостолы, осмелюсь сказать, нечасто бывали у церковных портных, не так ли? Попомните мои слова, он еще натворит чудес, наш Кев. Я всегда занимался социальными услугами — тихая, знаете ли, заводь до сих пор. У правительства — программы, деньги, служащие. А что я могу один? Только навещать тех, кто прикован к дому, старых и больных. Предлагать веру тем, кто уже ее имеет. Но Кев вытолкнул меня на середину реки, где быстрое течение и полно подводных камней. Теперь тружусь в консультации для злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Мало того, я еще и «профилактик». Мне нельзя сидеть сложа руки, ожидая, пока они сами придут. Я иду к ним. Собственно, поэтому я здесь. Мне сказали, что у мисс Мориарти с этим крошечная проблема.

— Чепуха! — сказал я. — Мисс Мориарти может

иногда выпить капельку, только чтобы расслабиться, как вы и я.

Он хитро взглянул на меня:

— Стало быть, вы в курсе проблемы?

Маленький ублюдок!

— Кто наговорил вам эту чушь?

— Мисс Маклетвист беспокоилась о своей подруге, благослови ее Господь, и рассказала Кеву. Кев рассказал мне. И вот я здесь. — Он снова посмотрел на часы. — Через пять минут у меня семинар в Святом Кресте — главным образом, тинейджеры, они разбегутся, если я опоздаю. Пожалуйста, передайте мои извинения мисс Мориарти и скажите, что вернусь, как только смогу. — Он поймал мою руку и бодро потряс ее. — Счастлив был наконец познакомиться с вами, отец Мюзик. Пожалуйста, не забудьте о моем интересе к Бил-Холлу. Ну да, вы пообещали. Этого для меня довольно. — Он осторожно обошел меня в тесной прихожей, открыл дверь и — пуф! — исчез.

Я постоял пару минут в сомнении, не лучше ли мне прийти в другой раз, но тут дверь гостиной открылась и на пороге появилась медсестра — при всех регалиях сестер милосердия времен мировой войны, — энергично прокричав через

плечо:

— Зайду снова через три дня, в это же время. Теперь запомните, делайте ваши упражнения, делайте, как девочка-скаут, чтобы не превратиться в трясущееся желе. Да благословит вас Господь. — Она повернулась и увидела меня, загородившего ей дорогу. — Где тот маленький священник, который хотел поговорить с моей пациенткой?

— Он ушел. Я отец Мюзик, вместо него.

— Проследите, чтобы она немного походила по комнате. И если захочет выпить чашечку чая, позвольте ей самой сделать это. Ей нужно двигаться. А вы принесите ей поднос. На время ей нужна будет палка. Запомните, отец?

Оба мы были корпулентными особами. Мне пришлось выйти из дома, чтобы она могла пройти мимо меня, не нарушая приличий.

Мой визит утратил эффект неожиданности.

Мод слышала, как я разговаривал с медсестрой.

— Эдмон, это ты?

— Собственной персоной, дорогая. — Я прихватил подношения с лестницы и вошел в комнату. — Немного цветов, чтобы взбодрить тебя, Мод, и чуточку конфет для Энджи — или для тебя, если

захочешь. Нет, пожалуйста, не вставай.

Мод довольно сильно похудела с тех пор, как я последний раз видел ее, и была почти стройной. Новый длинный, до полу, купальный халат она аккуратно завязала поясом на талии. Ее поредевшие волосы были собраны и перехвачены сзади бархатной лентой. Я легко узнавал черты молодой Мод. Она снова села в кресло, которое, очевидно, специально для нее поставили у окна, чтобы она могла созерцать гуляющую публику в переулке Матэс-Лейн.

— Ты выглядишь совершенно потрясающе, — сказал я.

Она смотрела в темноту на моросящий дождь за оконными стеклами.

— Тебе не следовало приходить, Эдмон.

— Поставить цветы в вазу?

— Делай что хочешь, — ответила она раздраженно. — Положи в раковину на кухне. Энджи позаботится о них. — Когда я повернулся, она добавила: — Энджи, кстати, не любит лакричные конфеты — и я тоже, если ты, конечно, помнишь.

На кухне я бросил цветы и конфеты в мусорное ведро.

Некоторое время мы сидели молча — атмосфе-

ра была далеко не дружеской. Мод по-прежнему смотрела в окно, а я, сидя в кресле, покрытом темно-лиловой обивкой (под пару с канапе), оглядывал гостиную, маленькую, примерно футов десять на десять, и довольно аляповато обставленную. Стены и потолок были окрашены в кремовый цвет масляной краской. Створчатые двери с матовыми стеклами напротив окна вели, скорее всего, в столовую. В каждом углу стояло по резному стулу, обитому тисненым розовым бархатом. Напротив меня был маленький камин со встроенной электропечью. На каминной полке среди расставленных по ранжиру стеклянных фигурок животных посредине стояла самая большая — поднявшаяся на дыбы лошадь. Над полкой висело обшитое панелями зеркало, формой похожее на раскрытый веер. Позади меня стоял отполированный до зеркального блеска застекленный шкафчик с выдвижными ящиками. На нем на трех салфеточках разного размера расположились лампа на стеклянной ножке с крошечным бахромчатым абажуром, пустой графин розового стекла и фотография в рамке, на которой была изображена монахиня, благословляющая группу страшненьких девочек в гимназических передниках, некоторые из них держали клюшки

для игры в хоккей на траве. На той же стене, отражаясь в зеркале, висела заключенная в раму репродукция картины Версаче «Христос изгоняет менял из храма». Складной кровати и телевизора, которые племянник Элфи вроде бы уже перенес в гостиную, не было и следа.

Я так подробно описал эту жалкую комнату, чтобы вы ясно поняли, какая огромная пропасть, разделяет ее и тот восхитительный мир, в котором Мод провела большую часть своей жизни. Не говоря уже о великолепных залах и галереях Бил-Холла с их изумительной обстановкой, где произведения искусства встречают посетителя за каждым поворотом, — ведь даже комната, которую Мод называет своим «офисом», прежняя кладовка дворецкого, — верх изящества в сравнении с этой убогостью: просторная, обшитая деревянными панелями и уютно обставленная, с видом из окон на меньший из розовых садов. Что уж говорить о спальне, которую мы делили столько лет, комнате миссис Карикл, названной в честь шекспировской актрисы, любовницы Георга IV. И даже кухня, где отключилась Мод, упав на пол, привлекательнее этой гостиной. Мне было больно видеть Мод здесь.

Я украдкой взглянул на лицо Мод в профиль.

Она хмурила брови и покусывала губы, пальцы отстукивали барабанную дробь по ручке кресла, она была поглощена каким-то безмолвным спором с самой собой — а может быть, со мной. Само мое физическое присутствие, несомненно, мешало ей.

— Поедем со мной домой, Мод, — попросил я.

— Где отец Фипс? — Она говорила с ожесточением, как будто я скрывал от нее Пип-Пипа, и не повернула головы, чтобы взглянуть на меня.

— Он просил извиниться — ему пришлось уйти, но обещал вернуться, как только сможет. — Я старался говорить веселым тоном, надеясь изменить ее настроение. — Забавный коротышка, очень славный. И набожный, это точно. Но из-за того, что у него нет бороды, он напоминает мне одного из садовых гномов дорогого старины У.К. И все же, Мод, тебе нечего делать в Святом Кресте. Ты не сможешь привыкнуть к тому, что они тебе предложат. Да и вообще, из всего, что я слышу, облик Ватикана-II все больше напоминает позднее средневековье. Все самое отталкивающее в современной поп-музыке — хэви метал, регги, рэп, — бесстыдно эксплуатирует образ Спасителя. Следующим гвоздем программы на ранней воскресной мессе в Святом Кресте будет новая

группа из Лондона «Рука Понтия Пилата, забивающая гвозди».

Согласен, — чтобы разрядить обстановку, я позволил себе несколько исказить истину, но я всего лишь воспользовался намеками Пип-Пипа. Что ж, я и в самом деле был не очень честен и преуспел только в одном — навредил самому себе.

— «Босс», как его называют некоторые прихожане, хочет, чтобы его звали Кев. Не сомневаюсь, сам он именует Иисуса не иначе как «Джош». Ведь современный мир высокотехнологичен, и Церковь, если не хочет отстать, должна ориентироваться на пользователя. Но, Мод, тебе не нужны Кев или Пип-Пип, у тебя есть я.

— Ты! — Она горько рассмеялась. — Ты осложнение болезни, а не лекарство от нее.

— Энджи сказала, что она поставила для тебя в гостиной кровать и телевизор.

— Ах, Эдмон, ты в своем репертуаре. Смени тему. И никогда больше не заводи разговор о подобных вещах.

Она повернулась ко мне, по ее лицу текли слезы.

— Когда ты вернешься в Холл, дорогая? Когда ты вернешься ко *мне*?

— Я алкоголичка. И ты это знаешь, хотя из-за

пагубной страсти к соблюдению приличий ты никогда не помогал мне взглянуть фактам в лицо. Хотя возможно, что ты всего лишь эгоистически оберегал свою спокойную жизнь. Ты большой любитель уходить от проблем, ты и мне позволял так жить. «Избегать проблем — это девять десятых счастья», — говорил ты не раз. Я привыкла думать, что ты шутишь, упражняешься в остроумии и все такое. Штука в том, что теперь я выздоравливающая алкоголичка по крайней мере надеюсь на это. Отец Фипс добивался успеха с такими, как я. Энджи связалась с ним. Он устраивает в Святом Кресте то, что сам называет «семинаром».

— Кто сейчас живет без проблем? Но почему Фипс не может навещать тебя в Холле? Или, если тебе нужно посещать семинар, если это часть терапии, почему я не могу возить тебя для этого в Ладлоу?

— Господь милостивый, ты такой умник, а иногда бываешь ужасно тупым! Ведь это наше сожительство погубило меня. Что может быть хуже для женщины, чем раздвигать ноги для священника? С тех пор, как мы познакомились, моя совесть каждый день подбрасывала мне несколько крупиц вины. Как ты думаешь, почему

я заливала себя джином? Вот только он не может смыть вину. Я прячу голову в песок, Эдмон, это душит меня.

— Но мы не занимались этим многие годы. Я даже не уверен, что мог бы теперь. И потом, нам мешало твое бедро. Никакой твоей вины нет, совсем никакой. Слушай, я переберусь в другую комнату. Или, если хочешь, мы перенесем кровать в твой офис. Почему бы и нет? Тогда ты сможешь избегать лестниц и заодно защищаться от моего подлого животного вожделения.

— Я не собиралась избегать лестниц. Вот почему Элфи забрал свою складную кровать. Мистер Спрот-Уимис совершенно уверен насчет этого. Мне следует привыкать к тому, что упражнение, которое я делаю, должно быть чуть труднее, чем мне бы хотелось. Я ночую наверху, во второй спальне.

— Другое достаточное основание, чтобы вернуться в Холл. У нас лестницы повсюду.

— Ты что, не слышал? Ты никогда не слушаешь меня, Эдмон. И тебе нечего мне сказать. Я не вернусь в Холл, ни в коем случае. Постарайся понять. Я покончила со всем этим. И покончила с тобой.

И тут она зарыдала. Но когда я поднялся, чтобы подойти и утешить ее, она отшатнулась от меня

и отмахнулась, словно мое прикосновение могло осквернить ее. Я ждал, пока стихнут всхлипывания.

— Принести тебе что-нибудь, стакан воды, чашку чая?

Она сделала нетерпеливый жест. Она ничего не хотела от меня.

— Как насчет твоей работы в Холле? А твои вещи?

— Я уволилась. Как директор считай, что я поставила тебя в известность по всей форме. Пусть кто-нибудь упакует мои вещи. Элфи заедет за ними.

Эти слова были явно отрепетированы заранее.

— Но почему все так неожиданно?

— Ничего неожиданного, это копилось долгие годы. Но ты не обращал внимания или не видел во мне ничего, кроме продолжения самого себя, существа, которое всегда под рукой. Но сейчас все изменилось, я дала священный обет, торжественный обет Марии, Божьей Матери. Я поклялась, что если благополучно перенесу операцию, то исправлюсь, брошу пьянство и постараюсь вести жизнь, более угодную Господу.

— Ты заключила сделку с Небесами? — саркастически заметил я.

— Ничего похожего, бессовестный ты человек, глумящийся над всем, что есть святого. Когда я вспоминаю, как, бывало, восхищалась тобой, жадно ловя каждое твое богохульное слово, меня тошнит! Я не просила дать мне еще пожить. Я нажилась вдоволь. Просто я поклялась, что все оставшиеся дни буду стараться искупить стыд. Стану просить прощения.

Я обвел рукой комнату, где мы сидели.

— Обосновавшись вот здесь, ты будешь просить прощения? Если тебе нужна власяница, ты нашла удачное место.

— Чем оно тебе не нравится, ты, болтливый сноб? Infra dig[204], да? Хорошо, осмелюсь заметить, что тому, кто появился на свет в таких великолепных апартаментах, какие были у тебя, в тех шикарных покоях над магазином в фешенебельном районе Марэ, где милорд спал в роскоши рядом с возлюбленной герцогиней, его матерью, — это место и вправду должно казаться жалким. Но здесь, и особенно в этой комнате, я вспомнила о доме, где выросла, только Энджи лучшая хозяйка, чем была моя бедная мать, которая вела праведную жизнь, упокой Господи ее

---

[204] Примечания: 204
Ниже достоинства (лат.).

душу. Я останусь здесь, если Энджи будет терпеть меня, по крайней мере, до тех пор, пока не заживет мой волдырь.

— Ах да, твой таинственный послеоперационный волдырь, — перешел я в яростную атаку. — Отец Пип-Пип верит, что он может быть чудотворным, к примеру, стигматом, признаком святости. Но Пип-Пип, наивный простак, не знает места его точной дислокации, а ведь твой волдырь устроился в глубине внутренней стороны бедра, просто в паре дюймов от святая святых, и Пип-Пип не знает, что он нисколько не похож ни на одну из ран Христа, а скорее напоминает презерватив, облекающий его разбухший член.

Мои душевные муки завели меня, конечно, слишком далеко. Я знал это уже в тот момент, когда произносил эти чудовищные слова. Как могло случиться, что я был так груб, так безжалостен?

В продолжение всей моей тирады ее лицо сохраняло выражение крайнего отвращения, как будто перед ней стоял сам дьявол. Она сощурила глаза и выставила вперед обе руки, ладонями ко мне, точно собираясь оттолкнуть меня.

— Уйди!

Она почти подавилась этим словом.

— Мод, мне так жаль, я не хотел…

— Уйди! — пронзительно крикнула она.

— Прости меня, Мод, я…

— Уйди, — прошептала она, — пожалуйста, уйди.

Конечно, я ушел. И уходя, слышал, как она, бедная запутавшаяся душа, начала, спотыкаясь, продираться через покаянную молитву.

— О мой Боже… Я очень виновата в том, что оскорбила Тебя… и я ненавижу все мои грехи… потому что… я страшусь потери Небес… и мучений ада, но больше всего потому что… они оскорбляют Тебя, мой Боже…

«БЕДЫ, КОГДА ИДУТ, идут не в одиночку, а толпами»[205]. Пиш выбрал эти слова, поставив их эпиграфом к своей (неопубликованной) работе «Конфликт между верой и разумом разрешен». Это, разумеется, слова дяди Гамлета, братоубийцы, но, как где-то в другом месте заметил сам Пиш, «Бард, этот великий законодатель иронии, самые глубокие свои мысли часто доверяет злодеям и шутам».

Я не получал никаких известий от Тумбли с тех пор, как он сказал мне, что собирается вернуться в Кресты только дав возможность несчастно-

---

[205] Примечания: 205
«Гамлет». Перевод М. Лозинского.

му Аристиду еще немного «попарится» в своем ужасе. Тумбли говорил с полной уверенностью в успехе, поэтому то, что он перестал звонить, стало тревожить меня. Выдержав неделю молчания, я позвонил в Петербург в гостиницу «Русь», чтобы услышать в ответ: «святой отец» как-то внезапно покинул нас несколько дней назад. Тогда я позвонил в гостиницу «Астория». Тамошний портье постарался придать голосу тональность, соответствующую печальному известию. Господин Габриэль Попеску уехал этим утром. Он отправился на корабле в весьма скорбное путешествие, сопровождая тело своего дорогого отца в родную Францию. Но что случилось? Увы, он не имеет права сказать.

После этого я позвонил мадам Попеску-младшей. Она вне себя от горя! Ах, какое несчастье! Ах, какой жестокий удар! Она будет молиться за его душу, она надеется, что я тоже буду молиться, молитва священника в подобных обстоятельствах, наверное, более действенна.

— Но в чем дело? Что произошло, мадам?

— Самоубийство. Ах, какой ужас, какое это страдание — знать, что он претерпел самые невообразимые муки ада!

— Как это могло быть?

— Классический случай, отец, вам это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было: отчаяние. Он был старый человек, привыкший жить, ни в чем не нуждаясь, его деловая хватка приносила ему неплохие доходы. И какое унижение он претерпел, попав в камеру ужасной русской тюрьмы! Из-за этого он, должно быть, совсем повредился в уме, бедняга.

Аристиду, оказывается, удалось поставить вертикально свою железную койку и опереть ее о стену камеры. Потом, видимо, черпая силы в отчаянии, этот истощенный старик сумел влезть по койке наверх, где он на минуту остановился, балансируя на краю (для верности засунув руки в карманы брюк), и бросился вниз головой на каменный пол. Высота, с которой он падал, была небольшой, но этого оказалось достаточно.

— Ирония в том, что здесь, в Париже, уже были задействованы могущественные силы. В защиту моего свекра готов был выступить президент. В тот самый день Гейби попросил американского священника, этого ужасного человека, передать в тюрьму обнадеживающие новости. Мой муж сам пойти не мог, он участвовал в бесконечных телефонных переговорах с французскими властями. Казалось бы, такие новости, да еще и переданные

священником — любым священником, даже американским, — должны были успокоить мятущийся дух *papa*. Они, конечно, помолились вместе, он и священник. Но месяцы тюремного заключения, должно быть, совсем свели *papa* с ума. Не прошло и часа после ухода посетителя, как он умер. — Пару мгновений мадам Попеску рыдала в телефон, потом высморкалась. — А теперь, отец, он вечность будет крутиться на вертеле в аду!

— Успокойтесь, дитя мое. Если он был безумен, как вы говорите, — а кто усомнится в этом? — он не несет ответственности за свой поступок ни в нашем мире, ни в лучшем из миров.

— О, это правда, отец?

— Даю вам слово. Мы будем молиться о его душе, прося Небеса о прощении. И когда исполнится время и срок, он будет петь вместе с ангелами.

— Бедный Гейби пропадет без своего отца. Он обожал его.

— Гейби обретет силы в вас.

— Ах!

— И в своей вере.

— Да, отец.

— А как чувствует себя вдова? Надеюсь, стойко держится?

Бойкость в подобных обстоятельствах, которой

я научился за время службы младшим священником в Кенсингтонском приходе, как видно, не забылась. Обычно, утешая человека в тяжелой утрате, ему внушают, что дорогой человек ушел в гораздо лучший мир, и намекают, что желать иного — это своего рода эгоизм. Священник держится в стороне от обычного человеческого страдания, даже от искреннего сочувствия, ибо, по определению, наделен способностью более масштабно видеть события. Шаблонные фразы произносятся внушительно и непререкаемо, хотя это всего лишь способ уйти от истинного сочувствия.

— Вдова? Ах да, вдова. — Мадам Попеску горько засмеялась. — Держится очень хорошо, я думаю. Она в Буэнос-Айресе, со своими друзьями-миллиардерами. Не вернулась, даже когда узнала, что ее муж томится в русской тюрьме. Не вернется и на похороны. «В следующем месяце, когда здесь закончится сезон, я, как и планировала, вернусь в Париж, и тогда будет довольно времени, чтобы его оплакивать. Какая теперь разница Аристиду?» У моей очаровательной свекрови ледяное сердце и совсем нет души.

— Не судите, — механически сказал я. — Предоставьте ее Небесам. — Но какая же сука!

Хотя и в самом деле — какая теперь разница Аристиду? Тут она права, эта сука. Его история похожа на средневековую погребальную песнь о переменчивости счастья и неотвратимости смерти. Он фигура в danse macabre[206]. Как и все мы. Какое сейчас имеет значение то, что он сделал такую успешную карьеру в этом мире или что не всегда ставил точки над i? И что мы по-настоящему знаем о мадам Попеску-старшей или об их с Аристидом браке, об их чувствах, компромиссах, изменах? Нам неизвестно, остыла ли сначала их страсть, а потом уже возникли холод и сквозняки в их доме, или все было наоборот. Мы только знаем, что он решил умереть. Причина, возможно, в том, что Аристид умел подчинять своей воле других людей, и когда русские отказали ему в выездной визе, он, можно сказать, сам себе выдал ее. Я вижу, как он подмигивает мне и улыбается своей циничной улыбкой.

Думать, что Аристид сам выбрал, когда ему умереть, — это нечто вроде утешения, которым кормят убитых горем родных, оно такое же пустое, как и та бесконечная пустота, в которую проваливаются все умершие, однообразная и

---

[206] Примечания: 206
Пляска смерти (фр.).

абсолютная чернота, полное отсутствие чувств и мыслей, полное уничтожение, состояние, еще более ужасное, чем средневековые представления об аде, где непереносимое страдание содержит в себе по крайней мере некое чувство. «Божественная комедия» Данте — это показной оптимизм, маскирующий страх перед вечным небытием, не имеющим ни имени, ни адреса.

Насколько свободен выбор любого самоубийцы? Какие физические страдания предшествуют такому решению? Какие психологические демоны терзают человека? Мечтает ли он о блаженстве или о героическом самопожертвовании? Какие иллюзии питает о мученичестве и о загробной жизни? Какое испытывает одиночество, какой страх, какое отчаяние? И не нашептывает ли кто-то ему на ухо? Тумбли вернулся в Кресты, чтобы надавить на человека, уже доведенного до крайности. Ничуть не сомневаюсь, что он ничего не сказал Аристиду об обнадеживающих новостях, которые Габриэль Попеску просил его передать отцу. Тумбли наверняка сделал то, что и собирался сделать. Он предложил Аристиду, не имея никаких на то полномочий, защиту Ватикана, если тот согласится на ультиматум, и угрожал самыми тяжкими последствиями, которые в слу-

чае отказа ждут его, неблагодарного. Вероятно, он дал доведенному до отчаяния Аристиду время до следующего утра, чтобы тот принял решение; скорее всего, прочел ханжескую молитву над съежившимся беднягой, убеждая его «заглянуть в свою душу».

Вполне может быть, что Аристид из романтически понятого чувства чести, из старомодной галантности отказался предать Мод, которую помнил юной красавицей и которую склонил к продаже ему ценной книги, чего она не имела права делать, и к подделыванию подписи, толкнув Мод на преступление. Могло случиться и так, что он отказал Тумбли из добрых чувств ко мне, старому другу, а может, он просто хорошо помнил Тумбли и презирал его. Возможен и другой вариант: для Аристида в его престарелом возрасте, истощенного физически и психически, Тумбли с его ультиматумом оказался последней каплей, и этого пережить он уже не смог. В любом случае его свободе выбора недоставало известной… свободы. Тумбли посетил Аристида, и Аристид покончил с собой. Иногда hoc ergo propter hoc[207] выглядит веским аргументом.

---

[207] Примечания: 207
После этого — значит по причине этого (лат.).

Вообще-то Тумбли забил гол в собственные ворота. Какая надежда осталась у него со смертью Аристида отыскать «Любовные и другие сонеты»? Какую опасность представляет он теперь для Мод или для меня?

Что еще я могу сказать об Аристиде? Я знал его, когда мы были молоды. По правде говоря, я любил его, несмотря на все махинации. Может, как раз из-за них. И все же, я полагаю, есть способы свести счеты с жизнью и получше.

NOSCE TEIPSIUM[208], твердят нам древние. «Он всегда плохо знал самого себя»[209], — говорит Регана о своем отце, короле Лире. Как случилось, что я так мало понимал не только Мод, но и самого себя? Мы любили друг друга и жили в теснейшей близости, но остались чужими. Мы знаем друг о друге все и не знаем ничего. Не в силах поверить себе, я недооценил глубину ее религиозного чувства. Я знал о ее душевном расстройстве, но не подозревал, насколько оно серьезно и что его причиной стал я. Почему она раньше не сказала мне? Почему я не спросил? Я

---

[208] Примечания: 208
Познай самого себя (лат.).

[209] Примечания: 209
«Король Лир». Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

очень глупый влюбленный старик. Я тоскую по ней сильнее, чем могу выразить словами.

В первый раз, когда я позвонил Мод, чтобы извиниться, к телефону подошла Энджи Маклетвист, она повесила трубку, как только узнала мой голос. Во второй раз она сказала, что мисс Мориарти не будет говорить со мной.

— И в другой раз тоже, — добавила она. — Побойтесь Бога, отец, не бросали бы тень на бедную женщину. И все же — можно ли в это поверить? — она не хочет слышать ни одного худого слова о вас. Об этом с ней ни гугу, ни слова протеста. Но все, кто имел отношение к Бил-Холлу, знали, что вы там откалывали, — к цыганке не ходи с ее магическим кристаллом. Еще бы объявление повесили!

Она даже не в состоянии, продолжала Энджи Маклетвист, вообразить подобную развращенность. Вот так священник — человек, отрекшийся от плоти, давший обет Сыну Божию, обладающий не только Силой, но и Славой, чтобы укреплять слабого и отпускать грешнику его грехи, человек, чьей особой привилегией является совершение святых таинств, — и чтобы такой человек совратил невинную девушку, держал ее всю жизнь в сексуальном рабстве для удовлетворения своих

мерзких вожделений и, злоупотребляя властью, которую дает ему церковный сан, еще и духовно развращал ее! Так вот этот человек снова возлагает терновый венец на чело Господа нашего, вколачивает безжалостные гвозди в его нежные ладони и ноги, он глумится и насмехается над Ним, когда Он висит на этом ужасном Кресте. (Конечно, я пересказываю своими словами.)

— Если бы решала я, — продолжала свою отповедь Энджи, — то рассказала бы все это отцу Кеву, про все ваши мерзкие грехи, и он тут же звякнул бы епископу, уж не сомневайтесь. Но я обещала мисс Мориарти не причинять вам вреда. «Мы все грешники, я грешна не меньше его, — сказала она. — Предоставьте его Небесам и его совести». Хорошо, ладно. Но у меня тоже есть совесть. Из-за вас она стала алкоголичкой, из-за вас сбилась с пути. И если вы только попробуете побеспокоить ее, я сообщу в полицию, и это так же верно, как то, что я уповаю на собственное спасение.

— Я не позвоню больше, обещаю вам. Только скажите ей, что умер Аристид Попеску, покончил с собой. Нет, нет, не говорите ей о смерти. Это расстроит ее. Лучше скажите ей, пусть даст мне яду, если у нее есть. Я приму. С радостью. Да, пожалуйста, скажите ей это, мисс Маклетвист.

Часть седьмая

Усомнится ли кто-нибудь в том, что если изъять из людских умов тщеславные мнения, сулящие несбыточное надежды, оценки, искажающие истину, фантазии и тому подобное, то это превратит множество людей в нечто жалкое, съежившееся, полное уныния, скуки и отвращения к самим себе?

Сэр Френсис Бэкон.
«Об Истине», Эссе, 1597-1625

В делах этого мира людей спасает не вера, а ее недостаток.

Бенджамин Франклин.
«Альманах добродушного Ричарда», 1754

Я УЗНАЮ НОВОСТИ О МОД от отца Пип-Пипа. Сначала он сообщал мне обо всем, что происходило в Святом Кресте, а теперь — о жизни в Бил-Холле. Его ухаживания за мной я щедро оплачиваю. Довольно скоро он убедился, что является для меня единственным надежным каналом информации и может по собственному

желанию перекрывать кран. Подобно женщине, чей единственный капитал — ее сексуальная соблазнительность, Пип-Пип приоткрывал лишь часть, так сказать, прелестей; позволял — еще раз так сказать — нетерпеливой руке ласкать округлое бедро поверх атласной юбки, откладывая полную капитуляцию до первой брачной ночи. Но стоило ему, благодаря моим усилиям, благополучно устроиться в Холле, и он перестал утаивать от меня что бы то ни было.

— Она в Нью-Йорке, — сообщил он, — гостит у родственников в Куинзе, это хорошие люди по фамилии Дауд, по ее словам, истинные католики. Время от времени она отправляет мне несколько строк, просто дает знать, как у нее дела.

— Ах да, Дауды. Все до единого пропойцы — она упоминала о них. Ярые сторонники ИРА[210] и незаконные поставщики оружия. У них есть паб на — как же это? — бульваре Киссена? Да, по-моему, там. Называется «Зеленая арфа». Они живут прямо над ним. — Я взглянул на него выжидательно. — Не самое лучшее место для излечившейся алкоголички. Надеюсь, вы посоветовали ей как можно скорее вернуться сюда.

---

[210] Примечания: 210
ИРА — Ирландская республиканская армия.

Пип-Пип бестактно рассмеялся. Мы сидели в Бенгази, который я тогда как раз превращал в мой новый дом отставника. Дело в том, что дорогой старина У.К. отказал мне его в завещании. В свое время я расскажу об этом. Но мало-помалу, еще до формального объявления об отставке, я наложил свою печать на это место. Позже поясню, что я имею в виду, говоря о «своей печати». Но в тот момент мы праздно болтали, сидя в комнате, которую еще можно было признать за гостиную майора. Пип-Пип заглянул в коттедж, как он сказал, чтобы помочь мне. Сейчас он налил себе второй стакан бренди и, вопросительно подняв бровь и помедлив над моим стаканом, засмеялся, вернее, захихикал.

— Мне это вовсе не кажется смешным, отец.

— Те люди продали паб несколько лет назад и вернулись на «покинутую родную землю», воплотив в жизнь романтическую мечту многих американских ирландцев. Кстати, «Зеленая арфа» помогала им поставлять юристов для Уолл-стрит, финансовых директоров и изрядное количество священников и монахинь, а в недавние годы и лидера рок-группы. Мод остановилась в семье своего кузена Патрика Дауда, члена городского совета от Куинза. Теперь Мод встречается на

обеде с мэром, добрым католиком, как и она сама. Поэтому я не думаю, что вам стоит беспокоиться о дурных влияниях.

— Ладно, ладно, — согласился я.

— Это правда. Я связывался с отцом Мак-Кеоном, священником того прихода, к которому принадлежат Дауды. — Пип-Пип, казалось, был немного смущен. — Видите ли, за годы моих трудов на поприще социальных услуг я заимел привычку наводить справки… ну, и все такое. Я подумал — не повредит, если отец Мак-Кеон узнает об особой проблеме Мод. Но он сказал мне, что ему редко приходилось встречать более благочестивую леди.

Я что-то промычал в ответ. Что до этого коротышки, ему, несомненно, следовало бы умерить свои аппетиты насчет спиртного. Я видел, как он заглядывается на графин, в котором был превосходный бренди из тающих запасов майора.

— Ладно, — сказал я, вставая, — пора возвращаться в Холл. Надо разобраться с документами из папки Бастьена и просроченными счетами. Хорошо бы нанять одного-двух сотрудников на временную работу.

Поверите ли, он налил себе двойную порцию бренди и выпил залпом!

— Вы правы, отец, — кивнул он, — идемте.

Прошло три месяца с тех пор, как Мод живет в Америке. Время от времени к нам оттуда просачиваются новости; главным образом церковные. Я уже знаю — больше чем мне хотелось бы — о добродетелях отца Мак-Кеона, обо всех леди из благотворительного общества «Salve Regina»[211] которое сделало Мод своим почетным членом, о великолепном интерьере в стиле неорококо церкви Св. Себастьяна и милой простоте часовни Св. Иуды. Когда я небрежно спросил Пип-Пипа, помнит ли Мод своих друзей из Бил-Холла, он ответил:

— О да, конечно. Она никогда не забывает передать наилучшие пожелания всем в Ладлоу и окрестностях.

Согласитесь, немного. Но вчера он примчался ко мне в большом возбуждении. В последнее письмо к нему Мод вложила запечатанное послание и для меня.

— Она записалась в группу чтения в церкви Св. Себастьяна, — горячо начал он. — Они читают произведения ранних христиан, а те, кто знает латынь, занимаются переводами.

---

[211] Примечания: 211
«Хвала Царице Небесной» (лат.).

Он нетерпеливо топтался на месте, очевидно, ожидая, что я поделюсь с ним содержанием письма. Но я, к его откровенному разочарованию, ждал, пока он оставит меня, и лишь потом вскрыл конверт ножом — подарком от ордена Колумба. В конверте оказался экземпляр полного текста «Увещевания к грешнице» на латыни, детски наивного творения Ефрема Сирина[212]. Наверняка один из тех текстов, над которыми трудилась ее труппа, — и несомненно ее собственный перевод. На первой странице Мод небрежно написала: «Э.М., для Вашего сведения, М.М.». Вот краткая выдержка, которая хорошо передает аромат целого:

> Она сковала свое сердце цепями, потому что оно согрешило, и, обливаясь покаянными слезами, запричитала про себя: «Какой мне прок от этого блуда? Какой прок от этого распутства?.. Без страха я воровала товары у купцов, однако так и не насытилась… Отчего я не покорила одного-единственного мужчину, который мог бы избавить меня от моей похотливости? Ведь единственный от Бога, но

[212] Примечания: 212

Сирин Ефрем [первые годы IV века-372(373)] — один из святых отцов Церкви.

многие — от Сатаны».

Некоторые места в тексте Мод выделила оранжевым маркером, чтобы лучше донести до меня все величие мыслей Ефрема Сирина. Кое-что было помечено и в приведенном выше отрывке: «Какой мне прок от этого блуда?», «Я воровала… товары» и «многие — от Сатаны». Последний пункт явно был камешком в мой огород. Нет никакого смысла придираться и доказывать, что Мод неправильно истолковывает латынь. Да, давным-давно, будучи школьницей, она получила приз Донегола за латынь, но, похоже, получила незаслуженно. Стенания женщины в творении Ефрема она понимает всего лишь как кроткую жалобу: «Сексуальные помыслы мужчин в основном порочны, а сами они — слуги Сатаны», и Эдмон Мюзик (оранжевый маркер!) — один из этих самых слуг. Но на самом деле, как прояснил мой собственный перевод, женщина думает, что если бы она имела одного мужчину в брачном союзе, освященном матерью-Церковью, то трахалась бы с Божьего благословения. А будучи шлюхой, она познала многих мужчин, которые наверняка были посланы ей Сатаной, ибо, утоляя ее жаждущее чрево, они только разжигали

похоть, не в пример одному мужчине. Короче говоря, Бог неодобрительно смотрит на неосвященный секс. (Что касается «Я воровала…», тут она попала в самую точку.)

И этот жалкий кусочек пустой раннехристианской болтовни — Ефрем Сирин — я вас умоляю! — все, что Мод после столь долгого молчания имеет сообщить мне. Она теперь старуха — эти слова больше не нарушают галантный стиль. Но боюсь, что с годами Мод не накопила мудрости. Она бранит меня, старого человека, за то, что я сбил ее с пути полвека назад, когда мы оба были молоды и огонь горел в наших чреслах. Возлагая всю вину на меня, она предает свой пол, безоговорочно принимая догму, провозглашенную Церковью на заре христианства: женщина — создание, движимое вагинальными побуждениями, и она может быть спасена от проклятия только супружеским союзом, освященным Церковью. Сегодня Мод отрекается от того, что мы оба когда-то считали любовью.

Конечно, я ответил ей. Назидание, которое она прислала, дало мне это право. Я не упомянул «грешницу», но смиренно обратил внимание на ошибку в ее латинском переводе, из-за которой последовало превратное толкование: она яко-

бы в свое время имела много мужчин. Я точно знаю, что был у нее первым, несимпатичным доказательством чему в тот изумительный день стали пятна на муаровом кресле в Музыкальной комнате Бил-Холла. Ее нежная рука, тянущаяся к выпуклости в моих брюках священника, — воспоминание, которое, даже сейчас, храню как сокровище. И я поклялся бы моей жизнью, что Мод была верна мне все последовавшие годы. Я в бодром тоне описал все, что происходило в Бил-Холле, мое будущее уединение, Бенгази, мое неожиданное наследство. Еще сообщил о Бастьене, пребывающем на заслуженных мирных пажитях, и о Пип-Пипе, человеке, более дельном, чем Бастьен, но менее приятном друге. В письме я спрашивал Мод, продолжает ли она писать мемуары и нашептывает ли ей по-прежнему муза любовные романы. И я умолял ее вернуться ко мне, ибо без нее моя жизнь стала пустой, даже пристально вглядываясь, я совсем ничего не вижу.

Прошли дни, недели, месяц, а ответа все не было.

Ситуация, в которой мы оказались, не только смешна, но и парадоксальна, и она чисто христианская история. Я, служитель Церкви, утратил

любовь к Церкви. Зато набожность, которой Мод никогда не отличалась в юности, теперь держит ее в рабстве. Она одержима — не Святым Духом, а тем, что она *считает* Святым Духом. Конечно, она всегда была верующей и понимала, что грешит. Но она едва ли отличается от самых набожных католиков западного мира. А *они* чертовски хорошо уживаются с этим. Нет, Мод обуяло нечто вроде католического фундаментализма — ею овладел не дух милосердного еврея Иисуса, но пламень непреклонного гоя Савонаролы.

Итак, мы пришли к величайшему из парадоксов. Мод одержима Марией, но какой именно? В Евангелии полно женщин, носящих это «благородное старинное имя». Мод одержима Марией, матерью Иисуса, или Марией Магдалиной, загадочной Марией? В любом случае, сколько там было Марий? Грешница, назвавшаяся Марией, принесла сосуд с миро для помазания ног Иисусу. Сестру Марфы и Лазаря тоже звали Марией. Семеро бесов — пересчитайте их — были изгнаны из Марии. Мария стояла у подножия Креста. Воскресший Христос встретил Марию в Гефсиманском саду. Православная Церковь упорствует в нелепом признании трех Марий: грешницы, сестры Марфы и Лазаря и Марии Магдалины. Мы, в Риме,

оказались неожиданно экономными, сократив их до одной. Даже само имя Марии Магдалины — уже проблема. Имя может означать, что она была родом из Магдалы, или что у нее были вьющиеся волосы, — в те бесхитростные времена верный признак блудницы, — или что, по случайному совпадению, она была девственницей, то есть Девой Марией. Которая из них овладела Мод? Думаю, это едва ли имеет значение, главное — Мод одержима. А поскольку она одержима, нужно изгнать из нее бесов.

Однако ни один католический священник не возьмется за это. В конце концов, в Мод вселился дух, который Церковь целиком и полностью одобряет. Выходит, единственный выход — призвать на помощь дьявола? Неужели придется обратиться к Сатане, умоляя силы ада изгнать сей дух, изнуряющий плоть Мод и разрушающий наше счастье? Тогда это должен быть Сатана Иова, древний благородный соперник Бога, чей образ не испорчен позднейшими наслоениями иудаизма и христианства.

ОДНАЖДЫ ПИШ, если верить его записям, совершил изгнание беса. Он проделал это по просьбе сэра Персиваля Била, который, потеряв надежду на возвращение жены, предположил,

что она одержима злым духом. Стыд не дал сэру Персивалю обратиться к собственному духовнику, так как изгнание нечистой силы в храме происходит не в исповедальне, то есть без соблюдения тайны. Правда, поведение леди Элис в Лондоне ни для кого не составляло тайны, однако в светском обществе в среде прелюбодеев и рогоносцев существовали некие условные представления о чести, и уж в Шропшире можно было поддерживать (не рискуя стать посмешищем) легенду о том, что жена находится в Лондоне из-за проблем со здоровьем. С другой стороны, изгнание бесов по римско-католическому обряду могло спровоцировать такой грандиозный скандал, что, несмотря на все богатства сэра Персиваля, на улицах Ладлоу о нем стали бы распевать баллады.

Баронет последовал совету Пиша. Он отправился в Лондон и там попытался снова ухаживать за женой, забрасывая ее пылкими billet-doux[213], букетами нежных роз, множеством стихов, сочинять которые он нанял поэта, а также любовными балладами, спетыми под ее окном искусным лютнистом. Но ничего не вышло. Тогда сэр Персиваль

---

[213] Примечания: 213
Любовные записки (фр.).

последовал к сердцу жены другим путем, который рекомендовал Пиш. Он появился в своей ложе на «Друри-Лейн» в объятиях двух шлюх, затянутых в лопающиеся от избытка плоти корсажи; он сопровождал их под маской Париса на снискавший дурную репутацию ежегодный бал развратников, устраиваемый печально известной Лукрецией, герцогиней Пинэ. Еще его видели (хотя на нем была надвинутая на глаза шляпа) входящим в ярко-красную дверь клуба распутников на Кондуит-стрит в сопровождении услужливого пакостника-сводника. И снова ничего не помогло. Зато сэр Персиваль схлопотал жуткий сифилис. Он сделал вывод, что леди Элис одержима, отдал распоряжение ненавистному Чантеру паковать чемоданы и вернулся в Бил-Холл.

Пиш был из числа избранных, из баал-шемов, следовательно, владел искусством изгнания злых духов, и он мог выманить духа, который овладел леди Элис.

— Поезжайте, мой дорогой, — сказал сэр Персиваль. — Освободите ее.

Пиш, поцеловав на прощанье Сару, сел в почтовую карету и отправился в Лондон, где остановился в «Короне» на Фебелоу-стрит.

— Хозяин, — сказал он, — принесите рыбный

пирог и овощи. Леща, тушенного в осеннем пиве, и Уайтчепельский крем. Сливовый пудинг. Рейнвейн и содовую.

Леди Элис была очень рада видеть Пиша. С их первой встречи в Бил-Холле она частенько бросала сладострастные взгляды на «ласкового иудея», доктора сэра Персиваля, но обстоятельства не позволяли ей осуществить то, чего она так искренне желала. Говорили, что иудей имеет неутомимый таран огромных размеров из дьявольского рога и подвески, похожие на пару кожаных мешочков, наполненных золотом. Говорили, что их частые извержения были вулканическими, снова и снова наполняя томимую жаждой наслаждения женщину лавой всепожирающей любви. Вот почему сама мысль об иудее заставляла леди Элис требовать от сэра Персиваля исполнения супружеских обязанностей в те дни, когда они еще делили постель, и он смазывал свой член снадобьем Маймонида, чтобы доставить ей скромное удовольствие; а в те дни, когда не было дома супруга и никого другого рядом, леди удовлетворяла себя, прибегая к рукоблудию, на время успокаивалась, но испытывала ужасный стыд. И вот — о, Небеса! — ее горничная Люси докладывает, что внизу дожидается джентльмен,

еврей из Ладлоу! Это мог быть только он!

— Ах да, это доктор сэра Персиваля. Человек необычайной учености. Будет лучше, если я переоденусь в мой ночной туалет. Он пришел, чтобы исцелить меня от моих… да… эксудатов.

— Каких эксудатов, миледи?

— Тех, о которых ты не знаешь, Люси. Дитя мое, как ты болтлива! Помоги мне сначала надеть мой peignoir[214] с ирландскими кружевами, тот, что лорд Килкенни так любезно прислал мне из своего перезаложенного поместья. А потом пригласи доктора ко мне.

Забегая вперед, могу сказать, что Пиш добился успеха своими заклинаниями, доказательством чему стало возвращение леди Элис в Бил-Холл. Но его записи о том, что именно произошло в лондонском будуаре леди, весьма обрывочны. Он опознал духа, овладевшего леди Элис, как духа Лилит, первой жены Адама. Созданная из глины вместе с Адамом, она не пожелала признать навязанное ей неравенство и пререкалась по поводу сексуальных поз в их половых сношениях, предпочитая быть сверху. Изгнать злой дух Лилит было не так просто. Она издевалась

---

[214] Примечания: 214
Пеньюар (фр.).

над чарами, основанными на каббалистической нумерологии, и, будучи сама могущественным демоном, высмеивала заклинания, исходившие от существа, обладающего меньшей властью. Под ласкающими ее руками она словно делалась сговорчивее, но категорически отказывалась сдавать завоеванную территорию — леди Элис, — которая корчилась от столкновения соперничающих армий.

Наконец Пиш понял, что Лилит разбила свой шатер in utero[215], водрузив над ней свое знамя, а он знал, что изгнать демона с занятого им плацдарма можно только физическим воздействием.

— Простите, миледи! — сказал он и с силой направил свой таран на опускающуюся решетку крепостных ворот. Возобновляя атаки и добиваясь перевеса, Пиш водрузил наконец собственное знамя и мобилизовал резервы для последнего штурма: — Ну-ка, дорогие мои, еще разок пробьем эту брешь!

И вот он победил. С воплем страдания, свирепо хрипя, как китайский дракон, Лилит поспешила отступить через задние ворота. А леди Элис вернулась в Ладлоу.

---

[215] Примечания: 215
В утробе (лат.).

МОД УДОСТОИЛА МЕНЯ ВТОРЫМ ПИСЬМОМ, на сей раз указав на конверте мое имя. Короче говоря, письмо пришло прямо ко мне. Возможно, это шаг вперед. Но содержание его, увы, не изменилось: «Э.М., для Вашего сведения, М.М.». На этот раз она нацарапала эти каракули на полях статьи, вырезанной из газеты «Кембриджский телеграф». Статья оказалась гораздо интересней, чем любая проповедь Ефрема Сирина. Заголовок гласил: «Абсолютно голый отставной клирик!» Подзаголовок уточнял: «Пожилой священник, обезумевший от угрызений совести, кается нагишом». И еще: «Самобичевание на ступенях хосписа». Вы уже догадались? Да, это был отец Фред Тумбли, до последнего времени трудившийся в колледже Святого Пути в Джолиете, штат Иллинойс. Значит, в конце концов он сломался.

Оказывается, Тумбли на коленях прополз от металлических ворот до парадной лестницы хосписа Сестер Пяти Скорбных Ран по короткой подъездной аллее, ведущей от Хауэлз-стрит. Он еще был одет и держал в руках туго набитый портфель, которым пользовался как костылем. Достигнув верха лестницы, Тумбли извлек из портфеля короткую плетку с множеством ремней, причем каждый заканчивался металлическим

наконечником. Затем разделся, сложив одежду на ступенях рядом с портфелем, и остался в одних черных носках на старомодных подтяжках. Снова опустившись на колени, Тумбли поднял плеть и начал изо всех сил лупить себя по плечам и спине, так что выступила кровь. Потом он зашатался и упал вперед, на подставленную руку, задыхаясь от боли. Пока что его видел только Кавро Павелич, свежеиспеченный иммигрант из Хорватии, который сгребал в кучу опавшие листья во дворе хосписа. Павелич с упоением наслаждался этим зрелищем, упав на колени и осеняя себя крестом. Позже он через переводчика сообщил репортерам, что это первый подвиг истинного благочестия, которому он стал свидетелем после приезда в Америку.

Фарс, кажется, всегда сопровождал Фреда Тумбли. Случилось так, что именно в этот момент сестра Беатрис Джозеф, мать настоятельница Сестер Пяти Скорбных Ран, провожала гостя, важного жертвователя. Она торжественно распахнула парадную дверь, готовясь произнести любимую прощальную фразу: «Господь любит вас!» Но тут их глазам открылась безобразнейшая картина: окровавленный голый тощий старик пытался подняться с колен, а между ног уны-

ло свисали гениталии. Он дружески помахал им плетью. Подобное поведение, полагала мать настоятельница, было бы уместно, скажем, в Монтепульчано или Ла-Корунье, но в Кембридже? Никогда! Важный гость — что вполне естественно — вскрикнул от изумления, сестра Беатрис Джозеф быстро захлопнула дверь, схватила в холле телефонную трубку и вызвала полицию.

Прибыла полиция в лице инспекторов О'Тула и Махмуда. Выяснилось, что сумасшедший — священник, но не из местных жителей, и представляет угрозу только для самого себя. Он без возражений отдал им плеть и смирно уселся на лестнице, дрожа от холода и совершенно ослабев от потрясения. О'Тул проявил участие и послал Махмуда принести одеяло из полицейской машины.

Тот заворчал, но подчинился. Он предпочел бы отвезти Тумбли на вокзал и взять ему билет на поезд.

— Подобных парней следует кастрировать, — якобы заявил он.

(Более правдоподобно звучит версия, на которой настаивал Бочонок, заранее извинившись передо мной, — инспектор Махмуд сказал, что «этому гребаному мудаку надо оторвать яйца».

Бочонок — большой поклонник американских телесериалов, особенно криминальной полицейской драмы.) О'Тул, добрый католик, думал иначе, он перебросился парой слов с матерью настоятельницей, которая признала, что эти «мощи», пожалуй, и вправду лучше запереть в келье. Тумбли, не противясь, согласился, чтобы его поместили к Сестрам Пяти Скорбных Ран для обследования и возможного лечения.

Я был бы полным ничтожеством, если бы не сознался вам, что мучения Тумбли стали для меня маленьким праздником сердца. Но почему Мод отправила мне эту вырезку? Конечно, мы с ней десятилетиями испытывали неприязнь к этому человеку, и теперь, быть может, это намек на единомыслие. Хотелось бы надеяться. В конце концов, у Мод не было нужды беспокоиться, она могла бы и лишить меня удовольствия позлорадствовать.

На пару минут мне стало интересно, действительно ли Тумбли почувствовал угрызения совести за то, что фактически вогнал в гроб У.К. и довел до самоубийства Аристида Попеску. Чужая душа, конечно, потемки, но я что-то не верю в раскаяние Тумбли, он ведь сразу и отрекся, заявив, что невиновен в этих смертях.

Я призвал Пип-Пипа в коттедж и спросил, не гостит ли случайно в Холле какой-нибудь американский ученый. Да, ответил он, приехал отец Питер Агнелли — преподаватель колледжа кардинала Спелмена в Провиденсе, штат Род-Айленд. Во время беседы с отцом Агнелли за бокалом «Пулиньи-Монтраше» 1963 года я упомянул, что Бил-Холл учредил несколько стипендий, одну из которых он может получить, особенно если заручится рекомендацией генерального директора. Потом я намекнул, что он мог бы, воспользовавшись своими связями в Новой Англии, выяснить для меня, что случилось с неким отцом Фредом Тумбли, который раньше часто бывал в Бил-Холле, а теперь вот оказался постояльцем Сестер Пяти Скорбных Ран.

Через неделю отец Агнелли был готов подробно доложить мне о «тягостном инциденте» с Тумбли. В епархии, где тот преподавал, семь его бывших студентов, ныне взрослые женатые мужчины, подали на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах, оказавших травмирующее влияние на их жизнь. На процессе туманно прозвучало, что были еще пострадавшие, которые пока не расположены к публичным признаниям. Так вот, этим студентам последнего курса были

предложены высокие оценки в обмен на секс. Они признавали, что отец Тумбли ничего им не сделал. Тумбли ставил «Болеро» Равеля («Да, он был таким банальным», — заметил Агнелли), просил студентов раздеваться перед ним и занимался в сторонке мастурбацией. Вот и все.

— Вам может это показаться странным, — продолжал Агнелли, — но одна еврейка, которую он однажды встретил в Нью-Йорке «на книжной или какой-то еще вечеринке», женщина, замечательно проницательная, сказала ему с обезоруживающей простотой: «Каждый что-нибудь да делает». Подняла на него глаза и иронически улыбнулась. Во всяком случае, бывшие студенты Тумбли утверждали, что их последующая сексуальная жизнь была серьезно расстроена и что они страдали от приступов импотенции. Их жены, как понял Агнелли, подали отдельную жалобу.

Как и следовало ожидать, Тумбли все отрицал. Но его отставка, конечно, последовала стремительно — по настоянию ректора колледжа Святого Пути. Интересно знать, действительно ли Тумбли сломался под давлением выдвинутых обвинений или же предпочел, хитроумно прибегнув к самобичеванию, оказаться подальше от места расследования? Как бы то ни было, сейчас

он сидит взаперти вместе с Кастиньяком — моим старинным другом и его старинным врагом.

Я НАЧИНАЮ РАЗМЫШЛЯТЬ О СМЕРТИ. Что в моем возрасте и положении вполне разумно и необязательно связано с психическими отклонениями. Передо мной с готовностью зияет могила. Зачем же притворяться? Горизонт, некогда далекий, приблизился. Я стою на краю бездны, не чувствуя ни смелости, ни страха, в совершенном безразличии — уверенный лишь в том, что смерть, «конец неотвратимый», как писал любимый Бард Пиша, «придет в свой час»[216]. Круг близких мне людей все сужается — обстоятельство, естественным образом сопутствующее старости. Те, кого я знал лучше всех, кого любил или ненавидел, ушли от меня, исчезли, нас разделяют смерть, отчаяние, безумие или огромные расстояния.

Подозреваю, что на эти размышления меня подвигла новость, сообщенная отцом Пип-Пипом: Мод, моя Мод, собирается замуж за некоего Тима О'Флаэрти, вдовца, отца, деда, прадеда, бывшего окружного прокурора Куинза, почетного председателя «Верных Сынов Изумрудного ордена

[216] Примечания: 216
«Юлий Цезарь». Перевод И. Мандельштама.

Ирландии» и мирской опоры церкви Св. Себастьяна. Она спрашивала у Пип-Пипа совета — следует ли ей рассказать своему fiance[217] о том, что она лечилась и вылечилась от алкоголизма.

Так-так…

— Не очень-то прилично в их возрасте, а? Можно ли сказать, что в них вселился некий дух? — поинтересовался моим мнением Пип-Пип.

— Возможно, что-то и вселилось, — рассеянно ответил я, делая вид, что для меня это предмет не более чем вежливого интереса.

Мы опять сидим в Бенгази. Официально я теперь в отставке, а Пип-Пип хозяйничает в Бил-Холле. Пока он только исполняющий обязанности директора и работает кое-как, без особого усердия. Если он не впадет в начальственный раж, сделавшись директором, осмелюсь заметить, он нашел себе синекуру. На здоровье. Я не питаю к нему недобрых чувств.

Пип-Пип решил переключиться с Мод на другую тему.

— Налить? — спросил он, поднимая графин.

Я покачал головой, указывая на свой стакан с

---

[217] Примечания: 217
Жених (фр.).

недопитым бренди, и он налил себе. На сей раз это было не превосходное бренди У.К., а «Теско», которое я завел специально для визитов Пип-Пипа.

— Коттедж по-прежнему называется Бенгази? — поинтересовался он.

— Почему бы и нет?

Билинда Скудамур и я оказались единственными наследниками майора. Письма от адвоката застали нас врасплох. Билинда унаследовала ценные бумаги и банковские счета моего старого друга, все, что он скопил, — порядочную сумму. Мне же достался коттедж — и в самый нужный момент, когда я почувствовал, что больше не могу оставаться в Бил-Холле, но не было места, куда бы я мог уехать. Без Мод и Бастьена Бил-Холл превратился для меня в мавзолей, в пустых пространствах которого раздавалось эхо моих бесчисленных утрат.

— Ну, — сказал Пип-Пип, — название Бенгази имело особое значение для майора Кэчпоула. Он ведь участвовал в Северо-африканской кампании. Но что оно для вас?

— Оно символизирует самого майора, моего друга.

Интересно, а как, по мнению Пип-Пипа, я должен был бы назвать коттедж? Марэ? Ну да, самое

подходящее для меня название. Или Вель д'Ив?

Но теперь… теперь все это не имеет значения. Не надо заводиться. Пип-Пип не хотел меня обидеть.

Епископ Мак-Гонал написал мне от имени попечительского совета, поблагодарил за долгую преданную службу и предложил устроить прощальный обед, «прекрасное предложение, дорогой мой, соглашайтесь». (Конечно же, я отказался.) Он выразил удовольствие, узнав, что я, как и прежде, буду жить поблизости, в его епархии. Он очень хорошо помнил моего покойного друга майора, милейшего человека с прочными католическими устоями (не важно, какие озорные мысли он мог порой высказывать), не случайно ведь он завещал мне коттедж. (Епископ, несомненно, имел в виду, что после моей смерти дар майора достанется Церкви.) Я по-прежнему могу считать Бил-Холл своей вотчиной. Для меня там всегда будет место за столом.

— Пользуйтесь нами, мой дорогой, не отвергайте нас. Мы умеем быть благодарными.

Я наблюдал за Пип-Пипом, потягивающим бренди. Клянусь, несмотря на сморщенное личико, он выглядел лет на четырнадцать, не больше. Хотя я знал, что ему сорок восемь. Я не устоял

перед соблазном и сказал, что слишком много алкоголя может замедлить его рост.

— Так что же, по вашему мнению, она и вправду собирается замуж за этого парня, О'Флаэрти?

— Думаю, да.

Я посмотрел поверх его головы на портрет Баал Шема из Ладлоу работы де Куика, висевший над камином. Как я уже признавался, я перенес в коттедж некоторые вещи из Холла, по-своему истолковав призыв Мак-Гонала «пользуйтесь нами». Портрет работы де Куика, украшенное миниатюрами проклятие, все бумаги Пиша, рукописные и печатные, почти все, что было в библиотеке написанного на древнееврейском языке, и несколько памятных вещиц. Я даже прикрепил к косяку входной двери мезузу[218], принадлежавшую Баал Шему, отдав дань сентиментальности. Я теперь знаю, что я не католик. Тогда, может, я сбившийся с пути иудей?

Что мне делать?

ДА, «АГАДА» ИЗ ДУНАХАРАСТИ по-прежнему хранится у меня. Если помните, я держал книгу запертой в ящике письменного стола в Музы-

[218] Примечания: 218

Мезуза (иврит) — небольшой свиток пергамента со словами молитв, вложенный в деревянный или металлический футляр, который прикрепляют к дверному косяку.

кальной комнате. Как я мог оставить ее там, в Бил-Холле? Конечно не мог. Ни один предмет, к которому прикасался Пиш, не должен был оставаться в этом оплоте мародеров. Я употребил слово «мародеры» не просто так. Вам, наверное, интересно узнать, как случилось, что после того, как сэр Персиваль и Пиш обменяли «Агаду» из Дунахарасти на «Любовные и другие сонеты», — обе эти уникальные книги оказались в библиотеке Бил-Холла.

(Кстати сказать, книга Шекспира — то ли подлинник, то ли, как я подозреваю, подделка — исчезла с лица земли. Во всяком случае, так я заключил из ответа молодого Попеску на мое письмо. Он утверждает, что не смог найти ни самой книги, ни записи о ней, ни купчей — вообще ничего. Со времени трагической смерти его отца от рук русских варваров среди торговцев и коллекционеров редких книг стали циркулировать скверные слухи, не только ставящие под сомнение честь фирмы, но и бросающие тень на память его дорогого отца. Попеску-fils выражал уверенность, что я не стал бы участвовать в клевете и как человек, посвятивший свою жизнь святейшей из истин, не запятнал бы свою бессмертную душу распространением лжи. «Примите самые

искренние заверения» и т. д.)

Леди Элис умерла в 1783 году от рака левой груди, вернее, ее убил болевой шок. Операцию производили в будуаре леди в Бил-Холле. Ложась под нож, она, храбрясь, с иронией сказала сэру Персивалю, что скоро оба они смогут предложить свои услуги какому-нибудь «шоу уродов» в Лондоне, хотя бы Тому Тидлеру на Ковент-Гарден. Та еще будет парочка: он — без руки, она — «без титьки». В поисках хирурга, владеющего глубокими знаниями и новейшими методами, сэр Персиваль обратился в Королевское общество. И нашел такого человека в лице сэра Лемюэля Спрота, — члена Британской академии, члена Военной академии, выпускника Кембриджа, доктора медицины, члена Королевского хирургического общества, члена Королевского общества и хормейстера Королевской капеллы. Сэру Спроту в его мясницкой работе ассистировал сэр Эндрю Филдинг, член Британской академии, выпускник Королевского колледжа в Нью-Йорке. Этот верноподданный, к слову сказать, спасся бегством из родной страны, когда некоторые его свободолюбивые соотечественники подняли оружие против своего короля. Гнусный Чантер крепко держал ноги леди Элис, ее горничная Люси и мис-

сис Докес, стряпуха, прижимали к постели руки. Присутствовали также сэр Персиваль, отец Хью Фейрчайлд из Святого Креста и Пиш, последний — по просьбе самой леди Элис.

В конце концов сэр Персиваль убежал из комнаты, отец Фейрчайлд описался, обкакался и осел, теряя сознание, на пол, в собственные нечистоты. (Пришлось пригласить первого и второго садовников, чтобы вынести его.) У постели остались доктора, домашняя прислуга и иудей. Говорят, вопли несчастной женщины были слышны даже в Ладлоу. В какой-то момент она потеряла сознание, и оно к ней так и не вернулось. Около трех утра, когда даже горничная Люси, обнимавшая свою госпожу, заснула от изнеможения и только Пиш продолжал молиться, леди Элис испустила дух.

Сэр Персиваль пережил ее на четырнадцать лет. За это время он опубликовал скромный труд «Ephemere hominis miserrimi»[219](1787) и монументальную трехтомную «Историю пределов Уэльса»(1789–1792). Каждый день после обеда, независимо от погоды, он наносил продолжительные визиты в мавзолей, который велел

[219] Примечания: 219
«Эфемерны несчастья человека» (лат.).

воздвигнуть для последнего приюта леди Элис. Это сооружение и сейчас мрачно возвышается над нижним озером. Конец баронета был ужасен: пущенный им в галоп конь Эвритион неожиданно встал на дыбы, когда на дорогу выползла змея, и выбросил седока из седла. Баронет пролетел мимо Стюартова дуба, чуть не сделавшись его первой жертвой: взмыв вверх, он ударился головой о безымянное ореховое дерево, его правая рука, которая могла бы ослабить силу удара, как мы знаем, осталась в Индии.

Что касается Пиша, он умер годом раньше хозяина Бил-Холла, в сочельник 1796 года. Сэр Персиваль утешал вдову как мог, заверяя ее, что, пока он жив, она ни в чем не будет нуждаться. Единственное сообщение о смерти Пиша можно найти в уже упоминавшихся мною «Рассказах Баал Шема из Ладлоу». Но этот источник слишком ненадежен и только поощряет легковерие. Анонимный повествователь уверяет, что «слышал все это от раввина Харви Фрайда из благочестивой общины Илкли, который умер на Святой Земле».

Пиш отходил в лучший из миров, окруженный своими учениками и учеными мужами, впитавшими мудрость веков. Он сказал им, что

чувствует слабость. «Скоро я буду с Господом, благословен Он».

В полночь слуга зашел в его спальню и услышал, как Пиш говорит: «Я согласен на состязание. Не нужно причинять мне боль».

Слуга спросил: «С кем вы разговариваете, хозяин?»

И Пиш ответил: «Смотри сюда, смотри. Разве ты не видишь ангела смерти? Однажды он бежал от меня в страхе, прикрыв голову крыльями от стыда, а сейчас его грудь вздымается от радости. Проиграет из нас тот, кто ошибется первым». И он попросил слугу принести ему ячменного отвара в большом стакане, так как он чувствует слабость. Но слуга принес ячменного отвара в маленьком стакане, и Пиш сказал: *«Нет власти у человека в день смерти, даже мой слуга не повинуется мне».*

И тогда возликовал ангел смерти: «Ты первый ошибся, ибо у Екклесиаста сказано: *Нет власти у человека над днем смерти, а не в день смерти*».

И в эту минуту остановились часы, стоявшие в углу. Слуга положил перышко под ноздри Пиша и понял, что его хозяин скончался.

Далее, достоверно известно, что сэр Хэмфри Бил, младший брат сэра Персиваля, унаследовал Бил-Холл. Сэр Хэмфри, автор жалкого памфлета «Вероломные иудеи»(1802), спровоцировавшего в 1803 году Килбенские бунты, не нуждался в евреях, он попросту презирал их. Ему стало известно, что дом на Олд-стрит — каменное здание рядом с переулком Эсайлем, где Пиш руководил своим бейт-мидрашем, где находил приют бездомный и исправлялся грешник, — принадлежит Бил-Холлу. Сэр Хэмфри знал, что ему делать. Прибыв в Шропшир, он за неделю разогнал учеников Пиша, рассеявшихся по всей Англии и за ее пределами, иудейка Сара и ее слуги-иудеи были выброшены на булыжную мостовую, а все имущество «возвратилось» в поместье. Вот так обширное собрание пишианы, в том числе «Агада» из Дунахарасти, оказалось в Бил-Холле.

Я держу «Агаду» дрожащими от волнения руками. Несмотря на ее весьма солидный возраст и долгие странствования, она великолепно сохра-

нилась. Я охвачен чувством, которому не могу подыскать название. Снова и снова я смотрю на рисунок в центре титульного листа, на маленькие фигурки людей, торопливо пересекающих площадь в Дунахараст по дороге в деревянную синагогу. Среди них могут быть и мои предки. В моем воображении легко перемешиваются эпохи, и я, кажется, узнаю моих молодых, еще не поженившихся, родителей. Не могла ли вот эта крохотная фигурка ребенка сделаться в будущем самим Баал Шемом из Ладлоу? Я переворачиваю несколько страниц. Вот изображение четырех сыновей: благоразумного, грешного, простодушного и еще одного, который еще не знает, что существуют вопросы, на которые ему придется отвечать. Грешный сын чисто выбрит, он стиснул зубы, на нем шапка, немного напоминающая митру. Иду дальше. Здесь нарисованы казни, которые Бог наслал на фараона и идолопоклонников-египтян. А на этой странице — ковчег со всеми тварями, вплоть до лягушек и саранчи; на бумаге какие-то пятнышки выцветшего коричневого цвета. Вино? Кровь? Помня историю моего народа, это может быть и то и другое либо то и другое вместе.

Я написал «моего народа». Но в каком смысле

моего?

Так, спокойно, не стоит терзать себя вопросами, оставим это.

Я МИРНО ПОСЕЛИЛСЯ В БЕНГАЗИ. Если вы думаете, что, прожив почти полвека в великолепии Бил-Холла, я должен был в скромном коттедже ощутить… что? смятение? Ничего подобного. Или может, предполагаете, что после почти полувека жизни с Мод мое одиночество станет… каким? невыносимым? И снова нет, поверьте. Я наслаждаюсь уединением!

Кстати, я прихожу к мысли, что Пип-Пип был прав и название «Бенгази» — верность памяти майора тут ни при чем — не годится для моего дома. Название, которое я мысленно примериваю, — это Дунахарасти.

Прошлым вечером меня навестили Билинда и Бочонок. Они переезжают в Канаду — в Лондон, провинция Онтарио, если быть точным, — и зашли попрощаться. Бочонку предложили работу в тамошнем полицейском департаменте и звание сержанта, а Билинде обещают место в гериатрической больнице королевы Марии. Я пожелал им успеха.

— А вдруг вам не понравится Канада, Билинда?

— Ну, рядом Америка, а кроме того, мы всегда

можем вернуться сюда.

Им вполне по карману эксперименты. Наследство, полученное от майора, дает Билинде возможность вообще не работать. А что до Бочонка, то он просто довесок к Билинде, страстно в нее влюбленный.

— Если поедете в Америку, можете навестить Мод. — Нет, я не сказал этого. Только подумал.

Наверное, и мне стоит поехать в Америку. Почему бы и нет? Может, я уговорю Мод вернуться. Старик Лохинвар[220] появился с востока…

Возможно, я преувеличиваю, уверяя, что наслаждаюсь уединением.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ Я ПОЛУЧИЛ почтовую бандероль, адресованную мне в Бил-Холл. Отец Пип-Пип был так любезен, что доставил ее на велосипеде.

— Это от Мод, — возбужденно сообщил он, переминаясь с ноги на ногу. — Смотрите, там есть обратный адрес. А здесь, видите, штамп таможни — «Печатный материал». Осмелюсь предположить, что это книга. Интересно, какая именно… Может быть, один из ее романов.

---

[220] Примечания: 220

Лохинвар — герой одноименной баллады Вальтера Скотта, шотландский рыцарь.

— Что ж, — протянул я небрежно и бросил бандероль в корзину для бумаг, хотя сердце мое бешено колотилось, — пожалуй, оттяну удовольствие. — Я кивнул на гору бумаг на письменном столе. — Сначала займусь корреспонденцией, а то откладывал разборку годами, все было некогда. Теперь отговорок не осталось.

Пип-Пип попытался скрыть разочарование.

— В таком случае я вас покидаю. Не хочу мешать. — Он помолчал. — Я был бы вам очень признателен за марки, если, конечно, они вам не нужны. У меня племянник — заядлый филателист.

Я разгадал его уловку: оторви я марки, придется волей-неволей вскрыть и пакет.

— Вы их обязательно получите, я не забуду.

Конечно, я бросился открывать бандероль, как только увидел в окно, что мой «почтальон» усаживается на велосипед. Я и сейчас помню, какой стресс я испытал, увидев, что внутри.

Там действительно была книга, и к ней было приложено письмо. «Любовные и другие сонеты», на титульном листе штамп «Библиотека Бил-Холла». В письме Мод пыталась оправдаться.

Она выкупила книгу у Аристида, когда много месяцев назад прочла письмо Тумбли. Как-то

вечером она случайно увидела его на моем столе в Музыкальной комнате — я был у майора, а она ожидала моего возвращения из Бенгази. Она просит за это прощения, потому что читать чужие письма нехорошо, но она уловила суть, прежде чем успела отвести взгляд. Она немедленно связалась с Аристидом — к счастью, он еще не успел исчезнуть в Восточной Европе. Она вернула ему сумму, которую она в свое время получила от него, и приложила чек — аванс за ее последний роман «Уйди в монастырь», ставший очередным бестселлером. Да, Аристид заломил кругленькую сумму! Потом он признался Мод, что у него долго были сомнения насчет подлинности книги, но он так и не проконсультировался с заслуживающими доверия экспертами. Как «человек чести» он свято соблюдал их первоначальное соглашение и потому рад получить «законную прибыль» на вложенный капитал.

Мод собиралась подарить мне книгу на мой уход в отставку, чтобы я поступил с ней, как захочу. Если бы в то время возникли какие-то проблемы, связанные с книгой и представляющие угрозу для кого-нибудь из нас, она бы немедленно ее предъявила. Она никогда не думала, что этот идиот Тумбли действительно опасен, а уж теперь,

когда он сам признался в своей невменяемости, никто, конечно, не станет слушать его бредни. А потом отец Пип-Пип написал ей о моей отставке, и ей было приятно, что я поддержал назначение хорошего человека на свое место. Пришла пора и мне получить мой подарок, и вот книга в моих руках.

И все же в оправданиях Мод кое-чего не хватает, и прежде всего объяснения, почему угрозы Тумбли таким роковым образом подействовали на Аристида, если, вернув книгу, он был совершенно свободен от старых обязательств и мог только посмеяться над своим мучителем. Мне не хочется снимать вину с Тумбли за самоубийство Аристида. Но вопросы остаются. Аристида уже не спросишь. Тумбли теперь тоже отпадает. А сын и наследник Аристида — Габриэль Попеску — клянется, что абсолютно ничего не знает обо всей этой истории (и, возможно, говорит правду).

Кроме всего прочего, в письме Мод есть устрашившая меня финальная нота. Она пристрастилась к Америке, как ребенок к кондитерской, и думает, что останется. Это грандиозное место для ирландки, просто грандиозное. И потом, она встретила очень приятного джентльмена, доброго католика, который предложил ей выйти за него

замуж. Она бы солгала, если бы сказала, что не соблазнилась. Она не отрицает, что мы когда-то «ладили», как говорят в Куинзе; выражаясь более возвышенно, мы «слушали восхитительную музыку сфер», или нам так казалось в молодости, но грешная страсть, принятая за божественную любовь, в чем теперь она уверена, была дьявольским наваждением. Она надеялась, что в память о прошлом я оставлю ее в покое, не стану больше осаждать письмами, которые терзают ей сердце и вызывают слезы скорби, сожаления и — да — гнева тоже. «Оставь все как есть, Эдмон, прошу тебя». Она уверена, что я желаю ей счастья так же, как и она мне.

Похоже, я не поеду в Америку. Старого Лохинвара там никто не ждет.

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛОВО, которому научил меня Пип-Пип в нашу первую встречу, я не жил «проактивной»[221] жизнью, Совсем наоборот. В тот самый день, в сырой дождливый день, когда я пришел в промокших насквозь кедах и мои шишки причиняли мне ужасную боль, Мод сказала мне — дело было в гостиной Энджи Маклетвист,

[221] Примечания: 221

Проактивный — предупреждающий события, действующий, а не пассивно следующий за ними.

так называла ее хозяйка, — что я «большой любитель уходить от проблем». И процитировала меня: «Избегать проблем — это девять десятых счастья». Она могла бы вспомнить еще одну мою затертую мудрость: «Сомневаешься — не делай».

Все это правда. Я робок, нерешителен и ни в малейшей степени не способен отстаивать свои права. И уж конечно я скроен не по героическому образцу. Впрочем, подобных мне немало. Но я все довожу до крайности. Все это время Мод считала меня остроумным, прощая мне слабость и инертность. Я играл роль, позировал. Наверное, так. Но Мод видела меня насквозь — мужчину ведь понять нетрудно. Кроме того, если я вначале и правда играл некую роль, то очень скоро она стала моей подлинной сущностью. Мой стиль жизни нельзя назвать проактивным, скорее, он был реактивным, а еще вернее, пассивным. Как иначе объяснить мое столь долгое пребывание в лоне Церкви, в чьи догматы я не верил? Я всегда знал, как злобны ее иерархи с их софистическими уловками, как ненавидят моих соплеменников, о чем свидетельствуют кровавые страницы истории. Уйдя в отставку, я отбросил лицемерие — свое и чужое. Я оставил в Бил-Холле, который или станет домом моему преемнику, или превратится

в мусорную свалку, все, что имело отношение к проведенным там годам, — они видятся мне пустыней — все: от колоколов, молитвенников и свечей до моих пожелтевших ошейников. Но почему мне потребовалось так много времени, чтобы все это отринуть?

Конечно, сыграла свою роль инерция. Нежелание раскачивать относительно устойчивую лодку. Искушение иметь близкого друга. Моя страсть — сначала к Кики, а потом к Мод, плотское влечение, порожденное, я полагаю, соблазном нарушить табу. Удобства и преимущества жизни в Бил-Холле. Время. Чужое мнение. И так далее, и тому подобное.

Возможно, Фрейд, дискредитированный еврейский гений, нашел бы, что главную роль сыграли мои детские годы, когда я лежал в постели рядом с матерью и она шептала: «Лежи тихо, Эдмон, не шевелись!» Определенно, именно тогда я и научился ценить преимущества бездействия. Да и позднее, в моей дальнейшей жизни, я бывал пассивен, мне подспудно хотелось заслужить одобрение матери. «Эдмон такой хороший мальчик!» Все может быть. Хотя, скорее всего, я соперничал с моим несчастным отцом, проклятым Богом. Конечно, я тоже мог провести

мою жизнь, сидя в садовом кресле из пластика и наблюдая за курами, тупо ковыряющимися в земле.

ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ я посвятил тщательному изучению книги «Любовные и другие сонеты». Мои подозрения (и, как я понял из письма Мод, подозрения Аристида) были вполне обоснованны. Книга — подделка восемнадцатого века. Более того, я могу доказать, что ее автором был Пиш и что он оставил в тексте (умышленно?) некие ключи, чтобы потомки смогли его разоблачить. Сборник стихов, датированный восемнадцатым веком, содержит (умышленно?) ряд анахронизмов. Вот, например, второй катрен сонета 62:

> *Моя любовь меня уже не любит и другого*
>
> *Спешит любить, такой усвоив стиль.*
>
> *Совсем как моды бог нам повелел сурово:*
>
> *«Прочь вист! Теперь играйте все в кадриль!»*

Когда-то каждый школьник знал, что кадриль в начале семнадцатого века была совершенно

неизвестна и вошла в моду, вытеснив вист (или ломбер), только в конце восемнадцатого века.

В других местах сочинитель сонетов дает понять (умышленно?), что он еврей. Возьмем для примера сонет 76. Влюбленный жалуется — в манере Петрарки, — что его любимая полна противоречий, в ней сочетаются несоединимые свойства. Вот заключительное двустишие:

Как шелк тончайший, смешанный с сукном,

Или в одной тарелке мясо с молоком!

Этот влюбленный, позвольте заметить, соблюдает кошер!

Последний сонет уточняет (умышленно!) личность самой леди. Ее имя скрыто под тончайшей маской. В книге 105 сонетов, расположенных по порядку, но последний имеет не 105-й номер, как следовало бы ожидать, а 505-й. Вот его первый катрен:

Три сотни поцелуев для любимой, каждый жгуч,

И двести нежных за любовною игрою.

Добавим пять еще — получим ключ,

Который тайну имени откроет.

Три сотни? Двести? Пять? Эти числа в сумме составляют 505 — непредвиденный номер, приписанный этому заключительному сонету. Наш каббалист Пиш, как можно догадаться, получал удовольствие, играя числами. В нумерологии иврита □□□ = □+□+□□=300,□=200 □=5 — что в графологии иврита означает Сара. Таким образом, этот сонет — настоящее любовное стихотворение, сочиненное Пишем во славу своей жены.

«Любовные и другие сонеты», несомненно, связаны с пишианой. Что случится с пишианой, когда меня не станет, с этими книгами, рукописями, неразборчивыми заметками? Возможно, я оставлю все это Музею Табакмана в Тель-Авиве, музею, который много лет назад просил меня дать на выставку Талмуды из Бил-Холла. Это будет ничтожной компенсацией утраченного евреями, но сама мысль об этом вызывает у меня невольную улыбку.

Я хотел бы иметь поэтический дар. Мод, свод и полет и вперед, порт и аккорд и код, и ждет, брод и плот, вот, зовет и возьмет, лед, род, живет и почет, зажжет, просчет и поет, бредет, падет и плод и год, уход и восход. Легко рифмующееся имя — Мод. Правда, в наше время без рифмы можно обойтись, но позарез нужно поэтическое

дарование. К сожалению, я не Пиш, не говоря уж о Байроне.

КТО Я? Человек, чьи родители были венграми, родившийся во Франции, и большую часть жизни проживший в Англии. Я тот, кого неоангликанский и неороялистский поэт Т.-С. Элиот презрительно заклеймил «вырванным с корнем евреем», «венским семитом в Чикаго». У самого́ великого человека глубокие корни: Лондон, (анти)семит, Северная Луизиана.

Я не католик. Могу ли я быть иудеем? Кто я? Человек в конце своего жизненного пути, я — человек.

У МЕНЯ ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ПОСТЕЛЬ ЗДЕСЬ, в коттедже, В моем Дунахарасти. (Почтальон признается, что не способен выговорить новое название, он и прежнее выучил с трудом. «Почему люди не могут использовать приличные английские названия, не в обиду будь вам сказано, сэр?» — «Какие, например?» — «Ну, если вам угодно взять слово на букву „Д“, есть очень популярное — Данроумин».) Но какой бы удобной ни была новая постель, мне нужно время, чтобы привыкнуть к переменам. Например, первый этаж здесь намного ближе к земле, чем в Бил-

Холле, — там даже в мансарде двадцатифутовые потолки. Спальня намного меньше, кажется, будто на тебя давят стены. И потом, коттедж примыкает к лесу Тетли, откуда через открытое окно доносятся звуки, издаваемые ночными зверюшками: скользящие, скрипящие, визжащие, пикирующие, пронзительно вопящие, гикающие, поющие, шуршащие — тут есть все что угодно, кроме тишины. По прошествии полувека к самым простым переменам трудно привыкать.

Бóльшую часть жизни у меня не было проблем со сном. Стоило лечь, закрыть глаза — и я отключался. Теперь я сначала вхожу в этакое дремотное, сумеречное, можно сказать — китсианское[222] состояние, не сон, но и не бодрствование. Это фантастическое состояние, в котором, мне кажется, сознание творит образы подсознательного, а возможно все ровно наоборот: подсознательные образы наполняют сознание. Мне оно пожалуй нравится, и я стараюсь продлить его. Прошлой ночью, отдавшись потоку и плывя по течению, я почувствовал, как в комнату вошла Мод. Она думала, что я сплю, поэтому, чтобы не разбудить меня, старалась двигаться как можно тише. Я на-

---

[222] Примечания: 222
Китс Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик.

рочно чуть похрапывал, наблюдая за ней сквозь полуприкрытые веки. Америка пошла Мод на пользу. Казалось, она сбросила несколько лет и фунтов и двигалась с такой живостью, какой не было уже многие, многие годы. Я наблюдал, как она раздевалась и аккуратно складывала одежду, тихонько мурлыча под нос старинную ирландскую песню «Прялка», которую раньше напевала в моменты, когда бывала особенно довольна. Можете себе представить, какой восторг я испытывал, какое безграничное счастье! Мои глаза наполнились слезами. Когда она оказалась в постели рядом со мной, я старался лежать тихо, подавляя всхлипывания. Но я не мог долго сдерживаться.

— Мод, — сказал я, — Мод, ты вернулась ко мне!

Но это оказалась вовсе не Мод.

— Успокойся, Эдмон, ни слова больше. Лежи тихо.

Конечно, это была моя мать.